

Annotation

Чонкин жил, Чонкин жив, Чонкин будет жить!

Сенсационное продолжение удивительных приключений солдата Ивана Чонкина!

Чонкин снова в центре заговоров и политических интриг. Он бодро шагает по историческим эпохам!

Он так же наивен и непосредственен. Притворство, ложь и предательство, сталкиваясь с ним, становятся невероятно смешными и беспомощными.

А в деревне Красное его незаконная жена Нюра продолжает любить Чонкина-героя и мечтать о нем. Встретятся ли они, будет ли хеппи-энд?

Неповторимый юмор Войновича творит чудеса – будет смешно до слез!

-
- [Владимир Войнович](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Часть первая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)

- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)

- [Часть вторая](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)

- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)

- [Часть третья](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
-

Владимир Войнович
Перемещенное лицо

Предисловие

Мне кажется, я заслужил место в книге рекордов. Этот роман писался без одного года полвека. В 1958 задуман, в 2007-м окончен. Задуман был сразу как эпическое, растянутое во времени сочинение. Отсюда и название «Жизнь и необычайные приключения». Меня все время удивляло, почему, читая книгу в том виде, в каком она была, ни один человек не спросил: «Приключения-то есть, а где же жизнь?» Жизни в первых двух книгах было всего-то лето и начало осени 1941 года.

В самом начале, замыслив роман, я сочинял его больше в уме, думал о разных поворотах сюжета, комических ситуациях, пересказывал их своим друзьям и тем удовлетворялся. Записывать не спешил, полагая, что времени впереди много. Его и в самом деле выпало достаточно, но не всякое оказалось пригодным для спокойного сочинительства. Мне кажется, что писать нечто эпическое можно только в эпическом состоянии духа, а оно у меня с конца шестидесятых годов и, по крайней мере, до середины восьмидесятых было не таковым. Ядерная сверхдержава объявила мне войну, пытаюсь остановить, как говорится, мое перо. Когда в Союзе писателей меня учили уму-разуму, писатель Георгий Березко нервически взывал: «Войнович, прекратите писать вашего ужасного Чонкина». В КГБ меня настойчиво просили о том же, приведя более веские аргументы в виде отравленных сигарет.

Меня не посадили, но создали условия, способствовавшие больше сочинению не эпического полотна, а открытых писем то гневных, то язвительных, которыми я время от времени отбивался от нападавших на меня превосходящих сил противника. Я не оставлял своих попыток продолжения главного дела, но, раздраженный постоянными уколами и укусами своих врагов, все время сбивался на фельетонный стиль, на попытки карикатурно изобразить Брежнева или Андропова, хотя эти люди как характеры и прототипы возможных художественных образов никакого интереса не представляли. Они заслуживали именно только карикатуры и ничего больше, но роман-то я задумал не карикатурный.

Кстати сказать, я обозначил когда-то жанр сочинения как роман-анекдот, из чего некоторые критики сделали разнообразные выводы, но

это обозначение было просто уловкой, намеком, что вещь-то несерьезная и нечего к ней особенно придирааться.

Покинув пределы СССР, а потом вернувшись в него освобожденным от постоянного давления, которому подвергался долгие годы, я много раз пытался вернуться к прерванной работе, исписал несколько пачек бумаги и почти все написанное выбросил. Ничего у меня не получалось. И сюжет складывался вымученный, и фразы затертые, что меня ужасно мучило и удивляло. Я думал, как же это так, ведь еще недавно было же во мне что-то такое, что привлекало внимание читающей публики. И все-таки, продолжая свои усилия, я снова и снова с тупым упорством толкал свой камень в гору.

Некоторые мои читатели убеждали меня, что «Чонкин» и так хорош и продолжения не требует, но я, написав две первые книги, чувствовал, что не имею права умереть, не закончив третью. Мое состояние можно было бы сравнить с состоянием женщины, которая, выносив тройню, родила только двоих, а третий остался в ней на неопределенное время.

Был момент, когда мне вдруг совсем надоело «искусство ставить слово после слова» (Б. Ахмадулина), и я вообще бросил писать, сменив перо (точнее, компьютер) на кисть. Сорок лет подряд я хорошо ли, плохо ли, но писал что-нибудь практически каждый день. Никогда не испытывал недостатка в сюжетах и образах, а тут как отрезало. Ни образов, ни сюжетов. Текущая перед глазами жизнь не возбуждает потребности как-нибудь ее отразить. Рука не тянется к перу, перо к бумаге, и компьютер покрылся пылью. Потом я вернулся в литературу только частично: писал публицистику и мемуары. Они тоже, кстати, давались с трудом. А уж пытаюсь сочинить хотя бы небольшой рассказ, и вовсе чувствовал полную беспомощность начинающего. Как будто никогда ничего не писал.

В конце концов я решил, что, наверное, все, колодец исчерпался и нечего зря колотить ведром по пустому дну. И с мыслью об окончании «Чонкина» тоже пора проститься.

Высшие силы оказались ко мне снисходительны и позволили дожить до момента, когда я с радостью понял, что приговор, вынесенный мне мною самим, оказался преждевременным.

Тут я позволю себе отвлечься на лирику и посвятить читателя в некоторые подробности моей личной жизни. Будучи сторонником

брака на всю жизнь, я тем не менее до недавнего времени был женат дважды. С первой женой через восемь лет разошелся, со второй прожил сорок лет до ее последнего вздоха. Так получилось, что первая книга «Чонкина» была написана при одной жене, вторая при другой. Их присутствие в моей жизни так или иначе влияло на эту работу, которая в осуществленном виде временами сильно осложняла жизнь мою и моих жен, деливших со мной все последствия моих замыслов и поступков. Поэтому я решил, что правильно поступлю, если посвящу, хотя бы задним числом, первую книгу памяти Валентины, а вторую Ирины.

Ирина умирала долго и тяжело. А когда все кончилось, я почувствовал полное опустошение, апатию и стал просто чахнуть. То есть как-то жил, что-то делал, писал что-то вялое, но не получал от этого да и от самого своего существования никакого удовольствия. Меня вернула к жизни Светлана, тоже какое-то время тому назад потерявшая самого близкого человека. Будучи существом жертвенным, она привыкла всегда о ком-то заботиться и, утратив предмет главной заботы, находилась в похожем на мое состоянии. Мне кажется, мы оба вовремя нашли друг друга.

Светлана окружила меня таким физическим и душевным комфортом, что мне ничего не осталось, как восстать из пепла. Я понял, что опять желаю жить, писать и, что интересно, даже могу это делать. Там, в колодце, оказывается, что-то все-таки накопилось. Я стер пыль с компьютера и остервенело застучал по клавишам, испытывая необычайное, давно забытое вдохновение. На семьдесят пятом году жизни я работал, как в молодости. Путал день с ночью, поспешая за героями, которые, как раньше, сами себя творили. Могу сказать уверенно, что без Светланы этого бы не случилось. Поэтому третью книгу я по справедливости и с любовью посвящаю ей.

Часть первая

Вдова полковника

Присвоение Ивану Кузьмичу Дрынову очередного генеральского звания и звания Героя Советского Союза, естественно, привлекло к себе внимание советских журналистов. Тем более что случилось это в начале войны, когда Красная Армия на всех фронтах отступала и генералов чаще расстреливали, чем награждали. А тут генерал оказался обласкан властью, и ходили слухи, что лично товарищ Сталин пил с ним чуть ли не на брудершафт. Конечно, журналисты кинулись к генералу со всех сторон, но расторопнее всех оказался, как всегда, корреспондент «Правды» Александр Криницкий, уже писавший о подвигах Дрынова. Будучи лично знакомым с генералом и представляя главную партийную газету, он прежде других добился у Дрынова повторного приема. Прием состоялся в подмосковной санатории, куда генерал был послан для короткого отдыха и восстановления сил.

Криницкий нашел генерала прогуливающимся по ковровым дорожкам первого этажа в полосатой пижаме с прикрученной к ней Золотой Звездой. Они устроились в холле под фикусом. Криницкий достал из полевой сумки блокнот, а Дрынов из кармана – пачку папирос «Северная Пальмира». Отвечая на вопросы журналиста, он сказал, что, хотя ему и удалось провести блестящую военную операцию, не надо забывать, что подобные удачи бывают у генералов только тогда, когда отважно воюют руководимые ими солдаты. Тут к слову он вспомнил о Чонкине и подробно рассказал Криницкому о подвиге этого бойца. О том, как тот, защищая самолет, совершивший вынужденную посадку, героически сражался с целым полком, но теперь уже, с каким именно полком, уточнять не стал.

Поскольку участники беседы были сильно выпивши, рассказ генерала Криницкий запомнил неточно, а блокнот свой по дороге в редакцию потерял. Пытаясь восстановить рассказ Дрынова, он вспомнил, что Чонкин охранял самолет, на котором сам же как будто и прилетел. Поэтому Криницкий решил, что Чонкин был летчиком. Дальше нехватку материала он восполнил полетом своей журналистской фантазии, которая его никогда не подводила. Это, кажется, именно он создал миф о двадцати восьми героях-панфиловцах, вошедший в учебники истории как неоспоримый факт

подвига, при котором он сам почти как будто присутствовал. Этих героев, якобы принявших неравный бой с немецкими танками и погибших у разъезда Дубосеково, он придумал и приписал мифическому комиссару Клочкову мифическую фразу, которую тоже, естественно, сочинил и которой гордился до самой смерти: «Отступить некуда, позади Москва!» Да и не только гордился, но каждого, кто сомневался в полной или хотя бы частичной достоверности легенды, подвергал в печати такой резкой критике, что на долю усомнившегося выпали большие испытания.

Вот и о подвиге летчика Чонкина Криницкий сочинил очерк, который в редакции был признан лучшим материалом недели, а потом и месяца и был вывешен на специальной доске. Криницкий целый месяц ходил чрезвычайно довольный собой, гордо выпятив грудь и живот. Впрочем, нет, не месяц, он всегда ходил, гордо выпятив все, что мог, потому что через месяц оказывалось, что к зависти коллег-журналистов он опять написал лучший очерк о том, чего не видел. Газета с очерком о Чонкине разошлась по всей стране и могла бы сразу прийти до Долговского района, но не дошла, потому что район был еще оккупирован немцами, читавшими в основном газету не «Правда», а «Фелькишер беобахтер».

Одним из прилежных читателей «Фелькишер беобахтер» был военный комендант города Долгова оберштурмфюрер СС господин Хорст Шлегель. Сейчас он сидел в своем кабинете, бывшем кабинете бывшего секретаря райкома ВКП(б), героически погибшего Андрея Ревкина. В кабинете с переменой властей ничего принципиально не изменилось: тот же двутумбный, покрытый зеленым сукном канцелярский стол хозяина, тот же длинный стол, приставленный к главному буквой «Т», для заседаний бюро райкома, а теперь неизвестно для чего. Перемена коснулась только портретов. Раньше за спиной секретаря висели портреты Ленина и Сталина, а теперь за спиной коменданта – портрет Гитлера. А от Ленина и Сталина остались два невыгоревших пятна.

В описываемый момент комендант был занят тем, что, насвистывая известную немецкую песню «Ich weiss nicht was soll es bedeuten» на слова еврейского поэта Гейне, собирал посылку жене Сабине из города Ингольштадт. Таким образом он решил, наконец, ответить на ее многократные и нелепые просьбы прислать ей шелковые чулки, кружевные панталоны и французские духи, потому что ей якобы совершенно не в чем ходить в церковь или в театр. Он ей в ответ первый раз написал, что в церковь и даже в театр не обязательно ходить в кружевном белье, он очень надеется, что никто ей под юбку не заглядывает ни в театре, ни даже на исповеди, а если кто-то где-то и заглядывает, то он ничем этому способствовать не только не хочет, но и не может, потому что здесь того, что она просит, просто нет. Сабина замечание насчет возможных подглядывателей под ее юбку пропустила мимо ушей, но выразила недоумение: неужели там, где он служит, нет женщин, а если есть, то в чем же они посещают церкви и театры? В пример Хорсту она привела их бывшего соседа мыловара Йохана Целлера, который своей Бербель регулярно присылает и нижнее белье, и верхнюю одежду, и косметику. «Mein Shatz (сокровище мое), – отвечал ей язвительно Шлегель, – насколько мне известно, мой друг Йохан служит в Париже, а я в данный момент нахожусь в маленьком российском городе, который ты даже не найдешь на карте. Поверь мне, между этим городом и Парижем есть

очень большая разница, и ассортимент здешних товаров не совсем совпадает с тем, что можно найти во французских бутиках».

Поскольку она объяснения его игнорировала и те же просьбы повторяла в каждом письме, он решил ее проучить, и по совету своей помощницы фрау Каталины фон Хайс собрал-таки посылку, в которую вложил то, что носили здешние женщины: трикотажные рейтузы с резинками под коленями, шерстяные носки, ватные штаны, ватную телогрейку, объяснил письменно, что это типичный гардероб здешних дам, и ко всему приложил флакон тройного одеколona. Он укладывал свои подарки в картонную посылочную коробку, когда в дверь заглянула только что упомянутая Каталина фон Хайс. Каждый, кому когда-то приходилось встречаться с капитаном Милягой и остаться в живых, узнал бы в этой густо покрашенной блондинке бывшую секретаршу начальника НКВД Капитолину Горячеву. Теперь бывшая Капитолина существовала под своим настоящим именем, а может быть, тоже под выдуманным, иные шпионы настолько часто меняют свои имена и фамилии, что порой и сами не помнят, как именно были когда-то названы мамой и папой. Под своим или под ложным именем, но трудилась эта женщина (а может, она и не женщина была?) на благо Великого рейха (или на кого-то еще) в том же кабинете немецкого Там Где Надо, исправляла ту же примерно должность (для виду, конечно, шпионы всегда то, что видно всем, делают понарошку, а на самом деле имеют совсем другие цели). Время от времени исполняла она и внедолжностные обязанности, те же, что и при капитане Миляге. Это дает нам право предполагать, что, наверное, была она все-таки женщиной, потому что если бы нет, Миляга, или Шлегель, или хотя бы один из них уж до этого докопался бы. Короче говоря, Каталина фон Хайс (так уж и будем ее называть) заглянула в кабинет своего как бы начальника и сообщила ему, что некий местный селекционер ищет с ним встречи.

– Кто? – переспросил Шлегель.

– Здешний сумасшедший, – сказала Каталина. – Очень забавный тип.

– Ну хорошо, пусть войдет.

Шлегель убрал со стола коробку, сел в кресло и сделал вид, что пишет нечто исключительно важное.

Дверь отворилась, и в кабинет, кланяясь от порога, вошел сопровождаемый Каталиной странный человек в брезентовом плаще поверх ватника, в холщовых штанах в полосочку, заправленных в высокие яловые сапоги с самодельными галошами, склеенными из автомобильной резины. Через плечо у него висела полевая потертая сумка, а в левой руке он держал широкополую соломенную шляпу.

Приблизившись к столу коменданта, посетитель улыбнулся и сказал:

– Здравия желаю, гутен таг, господин комендант, позвольте представиться: Гладышев Кузьма Матвеевич, селекционер-самородок.

Каталина великолепно знала русский язык (не хуже капитана Миляги), а немецкий вообще был для нее родной, но слову «самородок» в немецком языке подходящего эквивалента она не нашла и перевела его как зельбстгеборене – сам себя родивший.

– Как это сам себя родивший? – удивился оберштурмфюрер. – Даже Иисуса Христа женщина родила, а он из яйца, что ли, вылутился?

Каталина засмеялась и перевела вопрос гостю.

Тот с достоинством ответил, что сам себя ни из чего не вылуплял, но, не имея достаточного образования, достиг обширных знаний личным трудом и талантом, в чем-то превзошел даже самых образованных академиков и вывел овощной гибрид, которым желает накормить германскую армию.

Естественно, комендант поинтересовался, что за гибрид. Гладышев положил шляпу на соседний стул, торопливо раскрыл полевую сумку, вынул оттуда несколько газетных вырезок с посвященными ему статьями, заметками и фотографиями и выложил на стол перед комендантом.

Каталина предложила перевести тексты, комендант сказал «не надо» и остановил взгляд на одной из фотографий, где Гладышев был изображен с пучком гибрида, взглянул на самого Гладышева, переглянулся с помощницей.

– О вас так много писали советские газеты. Вы большевик?

– Ни в коем случае! – Гладышев испугался и прижал руку к груди. – Напротив. Являюсь решительным противником советского строя, за что многократно подвергался преследованиям...

Шлегель сложил руки на груди и откинулся в кресле.

– Интересно! Скажи ему, что все русские, которых я здесь встречаю, утверждают, что преследовались коммунистами. И как его преследовали? Арестовывали? Сажали в тюрьму? Пытали? Загоняли под ногти иголки?

Фрау фон Хайс перевела.

Гладышев признал, что таких неприятностей ему, слава богу, удалось избежать. Но советская власть не признавала его научных достижений и не давала ему возможности вырастить созданный им гибрид, который он назвал ПУКНАС, то есть Путь к национал-социализму.

– Если бы германские власти дали мне достаточно земли под мой гибрид, я мог бы снабдить полностью всю германскую армию. – Зажав шляпу между коленями, Гладышев широко раскинул руки, словно пытался обнять всех, кого готов был накормить. – Вы представляете, господин офицер, с каждой площади мы могли бы снимать двойной урожае картофеля и томатов одновременно!

– Хорошо, – сказал оберштурмфюрер через переводчицу, – мы ваше предложение, возможно, рассмотрим позже, когда закончим эту войну. Имеете сказать что-нибудь еще?

– Еще? – Гладышев замялся, не зная, как изложить гипотезу, которая кому-то может показаться невероятной. Конечно, ни с одним советским чиновником он подобными соображениями поделиться не мог. Но перед ним был представитель иной, более развитой цивилизации. У него должен быть более широкий взгляд на вещи.

– Понимаете... как бы вам сказать... это звучит, вы скажете, дико... и я бы с вами согласился... но я лично был свидетелем превращения лошади в человека.

– Лошади в человека? – переспросила Каталина.

– Допускаю, что вы мне не поверите, – предположил Гладышев, – но у меня есть даже письменное свидетельство. Вот... – он порылся в полевой сумке и выложил, одновременно разглаживая, клоч бумаги, на котором была написана круглым полудетским почерком одна фраза.

– Что это? – брезгливо посмотрел на бумажку комендант.

– Здесь написано, – перевела фрау фон Хайс, – «Если погибну, прошу считать коммунистом».

– Что это значит? – не понял комендант. – Кого считать? Вас?

– Что вы! – выслушав перевод, заулыбался Гладышев. – Разумеется, не меня. Я в партию никогда заявлений не подавал. Это Ося...

– Ося? – переспросил Шлегель, показав, что и он неплохо говорит по-русски. – По-моему, Ося – это еврейское имя. Не так ли, фрау фон Хайс?

– Еврейское? – испугался Гладышев. И заулыбался: – Но это не еврей. Ося, Осоавиахим, он не еврей, он мерин, то есть конь, но, как бы сказать, кастрированный.

– Еврей, господин ученый, – нахмурился Шлегель, – понятие расовое. Еврей, хоть кастрированный, хоть обрезанный или крещеный, для нас все равно остается евреем и должен быть выдан германским властям.

– Тем более, – добавила бывшая Капитолина, – если хочет быть коммунистом.

– Он не хочет, – засуетился и торопливо залепетал Гладышев. – Он хотел. Но его застрелили. Он был мерин, но его застрелили как раз тогда, когда он в результате упорного труда превратился...

– В еврея? – спросил оберштурмфюрер.

– Ни в коем случае, – решительно возразил Гладышев. – Он превратился просто в человека.

– Что значит просто в человека? – заспорил эсэсовец. – Какое же просто, если он еще не превратился, а уже просит считать его коммунистом?

– Ну, это он по глупости, – попытался объяснить Кузьма Матвеевич. – По глупости и невежеству, тем более что вырос в советском колхозе и, сами понимаете, имел отсталые взгляды. Но если в принципе германское командование проявит интерес...

– Нет, – решительно сказал оберштурмфюрер. – Германское командование к этому интереса не имеет. Впрочем, нам, – сказал он и поднял кверху указательный палец, – интереснее был бы обратный процесс превращения человека в лошадь. А пока слушайте, господин, сам себя родивший, идите-ка вы к себе домой, и если действительно хотите способствовать идеалам национал-социализма, то начните с выявления скрывающихся у вас евреев и коммунистов.

– Слушаюсь! – повинился Гладышев и направился к выходу, но у двери все-таки остановился. – Извиняюсь, господин офицер, а как же

все-таки насчет моего гибрида?

– Мы о нем поговорим в другой раз, – пообещал оберштурмфюрер. – А сейчас у меня к вам вопрос. Это, извините, что у вас на ногах? Я имею в виду не сапоги, а то, что на них.

– Это? – Гладышев посмотрел на свои ноги, пожал плечами, не понимая, чем его обувь могла заинтересовать столь важного представителя великой Германии. – Это так, резиновые изделия.

– Что-то вроде галош? – попробовал уточнить эсэсовец.

– Можно сказать и так.

– Это советские галоши, – усмехнулась бывшая Капитолина. – Если я правильно помню, русские их называют чуни, гондоны, говнодавы и ЧТЗ. ЧТЗ, – объяснила она Шлегелю, – это Челябинский тракторный завод.

– Очень интересно, – сказал Шлегель. – И они действительно не пропускают влагу?

– Никогда, – заверил Гладышев. – Очень качественный товар.

– Правда? – Шлегель вышел из-за стола, обошел вокруг Гладышева, потрогал чуни ногой. – Послушайте, господин ученый, а не продадите ли вы мне эти ваши вот...

– Мои эти вот?.. – растерялся Гладышев. – Они вам нужны? – он встрепенулся. – О, если нужны, то конечно. – И стал сдирать чуни, наступая носком одной ноги на пятку другой. – Я с удовольствием преподнесу вам в подарок. В знак огромного уважения.

– В подарок не надо, – остудил его Шлегель. – Вы должны знать, что немецкий офицер взяток не берет. Я вам заплачу за ваш тракторный завод двад... то есть пятнадцать оккупационных марок.

После ухода Гладышева Шлегель добавил приобретенный товар к тому, что уже было уложено в посылочную коробку, и дополнил сопроводительную записку жене объяснением, что эту обувь местные дамы надевают, когда ходят в театры, в кабаре и другие увеселительные учреждения.

В оправдание Кузьмы Матвеевича Гладышева следует сказать, что он вовсе не был убежденным противником советской власти, как и не был осознанным сторонником национал-социализма. Но он, подобно многим ученым, хотел бы стоять в стороне от политики, считал самым главным делом жизни осуществление своих научных изысканий, а с чьей помощью это будет сделано, ему было все равно.

Тем не менее он был своим визитом в Долгов доволен. Ему показалось, что он сумел расположить к себе немецкого коменданта. Конечно, расположил, раз комендант вступил с ним в коммерческие отношения и дал ему встречное задание, которое, вернувшись в деревню, Гладышев принялся немедленно исполнять. Он вырвал из общей тетради два листка и на одном из них написал: «Список евреев деревни Красное» и на втором: «Список коммунистов деревни Красное». В список коммунистов он внес только одну фамилию – бывшего парторга Килина, которого, впрочем, к тому времени в деревне не оказалось, а под другим незаполненным списком Кузьма Матвеевич написал: «К сожалению, в настоящий момент евреи в деревне Красное не проживают».

Хотя гладышевскому гибриду немцы тоже ходу не дали, но усердие его было ими замечено, и вскоре Кузьма Матвеевич был вызван к оберштурмфюреру Шлегелю и спрошен, не желает ли он стать старостой деревни Красное. Предложение он принял, потому что смолоду мечтал занять руководящую должность, но при советской власти ему подобного не предлагали.

На посту старосты много вреда нанести односельчанам он не успел, но в одном деле все-таки отличился. Когда пришла от немцев разнарядка реквизировать у наиболее зажиточных крестьян деревни десять голов рогатого скота, в список животных, подлежащих угону, Гладышев первым номером вписал Нюрину Красавку, которую после известного случая он ненавидел так яростно, что желал ей смерти, как заклятому человеческому врагу. Он тогда еще и Чонкина возненавидел, и Нюру, но больше всех на свете, больше Чонкина и Нюры, больше Сталина и Гитлера ненавидел Красавку. Часто вспоминал он, а иногда и видел во сне, как она разорила его огород, как нагло дожирала последний куст пукса, и надеялся, и страстно мечтал, что когда-нибудь доживет до часа икс, когда ее, эту рогатую сволочь, возьмут за веревку и поведут, упирающуюся, на бойню. И вот он дожил до этого счастливого мига.

Ранним утром шесть кривоногих солдат немецкой зондеркоманды выводили Красавку из Нюриного хлева, и корова, как Гладышев и предвидел, что было сил упиралась, выставляла вперед ноги, опускала голову и мотала ею, а Нюра беспомощно пыталась ее отбить. Гладышев смотрел на это в окно и радовался необычайно.

Нюру отталкивали все сильнее, она падала, поднималась и опять кидалась к корове. Гладышев видел, как она пробовала объяснить что-то пожилому фельдфебелю с забинтованным горлом. Умоляюще складывала лодочкой руки, падала на колени, хватала фельдфебеля за ноги. Тот, может быть, и сам был из крестьян, и понимал отчаяние русской женщины, не хотел принести ей вреда и потому не сразу ударил ее, а сначала вырывался и, отпугивая, замахивался прикладом, но когда она опять кинулась к корове и, схватив за веревку, потащила ее к себе, не выдержал и так двинул ее в живот, что она упала и,

скрючившись в три погибели, долго лежала у дороги и дергалась, как в агонии, пока Нинка Курзова не подняла ее и не отвела домой.

Угоняемых коров быстро собрали на краю деревни и повели в сторону Долгова строем по подмерзшей дороге, по которой всегда кого-нибудь угоняли. То кулаков в Сибирь, то мужиков в армию, и все по одной дороге, и все в одну сторону – туда, за бугор, за которым была как будто черная дыра. Туда уходили многие, но редко кто возвращался.

Гладышев вышел на крыльцо поглядеть на угоняемую скотину. Он видел, как Нюра пыталась спасти свою корову, видел, как немец сперва отталкивал ее, а потом все-таки ударил. Способности к состраданию селекционер еще полностью не утратил, но ненависть к Красавке и жажда мести оказались превыше других его чувств, и, уверившись, что теперь разорительница его научных изысканий понесет заслуженное наказание, он вернулся в избу, выпил на радостях целый стакан своего самогона и сказал сам себе:

– Эх-ха-ха! – И потер в возбуждении руки.

– Чему это ты так радуешься? – спросила его только что проснувшаяся Афродита.

– Жизни радуюсь! – отвечал он ей весело. – Радуюсь, что мы с тобой еще живем, а иные уже ух-ху-ху!

Но недолго длилась радость ученого самородка. В снежном и морозном декабре Красная Армия, пожертвовав жизнями миллионов своих солдат, одержала под Москвой первую победу в войне с захватчиками. Долговский район был освобожден партизанами, которыми командовала Аглая Степановна Ревкина. По ее приказу немецких пособников ловили и без долгих разбирательств вешали в Долгове на площади Павших Борцов. Но потом кто-то обратил внимание, что тогда, выходит, и повешенные относятся к павшим борцам. Это соображение внесло некоторое замешательство в действия властей, расправы над немецкими угодниками временно прекратились.

Гладышеву повезло. Он был передан в руки правосудия. Поскольку ничего особенного он как будто не совершил и попался не под горячую руку, приговор был сравнительно мягкий: пять лет ссылки в отдаленные районы Сибири.

Как ни странно, долговская почта после прихода немцев продолжала работать почти так же, как работала до. Объем поступающей корреспонденции, правда, уменьшился, но совсем не иссяк. А заведовала почтой при немцах все та же Любовь Михайловна Дулова, несмотря на то что была коммунисткой. Немцы поначалу намеревались сделать ей что-нибудь нехорошее, но она представила доказательства, что была дочерью репрессированного кулака, что один дед ее был купцом, а другой священником, в партию она вступила из страха потерять работу, но последние три месяца не платила членские взносы.

Оберштурмфюрер Шлегель принял эти объяснения как приемлемые, поскольку считал себя либералом (по эсэсовским меркам) и хорошо понимал, что в любую партию, хоть в коммунистическую, хоть в нацистскую, человек мог вступить не по идейным, а по обыкновенным меркантильным соображениям. Шлегель учел еще и то, что за Любовь Михайловну хлопотал вступивший с ней в отношения оберфельдфебель Шульц. Так что Любовь Михайловна осталась на прежнем месте, но счастье ее продолжалось недолго.

При отступлении немцев она пыталась отступить вместе с ними и оберфельдфебелем Шульцем и уже упаковала два чемодана, но во время упаковки третьего была схвачена партизанами Аглаи Ревкиной. Партизаны хотели ее сразу повесить, но учли ее пол, пожалели и придумали ей более мягкое наказание. Обстригли ей полголовы, а после в одной рубашке и босую водили ее по заснеженной площади Павших Борцов и привязывали к позорному столбу с картонкой на груди: «Я спала с фашистом». Это партизаны написали несправедливо, потому что оберфельдфебель Шульц никаким фашистом не был, в нацистской партии не состоял, был по профессии поваром, а на войну пошел против своей воли. Впрочем, речь не о Шульце, а его недолгой любовнице.

Когда она стояла, босая и раздетая, привязанная к столбу, люди подходили к ней, называли сукой и плевали в лицо. В таком положении видела ее Нюра, случайно проходившая через площадь. Наверное,

вспомнив, как Любовь Михайловна выгоняла ее с работы, должна была Нюра возрадоваться, отомстить, плюнуть в лицо и спросить, кто же из них спал с немцем, но Нюра была женщина немстительная, сердобольная. Глядя на бывшую начальницу, она ничего, кроме сочувствия, не испытала. Она даже стала говорить людям:

– Да что ж это такое? Да что ж это вы делаете? Да что ж вы за звери такие? Она ж голая и босая, в сосульку скоро превратится, а вы в нее плюете.

Но народ, в большинстве своем женского пола, был сильно тогда озверевши. Впрочем, народ бывает озверевши всегда, и в легкое время, и в тяжелое, а в то время особенно. Нюра стала защищать свою бывшую начальницу, народу это не понравилось, и одна баба в городском мужском пальто сказала: «А что это за фря и чего она за эту хлопочет?» А другая предположила: «Небось тоже такая же, вот и хлопочет». А третья сказала, что ее тоже надо бы к этому столбу с другой стороны привязать для равновесия. И толпа стала вокруг Нюры сгущаться. Но тут послышался крик:

– Да что вы, бабы, орете и на что напираете! Это же Нюра Беляшова, у ей муж на фронте воюет летчиком.

Бабы вокруг растерялись, и пока они думали, считать ли Нюрино го летчика смягчающим вину обстоятельством, Катя – телеграфистка (это она и кричала) вывела Нюру за руку из толпы и стала ругать за чрезмерную отзывчивость, за то, что Нюра забыла, как Любовь Михайловна с ней самой обошлась. А потом спросила: «Ты-то обратно на почту пойдешь?»

– Я-то пошла бы, – ответила Нюра, – да кто ж меня примет?

– А я и приму, – сказала Катя. – Я ж теперь буду заведовать почтой. Я и приму. Тем более что Иван твой нашелся.

– Чо-о?! – не поверив своим ушам, вскрикнула Нюра.

– А вот не чо, а нашелся. Пойдем, увидишь, чо покажу!

Быстро добежали до почты, и там, как войдешь, сразу направо, на доске, где висели образцы почтовых открыток и телеграмм, где объявления всякие вывешивались и приказ об увольнении Нюры когда-то висел, там теперь была пришпилена кнопками статья из газеты «Правда». Нюра сразу увидела напечатанный большими буквами заголовок:

«ПОДВИГ ИВАНА ЧОНКИНА»

Все еще не веря своим глазам, она приникла к тексту и, шевеля губами, прочла все от начала до конца, от конца к началу. В очерке автор расписал дело так. Летчик Энской части (во время той большой войны все поминавшиеся в советской печати воинские части и объекты военного значения по соображениям секретности назывались Энскими) Иван Чонкин, сбитый в неравном воздушном бою фашистскими стервятниками, вынужден был посадить свой истребитель на захваченной врагом территории в районе города Энска. Естественно, немцы решили его пленить и захватить самолет. Посланный с этой целью отряд отборных головорезов СС не только не сумел этого сделать, но сам был захвачен в плен отважным воином. Затем в дело вступил целый полк. Чонкин оказал ему достойное сопротивление и, будучи контужен, один держал оборону несколько часов до тех пор, пока ему на выручку не подоспела Энская дивизия генерала Дрынова.

Все, кто в тот час был на почте, радовались за Нюру и поздравляли ее. Только Верка из Ново-Клюквина разозлила Нюру сомнением:

– А твой ли это Чонкин?

– А чей ж еще, как не мой? – отозвалась Нюра. – Мой летчик, и этот летчик. Мой Чонкин Иван, и этот Чонкин Иван. Думаешь, много на свете Иванов-то Чонкиных?

– Да уж и не думаю, что мало, – качнула головой Верка. – Не больно уж и фамилия редкая.

Бывают же такие люди, особенно женщины, которые обязательно, даже не со зла, а по дурости, скажут вот, не удержатся, что-нибудь такое, отчего портится настроение и теряется аппетит.

Но что бы Верка ни говорила, а Нюру с ее уверенности не сбила, что нашедшийся Иван Чонкин – это ее Иван Чонкин, ее и никакой другой. У нее еще был довод, который она никому не высказала, а в своем уме держала, что на подвиг подобный никто, кроме ее Ивана, может, и не способен, а он способен, и точно такой же уже совершал на ее глазах и с ее посильной помощью.

Прибежала Нюра с газетой в Красное, все избы подряд обошла, всем статью про Ивана показывала. И Тайке Горшковой, и Зинаиде Волковой, и даже бабу Дуню своим вниманием не обделила. Бабы охали и ахали. Одни радовались искренно, другие притворно, третьи непритворно завидовали. Нинка Курзова, так же как Верка из Ново-Клюквина, пыталась охладить Нюру соображением, что, допустим, это даже и тот Иван Чонкин, так что толку, если он живой, а ни разу хотя бы короткого письмишка не написал?

– Мой-то охламон, почитай, каждый день пишет. Я даже не представляю, когда же он там воюет, откуда столько бумаги берет.

И в самом деле Николай радовал жену своими посланиями чуть ли ни каждый день, причем не какими-нибудь, а написанными стихами. Раньше Нинка и не подозревала в Николае никаких поэтических способностей, а тут на войне талант стихотворца вдруг неизвестно с каких причин прорезался, и писал Курзов один за другим длиннющие письма с рифмованным текстом такого, например, содержания:

Вчера́сь ходили мы на бой,
Фашиста били смело.
Сказал командир наш молодой:
Вы дрались умело...

Не плачьтe вы, жена-красотка,
И вы, старушка-мать.
Домой вернемся мы с охоткой,
Вас будем обнимать.

– Все врет, все врет, – сердито ворчала Нинка. – Пишет незнамо чего, правду, неправду, ему лишь бы складно. Старушку-мать к чему-то приплел, а старушка-то мать уж три года как померла. Зачем такую дурь-то писать?

– Чего бы ни писал, а раз пишет, значит, жив, – говорила Нюра. – Это и есть самое главное.

– Это, конечно, да, – со вздохом соглашалась Нинка и бросала письмо в угол на лавку, где и остальные письма уже большой грудой лежали.

Стопка ученических тетрадей в косую линейку хранилась у Нюры с довоенного времени. И чернила нашлись. И толстая канцелярская ручка с пером № 86 на полке не заржавела. Вечером Нюра взяла одну из тетрадей, вырвала из середины двойной лист и легко сочинила: «Добрый день, веселый час, что ты делаешь сейчас, дорогой Ваня? Я живу хорошо, чего и вам сердечно желаю от всей своей женской одинокой души. А также большого здоровья и хорошего настроения. Я, как и в период предыдущего времени, работаю на почте в качестве почтальона, а про вас прочитала в газете, как вы на своем выстрелителе сражались в неравном бою с фашистскими стервятниками. Воюйте, Ваня, с врагом отважно со всей осторожностью и с победой возвращайтесь живой и здоровый к вашей Нюре, которая ждет вас с нетерпеливой любовью. А если возвратитесь без руки или ноги и другой подобной части вашего тела, то и тому буду с сожалением рада, и буду ухаживать за вами, как за малым ребенком по гроб вашей жизни или своей, лишь бы вы были довольны. На этом свое короткое послание заканчиваю и жду скорейшего ответа, как соловей лета, и не так лета, как ответа. С приветом ваша Анна Беляшова из д. Красное, если вы не забыли».

Прежде чем поставить точку, остановилась в сомнении, что главного не написала, а может, надо бы. О своей беременности ни словом не упомянула. Потом решила:

«Ладно, как отзовется, так напишу».

Сложила письмо треугольником, текстом внутрь, а на чистой стороне осталось написать адрес. Это оказалось задачей нетрудной. Из очерка Криницкого Нюра знала, что Чонкин служит в Энской части. Энская часть, как она понимала, была самая лучшая часть в Красной Армии, потому что упоминалась во всех газетах. Все самые славные военные подвиги совершались героями именно этой части. Нюра в армейских структурах не очень-то разбиралась. Поэтому ей не казалось странным, что в Энской части сражались летчики, танкисты, артиллеристы, кавалеристы, пехотинцы и прочие. Не удивлялась она и тому, что Энская часть воевала одновременно на всех фронтах,

обороняла Энскую высоту, брала город Энск и наступала на Энском направлении.

Короче, адрес был Нюре известен. Она начертала его на чистой стороне треугольника:

«Энская часть СССР, летчику Чонкину Ивану в личные руки».

И очень была уверена, что он немедленно отзовется. Всем бабам сообщила, что письмо написала и ждет скорого ответа. И правда, ждала. Как только прибывали с поезда очередные мешки с почтой, первая кидалась их рассортировывать, да все без толку.

Казалось, всем, кроме Нюры, кто-то что-то писал. Даже деду Шапкину, сначала живому, а потом мертвому, регулярно слал письма с фронта внучатый племянник Тимоша, который обнаружился только недавно. Тимошу в тридцатом году, когда он еще был подростком, вместе с отцом, матерью, двумя сестрами, дедом и бабкой выслали неизвестно куда, и до самой до войны слуху-духу от них не было никакого. Теперь он писал длинно и обстоятельно, как везли их зимой в промерзлых теплушках много дней и ночей в неведомом направлении, кормя при этом мороженой мелкой картошкой, нечищенной и отваренной, как для свиней. Бабка спала перед самой дверью и там ночью скончалась, перед тем обмочившись и примерзши к полу.

Довезли их до Казахстана, посадили на большие телеги, везли, везли, сбросили в степи. Дали на человека по полпуду муки и сказали: живите здесь, как хотите. Кто помрет, тому туда и дорога, а кто выживет – молодец. Оставили, правда, несколько лопат, граблей, вил и один топор.

Когда туда приехали, морозы, на счастье, кончились, снег стаял, но пошли дожди, и много дней небо текло на них беспрестанно, степь, промокнув насквозь, стояла набухшая, пустая, из края в край заросшая ковылем да полынью, и было никак не представить, что здесь можно как-нибудь жить.

Не только что бабы, а и мужики взрослые плакали, словно дети. Но отец Тимоши, Тимофей (тоже Шапкин), сказал, что плакать толку мало, слезами горю не поможешь, всем велел браться за инструменты. Сам первый воткнул в землю лопату и стал рыть землянку. Кому не достало главной работы, того посылали в степь искать дикое просо, шалфей и всякие травы, рвать руками ковыль да полынь на топку и ловить, коли удастся, хоть сусликов, хоть мышей – делать припасы. На этих припасах долго б не протянули, но отец однажды куда-то ушел далеко, а приехал на лошади. Лошадь убили, а мясо ее ели потом всю зиму. Повезло, что снег опять выпал, морозы ударили, и мясо не портилось. К тому времени уже выкопали две землянки, сляпали печку и так жили, да не все выжили. Первым дед на тот свет отошел, а к

весне обе Тимошины сестры захворали какой-то быстротекущей болезнью и вскоре тоже преставились.

По весне позвал отец Тимошу с собою в бега. Пусть поймают, посадят, убьют, все лучше будет, чем здесь помирать.

Шли они через степь, добрались до станции Есиль, там залезли в вагон с брынзой. Отец наелся брынзы и в том же вагоне умер от заворота кишок. А Тимошу на путях схватила железнодорожная охрана, после чего он был бит и отправлен в детский дом. Там он учился сначала в обычной школе, потом в школе фабрично-заводского обучения и до призыва в армию работал штукатуром.

Тимоша писал исправно, его письма – грязно-желтые треугольники – приходили почти каждый день. Тимоша разрисовывал свою прошлую и теперешнюю жизнь до мельчайших подробностей, рассказывал о погибших и раненых сослуживцах, а деда Шапкина о его жизни не спрашивал, как бы полагая, что с тем ничего не происходит и ничего случиться не может. Дед давно уже помер, а Тимоша все писал и писал, не обращая внимания на полное недохождение к нему ответов из Красного.

– Ну чо? – нетерпеливо спрашивала Нинка. – Ничо нет из Энской части?

– Ничо, – признавалась Нюра. – Я уж второе письмо туда написала: ни ответа ни привета.

А Нинка была из тех людей, кому неймется, изображая дружеское участие, сказать близкому человеку такую гадость-прегадость, чтоб на душе муторно стало и неуютно.

– Как же, – качала она головой, – он напишет! Прямо сейчас схватится за карандаш и напишет. Чего я тебе скажу, Нюрок, напрасно ты ждешь и сама себя изводишь. Не хочется мне тебе говорить, ей-бо не хочется, но как подруга подруге скажу: не жди, не надейся, на себя на одну вся твоя надежда и есть.

– Да чо ты такое говоришь! – обижалась Нюра. – Почему ж это мне не надеяться? У нас же такая любовь была. Ты ж и не знаешь, как он меня обнимал и на ушко чего говорил.

– Ой, Нюрка, не смейся! На ушко он тебе говорил, ой-ёй-ёй! Ну, пришлось ему тут приземлиться, так он с тобой и пожил на свое здоровье. Водочку попил, бабой полакомился, шишку почесал, чего ж ему на ушко не пошептать! А теперь что жа. Он же, понимаешь ты, летчик, сядни тута, завтра тама. А там везде, Нюрка, такие, как мы, тучами ходют.

– А за Колькой твоим не ходют?

– Не серчай, Нюрок, но мы-то с Колькой расписаны, и то я на его не надеюсь, а ты со своим Ванькой-встанькой...

Не договорив, Нинка махнула рукой.

Другие бабы подобного не говорили, а тоже, Нюра примечала, между собой переглядывались, в то, что Чонкин на ее письма отзовется, не верили.

Последнюю неделю января и первую февраля дули сильные ветры. Вьюга вихрила вокруг домов снег, который слой за слоем укладывался, утрамбовывался, утаптывался в сугробы. Сугробы росли-росли, поднялись выше крыш, и замерла в Красном всякая жизнь. Люди пережидали буйство стихии, забившись по избам. Да и куда выйдешь, если в двух шагах не видать ни человека, ни дерева, ни куста? По ночам сидели без света, не было ни спичек, ни керосину для лампы или коптилки, а жить при лучине отвыкли. На растопку таскали друг к другу горячие угли, только и свету было, что от печного пламени при открытой заслонке. Из остатков муки, перемешанной со жмыхом, отрубями и сушеной лебедой, пекли лепешки, липкие и крохкие.

На время наиболее сильных холодов Олимпиада Петровна, беженка, с внуком Вадиком опять переехала к Нюре для экономии дров, Нюра на это уплотнение согласилась охотно. Хоть и привыкла к одинокой жизни, а все ж испытывала необходимость в присутствии рядом еще кого-то живого. Тем более зимой, когда одинокому человеку бывает так тоскливо, что хоть волком вой. А теперь получилась временная как бы семья. Характер у Нюры был такой, что она всегда вникала в чьи-то проблемы, о ком-то заботилась, кому-то стирала, варила и радовалась, если угодила. Нюра уступила им свою кровать, сама перебралась на печку. Сама вызвалась стирать Вадиковы штанишки, рубашки и трусики. Олимпиада Петровна заодно свое ей подкидывала, она и против этого не возражала. И в своем доме у своих жильцов превратилась в прислугу. Олимпиада Петровна как прислугу ее и воспринимала, но называла всегда по имени-отчеству. Олимпиада Петровна была женщина городская, избалованная, ходить на речку полоскать белье в проруби не хотела, дрова колоть не умела, чугунок вытащить из печи ухватом была не способна, но любила командовать, поучать и капризничать. То ей в избе слишком жарко, то из щелей дует, то, говорит, от клопов жизни нет.

– Я, Анна Алексеевна, не могу себе представить, неужели вы всю жизнь живете с клопами?

Нюра смущалась, пожимала плечами:

– А куда ж от них денешься? Где люди, там и клопы.

Олимпиада Петровна читала Вадику стихи, которые он легко запоминал, потом громко декламировал:

Онази суденую зиму пою
Я из дому высел, бы синий моёз.
Гизу пимияется медено гою
Осадка, везуся хосту воз.
И сестуя вазно сокойствии синном,
Осадку ведет под уцы музицок.
В босих сисагах, в пуусубке оцинном,
В босих юкавицах,
А сам сизакок.

Нюра смотрела на Вадика, слушала, улыбалась и гладила свой живот, не то чтобы очень большой, но внимательному взгляду заметный. Там тоже росло существо, хотелось бы, чтоб это был мальчик, который, может быть, будет таким же живым и смышленным, как Вадик. Может, и его она Вадиком назовет, а лучше все же Иваном. Пусть будет Иван Иванович. И она, Нюра, тоже, как Олимпиада Петровна, будет читать Ивану Ивановичу, маленькому Ванюше, стихи про «мужичка-сноготка».

...Метель неожиданно кончилась, засветился день тихий, солнечный, если не жмуриться, можно ослепнуть. Рано утром по морозу, по солнцу, побежала Нюра в легкой своей шубейке, в только что подшитых валенках в Долгов. Хотя и беременная, а бежала легко по следу, проложенному ранними дровнями.

Почты накопилось порядком. Одной только Нинке Курзовой было четыре письма – три от Николая и одно от двоюродной сестры из Пензенской области. Было еще две посылки. Одну, бабе Дуне от внука, Нюра взяла с собой, другую – жене Плечевого Александре от Люшки из Куйбышева – не взяла: фанерный ящик был тяжеловат. Одолжила у Катки бутылку керосина. Выкупила по карточкам хлеб за неделю – без двухсот грамм три кило, – еще теплый. Пока шла, отщипывала по кусочку, сама себя не в силах остановить. Когда меньше половины осталось, пересилила себя, сунула остаток в сумку поглубже и пошла быстрее, стараясь не думать о еде.

Солнце стояло еще высоко, от сверкающего в его свете снега резало глаза. И хотя было ясно, что зима уже на исходе, а все же мороз еще хватал за нос, и к вечеру (на почте сказали) будет дальнейшее похолодание. Шубейка, скроенная из маминой плюшевой куртки, из ее же ватной телогрейки с овчинным воротником, была от мороза слабой защитой, но Нюра прытко бежала со своею тяжелой ношей, бежала, как лошадь, чуя приближение к дому, хорошо, дорога уже была раскатана, разглажена полозьями (и жирно лоснилась), ноги сами по ней несли, только успевай подпрыгивать.

Нюра хотела, не заходя домой, разнести почту, чтобы успеть дотемна покормить Борьку, но, пробегая мимо избы, увидела: на крыльцо вышла Олимпиада Петровна, неодетая, накрывшись байковым одеялом, придерживаемым у горла.

– Анна Алексеевна! – закричала она, махнув свободной рукой. – Домой скорее, гость к вам приехал!

Сердце заколотилось, ноги ослабли, к горлу подступила тошнота: неужто Иван?

А почему ж посреди зимы да в разгар войны? Разве что ранен. Хорошо б не сильно. Но если даже и сильно, даже если без одной

руки... или без одной ноги... а если даже и вовсе без рук, без ног... Ожидая встречи с полным обрубок, она вбежала в избу и у порога застыла, раскрывши рот.

У окна на лавке сидел маленький пожилой человек, небритый, с коротко стриженной шишковатой головой, в старой изодранной форме войск НКВД, с выцветшими петлицами. Щеки его провалились, глаза вылезли из орбит – страшно смотреть.

Нюра узнала гостя, удивилась и почувствовала разочарование – не его ждала.

Увидев Нюру, гость встал, двинулся к ней, но сделал один только шаг, зашатался и, удерживая равновесие, нелепо замахал руками.

– Папаня! – вскрикнула Нюра. Уронила сумку, бросилась к отцу, устыдившись первого чувства. Успела подхватить его, удержала. Обхватила руками его маленькую голову, твердую, как деревяшка, и заплакала беззвучно. Слезы катились по щекам, падали на колючее темя, отец, маленький, телом, что десятилетний ребенок, замер, уткнувшись ей в грудь, и его худые руки висели как палки. Потом зашевелился.

– Пусти, доченька, – захрипел он из-под ее локтя. – Придушишь меня. Слаб.

Нюра поспешно отпустила его, усадила на лавку, посмотрела ему в лицо и снова заплакала, теперь уже в голос.

– Папаня, милый папаня, – причитала она, – что же с вами наделала война эта проклятая!

– Люди, дочка, страшной войны, – тихо сказал отец, закрывая глаза от слабости.

Она спустилась в погреб, впотьмах выбирала картошку, какая получше, помыла, наполнила чугунок, поставила в печку.

Отец спал, положив голову на руки.

В соседней комнате Вадик таскал на веревке галошу, пыхтел и гудел – изображал паровоз. Она попросила его гудеть немного потише и побежала с сумкой своей по деревне.

Вернувшись, еще снаружи услышала шум, толкнула дверь, увидела: котелок вывернут на стол, вода пролилась, картошины рассыпались по столу, отец их хватает, жадно заглатывает и, не прожевав одну, заталкивает в рот другую.

– Алексей Иваныч, – хлопотала над ним Олимпиада Петровна, – да что же это вы такое делаете? Да разве ж так можно? Анна Алексеевна, отнимите у него картошку, у него же будет заворот кишок.

Нюра кинулась к отцу, потащила его за плечи:

– Папаня, что вы! Зачем же так? Это ж все ваше. Погодите, я сейчас миску дам, масла вам принесу.

Она отгаскивала его от стола, а он, будучи не в себе, вырывался, хватал картошку, тащил в рот, рычал, пыхтел, чмокал губами, заглянул в пустой котелок, пошарил еще в нем руками и отвалился на лавку успокоенный.

Вечером Нюра зажгла лампу, стала стелиться. Отцу уступила печь, а себе накидала тряпья на лавку. Олимпиада Петровна отозвала Нюру в сторону, зашептала трагически:

– Анна Алексеевна, я вас очень прошу. Сделайте что-нибудь с его одеждой. Так же нельзя, на это невозможно смотреть, у нас же маленький ребенок.

– Я не пойму, про что вы? – вежливо улыбнулась Нюра.

– Неужели не видите? – всплеснула руками квартирантка. – Да ведь она же сейчас уползет. – Она указала на шинель, висевшую на гвозде. Нюра поднесла лампу и отшатнулась: шинель была покрыта сплошным слоем белых шевелящихся вшей, словно соткана была из них. Нюра в жизни такого не видела. Зажмурившись, она схватила шинель двумя пальцами, вынесла, бросила на снег у крыльца. Вернулась, нашла в сундуке пару белья, оставшегося от Чонкина, дала отцу. То, что он скинул с себя, тоже сперва вынесла на мороз, а потом до трех ночи кипятила в большом чугуне. Соснувши всего ничего, затемно еще растопила баню, нажарила ее так, что бревна стали потрескивать, выделять смолу и запахи летом и лесом. А пока топила, наступил новый день, опять тихий, солнечный и морозный. Пошла за отцом, приволокла его, едва передвигавшего ноги.

В бане стояли две бочки – одна с горячей водой, другая с холодной – и рядом разбухшая и черная от лет деревянная шайка. Нюра наплескала в шайку ковшом воды, поболтала рукой, повернулась к отцу:

– Раздевайтесь, папаня!

Отец разделся до вонявшего портянкой исподнего, подумал, стянул рубаху и стоял, переминаясь босыми ногами.

– В кальсонах, что ли, будете мыться? – спросила Нюра. – Скидавайте.

– Да ты что, Нюра, неудобно ж!

– Вы что, папаня, чудите, – рассердилась она. – А ну, скидавайте!

Мочалкой терла его осторожно, боясь протереть насквозь.

Несколько дней жил он у Нюры, неспособный ни к какому общению, только ел, пил, ходил в уборную и спал. Спал с открытыми глазами. Нюра подходила, смотрела, вслушивалась, дышит ли. А когда начал оживать, то сны его стали чем дальше, тем беспокойнее. Он во сне скрипел зубами, стонал, кричал, вскакивал, безумно озирался и долго не мог уразуметь, где он и что с ним. Однако постепенно он поправлялся и, в конце концов, набрался достаточных сил для рассказа о том, что с ним случилось.

Помнишь, Нюра, ушел я в город. Женился на разведенке. Любой звали. Работала секретаршей у нашего начальника, у Лужина Романа Гавриловича. Через нее имел я от него разные снисхождения. Жили хорошо до самой войны. Ребеночка сделали, дочку. Люба по-городскому Викой ее назвала. Хорошая девчонка получилась, смешливая. А тут война, и часть личного состава перевели в действующую армию. А меня оставили по старости лет, и опять же через Любино ходатайство перед Романом Гавриловичем. И перевели надзирателем в следственную тюрьму. Работа хорошая, тихая, питание подходящее. Ничего, живу. Вдруг вызывает меня к себе ну сам начальник, сам Роман Гаврилович Лужин. Прихожу к нему, он из-за стола прямо выходит, ручку подает, по имени-отчеству называет: «Здравствуйте, Алексей Иваныч, садитесь, Алексей Иваныч, не хотите ли чайку, Алексей Иваныч, или коньячку, Алексей Иваныч?» И к маленькому столику подводит, и на кожаный диван садит, и коньяку стакашек, не большой, конечно, а маленький, так, чуть более рюмки, мне подает. А потом туда-сюда: как живете, как материально, если нужда, поможем, но и нам тоже очень чудовищно нужно помочь. Я, конечно, почему нет? Завсегда, говорю, Роман Гаврилович, говорю, готовый. К умственному делу не приспособлен, а по физической части, если чего принести, унести, дров наколоть, печи топить – это со всем тяготением и охотой. Да нет, говорит, не то. Принести, унести, на это ума много не надо, а есть такое дело, в котором нужны крепкий характер, сильная воля и твердая рука. Сейчас, говорит, идет схватка не на жизнь, а на смерть, и врагов надо уничтожать беспощадно, и что, говорит, Алексей Иваныч, ты об этом думаешь, что? Я, дурак, попервах подумал, что, как обычно, а что, говорю, мне, Роман Гаврилович, думать нечего, я думал, что года мои вышли, но ежели есть такая необходимость, то я, как все граждане, чего-чего, а голову свою за родину-отечество всегда положить готовый. Тем боле что в голове моей ценности особой нету, никаких таких умных мыслей в ней не рождается, ни для чего не пригодна, окромя ношения шапки или пилотки пятьдесят четвертый размер.

Роман Гаврилович смеется. Ты что, говорит, Алексей Иваныч, хотя и с юмором, да ты что? Мы тебя на фронт посылать не будем и твою голову, какая она ни на есть, зазря тоже не покладем, а, напротив даже, к тебе поднагнем другие.

Я по тупости сперва не скумекал, а он мне стал объяснять, а когда я понял, у меня, Нюра, волосы стали, можно сказать, торчмя. Он мне предложил работать бойцом-исполнителем, то есть по расстрелу врагов народа. И условия, говорит, хорошие, и зарплату повысим, и с жилищным вопросом разберемся, и паек дадим усиленный, кило хлеба, сто граммов масла сливочного в день, и после каждого исполнения стакан водки и бутерброд.

А я говорю, нет, нет, Роман Гаврилович, хоть золотые горы, хоть самого расстреляйте, а этого я не могу. А не могу я, Нюра, ты знаешь, потому что вообще и прежде ни на что живое рука не поднималась, я даже курицу никогда зарубить не мог, соседа звал. Отчего надо мной все всегда смеялись: сельский, говорят, человек, а в коленках настолько слаб.

Я это про курицу Лужину говорю, а он так это насупился, курица, говорит, тут ни при чем, курица птица безобидная, а вот враг народа – это не курица, а зверь хуже всякого хищника. И вообще, тебе чудовищное доверие оказывают, не то что там это, а ты еще выламываешься. Пойди, говорит, и крепко подумай. Ну, домой прихожу, а дома жена, и дочка ползает по полу. Туды-сюды. Любе рассказал, а она мне: ты что? Жить, говорит, тяжело, одна комната в бараке, да и та маленькая, продуктов питательных не хватает, дров купить не на что, а ты еще нос воротишь. А чего ты их жалеешь, этих-то самых? Тебе ж сказано, что это враги народа, и притом ты их не убьешь, так другой кто-то найдется, живы не останутся. И начала меня пилить, мужик, мол, ты, не мужик, а одно несчастье, и зачем я только с тобой связалась, и так далее и тому более, ела она меня, корила, а я всю ночь думал, думал, затылок в кровь расчесал, ну, думаю, ну, в самом деле, ну, работа она и есть работа, и кому-то ж и это надо делать, тем более что опять же враги народа, а если даже и не враги, то мое дело, как говорится, телячье. Это ж не я его приговариваю, а я только как инструмент. Палец на спуск нажал, и все равно это кто-то сделает. Ну, думаю, ладно, никогда не пробовал, но ежели зажмурившись и не сблизка... Короче, прихожу утром к начальнику.

Ну, что? – говорит. Ладно, говорю, согласный. Ну вот, ну и молодец. Я в тебе, говорит, даже и не сомневался, потому что ты человек нашенский, корневой, и делу нашему, я полагаю, предан безмерно. А что касается людишек этих, с которыми придется работать, так ты ж понимаешь, что у нас кого зря не расстреливают, а если уж до того дошло, значит, чудовищно много он нашей родине, народу нашему вреда понаделал. И такого убить не жалко. Муху жалко, таракана жалко, курицу и того более, а такого врага не жалко.

Ладно, значит, записали меня в исполнители, а ничего такого не переменилось, отдыхать, правда, больше стал. Раньше, бывало, сутки отдежуришь, двое свободный, а теперь трое. И, само собой, паек усиленный стали выдавать, и на квартиру очередь сразу же подошла. Роман Гаврилович сам лично с нами ходил, показал квартиру, поверишь, нет, в самом центре, трехкомнатная и с мебелью. Причем мебель... мы как туда вошли, я прямо своим глазам не поверил: то ли из ореха, то ли из корейской, что ли, березы, я в этом ни бум-бум, но, вижу, дерево дорогое. Мне, правду сказать, все равно, мне что стул, что тубаретка, было б на чем сидеть, а у Любы глаза загорелись, по комнатам шастает, все руками обеими общупывает, как на пианине играет, а люстра, говорит, что, хрустальная? А кожа на диване, спрашивает, настоящая? А шкаф, говорит, из какого дерева? А там еще и балкон, и уборная, а уборная-то, между прочим, знаешь какая? Вот не поверишь, там такая штука, как бы большой горшок, унитаз называется, бачок с водой и ручка подвешена. Дернешь за ручку, все сливается. А также ванна. Такое большое вроде бы как корыто и два крантика. Один крантик открутишь – холодная вода бегет, второй открутишь – текет горячая. И Люба все это, само собой, перетрогала, перекрутила, а когда спальню увидела, так и вовсе ошалела. Кровать такая, знаешь, шириной, как отсюда дотуда, спинки деревянные, резные, со зверскими головами, а еще пуховые подушки, атласное одеало и покрывало с кружевами. Люба прямо чуть ума не лишилась. Неужто и это будет нашенское? А почему ж нет, говорит Роман Гаврилович, конечное дело, вашенское, почему ж другие люди могут так жить, на кроватях таких кувыркаться, а вы не можете? И ко мне обертается: тебе-то, хозяин, квартирешка наравится или же нет? А я говорю, ну как же может не наравиться, да это же, говорю, роскошь такая, да это же прям дворец, здесь небось буржуи какие-нибудь жили.

Ну да, говорит, да, сперва белые буржуи, потом красные, но мы тех и этих подобрали. Ну, подобрали, подобрали, мое-то дело, обратно ж, телячье, заглянул я в третью комнату, вижу портрет: командир какой-то в больших чинах, два ромба в петлице, но без фуражки. Голова бритая, как, между прочим, у Романа Гавриловича, девочку на плечи себе посадил, и оба смеются. А девчонка ну точь-в-точь моя Вика. Я спрашиваю: кто такой? А это, говорит Роман Гаврилович, и есть этот самый красный буржуй, который здесь жил и за счет рабочих и крестьян чудовищно жировал. И тут же: да, между прочим, совсем забыл, мол, тебе сказать, завтра у тебя кой-какая работенка предвидится. Так что ты сегодня отдыхай, расслабься, водчонки выпей, если желаешь, а завтра к девяти утра приходи прямо к начальнику тюрьмы товарищу Пешкину. Договорились? – спрашивает. А я гляжу, как Люба по квартире с вытаращенными глазами бегаёт, ладно, говорю, договорились. И ничего такого даже и не подумал. А потом домой как пришел, как вспомнил, и прямо сердце у меня оборвалось. Люба, говорю, ты слыхала, чего Роман Гаврилыч сказал? А она: ну, слыхала, ну и что? А сама тряпки перебирает, думает, чего выкинуть, чего для новой квартиры оставить. И ночью мне свои планы выкладывает: кровать, мол, задвинем в угол, а стол, наоборот, посередине комнаты поставим. На балконе, говорит, цветы разведу. И того не понимает, что мне сейчас ни до столов, ни до цветов никакого такого дела нету. Всю ночь я проворочался, только к утру заснул. А утром Люба будит, вставай, говорит, уже приходили, тебя спрашивали. Я, значит, встаю, умываюсь, одеваюсь, завтракаю, а сам просто вот ничего не соображаю. А Люба говорит: я вижу, ты не в себе, пожалуй, я тоже с тобой пойду. Ну, значит, оделась, губы накрашила, взяла меня под руку и ведет. Так это вдвоем являемся к начальнику тюрьмы, а там уж собрались Лужин, прокурор, начальник тюрьмы Пешкин, старший надзиратель Попов Василий, еще два надзирателя и еще два человека неизвестные. А Лужин спрашивает: чего это вы вдвоем? А Люба отозвала его в сторонку и давай ему нашептывать, потом-то я узнал, просила разрешить ей тоже присутствовать для поддержки, значит, меня. А поскольку она у них своя была, то Лужин, хотя и неохотно, но согласился. Потом подходит ко мне и дает мне, значит, наган и говорит вот, Беляшов, тебе оружие, и из этого, говорит, нагана по врагам нашей революции, нашей власти и народа много уже пуль выпущено, сегодня

и тебе доверено его в дело употребить. Я ничего не говорю, беру, значит, этот наган, сую в кобуру, а руки как ватные и иголками как будто наколоты.

И вот ведут меня в камеру смертную, а я себя чувствую так, будто самого туда ведут на расстрел. Ну, где эта камера, я и раньше знал, ребята показывали, но сам я к ней никогда даже не приближался. А тут подошел. На самом деле это не одна камера, а две. Сначала вроде как бы предбанник: пол цементный покатый, а посередке дырка вроде мышинной норы. А за предбанником, обратно, железная дверь с глазком. Я подошел, глянул, вижу: там лампочка светит, и человек на табуретке сидит, газету читает. С виду еще крепкий, голова, само собой, бритая, видно, почуял, что там кто-то в глазок смотрит, поворачивает голову ко мне, а гляжу: батюшки, так это ж тот самый, который там, на портрете! И представляешь, как я себя чувствую!

А Лужин достает из кармана часы, смотрит, ну что, говорит, товарищи, пожалуй, приступим. Открывай, говорит, надзирателю. Тот тихонечко подошел, ключ еле слышно вставил. Потом – раз! – дверь раскрылась, и все туда в камеру ворвались, прямо как звери. Гляжу на бритого, он как нас увидел, так прямо в один момент и весь так вот с лица стал белый, затрясся и навонял жутко. А тут ему черный мешок на голову – раз! Руки назад закрутили и – бегом-бегом – волокут его в первую камеру и прижимают головой к дырке. А я стою и смотрю, как в кино, будто меня это вовсе не касается.

Слышу, кто-то кричит мою фамилию, но опять же как бы во сне.

Потом смотрю, подбегает ко мне Лужин, весь красный, что стоишь, туда тебя и туда, кто-то меня в спину толкает, я наган из кобуры вытащил, к голове приставил и слышу из-под мешка такой это тихий голос:

– Пожалуйста, поскорее.

Я и рад бы поскорее, да рука сама туда-сюда дергается, а палец не слушается, как деревянный. Лужин кричит: стреляй, мать твою перемать, а я ы-ы-ы, рука прыгает, а палец не гнется. Попов Василий выхватил у меня револьвер, позвольте, говорит, товарищ начальник. Нет, кричит Лужин, нет. Пусть учится. А если сам не может, пусть, мол, жена покажет, кто из них мужик, а кто баба. Я прямо так и ахнул, как же можно такое женщине предлагать, кричу: Люба, Люба! А Люба с такой это, представляешь, улыбочкой говорит:

– А что? Я могу.

– Можешь? – говорит Лужин. – На!

Забрал у надзирателя наган, отдает Любе. Люба берет наган, спрашивает, как держать, на что нажимать, приставляет к приговоренному, потом поворачивается и спрашивает, куда стрелять, в висок, мол, или в затылок?

Тут, Нюра, и Лужин не выдержал:

– Стреляй, кричит, мать твою так! – И собакой ее в женском роде назвал.

А она повернулась к нему и обратно все с той же улыбочкой:

– Что-то и вы, говорит, товарищ начальник, нервничаете.

И опять приставила наган, руку вытянула, сама отодвинулась, юбку подобрала, чтоб не забрызгать, а глаза все же зажмурила...

Выстрела я не слышал, был уже в обмороке. Очухался в коридоре. Попов Василий воду мне на морду льет и по щекам хлопает.

А потом, что ж ты думаешь, меня обратно перевели в рядовые надзиратели, а ее – поверишь, нет? – взяли бойцом-исполнителем. И квартиру мы ту получили. И на кровати на той вместе спали. И вот там я заболел. Приду домой, не могу найти себе места. Сяду на стул, тут же вскакиваю, здесь же сидел тот, которого застрелили. Аппетит потерял, кусок в глотку не лезет. По ночам спать не могу, мне все тот человек снится. И все повторяет одно и то же: «Пожалуйста, поскорее». Просыпался я всегда с криком. А Люба ко мне: ну что ты, что ты! Да иной раз начнет ластиться да подкатываться, чтобы свое удовольствие справить, и я вроде тоже не против, но потом вспомню, как она с наганом стоит и юбку свою подбирает, и меня тут же начинает тошнить не в каком-то смысле, а прямо по-настоящему, однажды и до уборной не добежал, вырвало в коридоре.

И так вот я жил, жил, жизни не радый, и руки хотел уж на себя наложить, а тут вызывают меня на комиссию и говорят: вы со своей службы временно отзываетесь на оборонные работы. И вот послали меня в Тульскую область против танков канавы рыть, ну а там меня всего как есть облапошили. Шапку украли, рукавицы украли, я туды-сюды к начальству, а они говорят, наше дело маленькое, мы часовых к вашим рукавицам приставить никак не можем. И заставляли работать. И вот я там совсем обморозился и тифом заболел, списали меня подчистую, иди, говорят, папаша, куда хочешь, может, хоть дома

помрешь. Я, конечно, мог бы вернуться к Любе, да как вспомню, так не могу. Вот и пришел к тебе.

Как представишь себе, на каком волоске висит и дрожит комок нашей жизни, так невольно склонишься к мысли, что это чудо великое, когда тому комку удастся провисеть хоть несколько лет, не говоря уже о десятках, которые нам с вами выпали, добрый читатель. У иных время жизни исчисляется днями, а кому природа как будто пожалела часов даже лишних выделить, чтоб посмотреть хоть, как солнышко светит, хоть материнскому лицу улыбнуться.

С Нюрой чудо не подружилось. Сбегала она с крыльца почты, поскользнулась на заледенелой ступеньке, ударилась с размаху затылком, а боль в животе только после почувствовала. Зато такая боль, словно вилами ее насквозь пропорол. А тут же и схватки начались. На крик ее сбежались товарки по работе, перенесли на руках через дорогу в амбулаторию. Там, в коридоре, не добравшись до фельдшерицы Алевтины Кузминичны, она легко родила недоноска мужского пола весом меньше одного килограмма.

Чахлый ребенок три дня и три ночи кричал почти что без перерыва, а четвертой ночи не пережил. Амбулатория войной была опустошена. Ни медиков, ни медикаментов в ней не хватало. Было бы это все, может, и выжил. Дальше могло и вообще все сложиться иначе. Может, обнаружился бы в нем недюжинный интеллект и талант, и стал бы он писателем или физиком-теоретиком, а то и оперным певцом. Могло бы быть и попроще: получил бы образование пять-шесть классов, кончил бы курсы трактористов или шоферов. На гармошке бы научился играть, девок приманивать. В армии отслужить успел бы еще до Афганской войны да жениться. Женился бы на бабе пышнотелой да теплой, поколачивал бы ее по пьяному делу, любя и не шибко, а она б ему детишек нарожала одного-двух, не более. Более при наших зарплатах он бы не потянул. Ну все это бы-бы-бы, а могло и по-другому получиться. Подрос бы, связался с плохой компанией, школу бы бросил, пить начал, курить, колоться, воровать, попал бы в тюрьму или психушку, а то и бомжом бы стал, по помойкам бы шастал. Всяко-всяко могла судьба сложиться. Могла бы и так, что мать не рада бы была, что родился и не помер в младенчестве. А так, что гадать, помер младенец, ничего хорошего не увидев, но и не согрешивши ни разу, и

потому достойный места в раю. Помер, и смертью этой природа как бы стерла последнюю улику Нюриной связи с пропавшим возлюбленным.

Домой она возвращалась такая слабая, что и ноги не держали. Хорошо, попалась с лошадей Тайка Горшкова, довезла.

Было темно уже, когда Нюра вылезла из саней и приблизилась к дому. Еще дверь не открыв, услышала запах, от которого давно отвыкла. Вошла в избу, при свете керосиновой лампы увидела: за столом отец, Олимпиада Петровна и Вадик пируют. Из котелка вареное мясо руками тащат и чавкают громко, как поросята.

– Приятного аппетита, – сказала Нюра.

– Спасибо, – отозвалась Олимпиада Петровна.

– Нюра! Дочка! – спохватился отец. – Слава богу, возвратилась. А где ж ты была, что делала?

– А ты не знаешь? – спросила Нюра.

– Ну откуль же мне знать-то, доченька? Ты ж мне разве что говоришь? Куды ушла, когда придешь, меня в известность не ставишь. Да что же с тобой случилось-то?

– А то и случилось, что ребеночка родила, а он помер. Даже как назвать его еще не придумала.

Сказала и удивилась собственному спокойствию, как будто о чем-то обыкновенном сказала.

– Ой! – вырвалось у отца. – Ой, Нюра, да что же это, да как же это?

– Боже! – присоединилась Олимпиада Петровна. – Боже, какое несчастье. Как же это, Анна Алексеевна, такое случилось?

– Случилось, – сказала Нюра и стала снимать шубейку.

Отец подскочил помочь, бормоча:

– Ой-ёй, как нехорошо, Нюринька. Но знаешь, может, он еще посмотрит отседа сверху-то на нашу житуху, как мы здесь маемся, и скажет: слава тебе господи, что прямым рейсом попал сразу на небо. Ты садись, Нюр, покушай, – стащил с нее шубейку. – Садись с нами, это, покушай.

Она, голодная, долго упрашивать себя не заставила. Села за стол, схватила кусок мяса, впиалась в него зубами.

– Вкусно? – спросил отец. – Правда, вкусно. Жестковато маленько, а так ничего.

Жестковато не жестковато, а стала рвать зубами с жадностью. Оголодала и давно мяса не ела.

– А где ж мясо-то взяли?

Олимпиада Петровна встала и ушла к себе.

– Дядя Леша Борьку зарезал, – сказал Вадик.

– Ну зачем же ты так говоришь? – упрекнул отец. – Ты знаешь, я и курицу зарезать не могу, не то что животное. – Повернулся к Нюре: – Плечевой зарезал. Я его попросил, а он зарезал. Да себе вот такой кусок взял. Я говорю, куда ж тебе столько, а он говорит, а ты что думал, задарма, что ли, я тебе буду пыхтеть?

Нюра перестала жевать и застыла с открытым ртом как заколдованная. С тем же выражением повернулась и уставилась на отца.

– Да ты чего, Нюр? – забеспокоился отец. – Да ты чего это так смотришь? Да ты не серчай, Нюр, не надо. Это ж не человек, это ж животный. Он без толку бегаёт как собака, а люди, Нюр, люди, люди-то ходят голодные.

Нюра, закрыв рукою рот, кинулись из избы. У крыльца ее долго рвало. Она думала, что умрет, и не хотела противиться смерти. Она потеряла сознание, но ненадолго, а когда очнулась на том же месте, над ней без шапки стоял отец и тряс ее за плечи.

– Да ты что, Нюрок, да ты что?

– Ах ты мать твою ети! – Нюра вскочила на ноги, кинулась на отца с кулаками. Он – бежать, она схватила грабли и бросилась за ним! Догнала его на дороге и со всего маху опустила грабли ему на голову, но попала не железом, а черенком, который переломился. Отец схватился за голову и сел на снег, обливаясь кровью. Она перепугалась, села рядом.

– Папаня, милый! О господи, да что ж это я наделала!

Потом дома обмывала его, перевязывала, плакала над ним, над Борькой, над своей судьбой.

Ночью у нее поднялась температура и начался бред. Она болела три дня, а на четвертый проснулась с ясной головой и поняла, что придется жить дальше.

Когда морозы спали, Нюрины квартиранты переехали в комнату при школе. Олимпиаде Петровне дали ее с условием, что она будет вести первый и третий классы. Нюра осталась с отцом, который постепенно поправлялся. Кожа на лице порозовела, морщины разгладились. Бриться стал куском стекла через день. В конце же апреля пришло ему необычное письмо – не треугольник, как остальные, а в конверте. Люба писала ровным кудрявым почерком, что живет одна, мужчин к себе не допускает, ведет уравновешенный образ жизни. Вика растет смышленной девочкой, уже знает буквы и даже умеет писать слово «папа». А начальник Роман Гаврилович Лужин несколько раз о нем спрашивал, жалел, что так все получилось, и обещал, если Беляшов вернется, подыскать ему работенку полегче.

Прочтя письмо, отец вернул его обратно в конверт и положил в карман гимнастерки. Но после Нюра видела, что отец часто вынимает это письмо, смотрит в него, шевелит губами и думает о чем-то долго и тяжело.

А потом Нюра да и некоторые соседи стали замечать за Алексеем Ивановичем, что в теплые дни он в телогрейке, ватных штанах и валенках выбирается из дому, садится на крыльцо, берет в руки палку и, держа ее в виде пистолета, целится в проходящих мимо.

Видимо, собирался он вернуться к Любе и готовил себя к возможному трудоустройству. Но тренировки его оказались напрасными.

Как-то Нюра кормила его щами из мерзлой капусты, а он, не донеся очередную ложку до рта, вдруг захрипел, выпучил глаза и, расплескавши щи, стал трясти ложкой, как будто собирался кого ударить.

– Папаня! – закричала Нюра. – Вы что?

Но он только хрипел, тряс ложкой и пучил глаза.

– Папаня, – догадалась Нюра, – вы помирать, что ль, собралися?

Он перестал хрипеть и трястись, положил ложку на стол, посмотрел на Нюру осмысленно.

– Кажись, да, – сказал. И помер.

По деревне разнесся слух: Иван прислал-таки Нюре письмо. Источником слуха была Нинка Курзова, ближайшая подруга Нюры и ее доверенное лицо. Она по секрету Тайке Горшковой рассказала, а та по секрету Надьке Косорукой, а Надька опять же по секрету соседкам ближним и дальним, и так разошлось, будто Нюра приходила к Нинке и читала ей письмо, будто только что полученное. По виду письмо вроде как настоящее. С адресом, с указанием, что передать в личные руки, и штампель почтовый приляпан, но почерк-то, Нинка знает, без сомнения, Нюркин.

Бабы сперва долго не верили, потом решили, что Нюрка от всех своих несчастий в уме пошатнулась, и стали, иные не без ехидства, а прочие по простодушию, приставать, мол, если твой мужик объявился и пишет, то не только Нинке, а и нам почитала бы. Нюра сперва отнекивалась, а потом согласилась.

Вечером, в субботу, после бани, сошлось у Нюры в избе все женское население. Пришли Нинка с дитем, Тайка с двумя. Пришла баба Дуня с фляжкой самогона. Добавились две девушки-близняшки Манька и Зинка Четоровы, Надька Косорукая и Клавдя, чернявая баба из эвакуированных, по прозвищу Чернота. Про Черноту говорили, что она сидела в лагере по уголовному делу, с тех пор хранит на себе разные наколки, одна, главная, на животе: «Здесь лежал мой милый». Была она баба безвредная, но от здешних отличалась и видом, и ухватками, тем, что всегда курила толстые и неумело слепленные самокрутки, а чувство удивления выражала восклицанием: «Ехтиёх!» Что означало, кажется: «Эх, ты, ох!»

Сошлись бабы в Нюриной избе с вежливыми недоверчивыми улыбками. Кто затем, чтобы потом посмеяться, кто – просто провести время нескучно.

Расселись кто где. Нюра, не пожалев керосину, засветила лампу семилинейную, фитиль открутила до самого яркого. Развернула треугольник, разгладила аккуратно, осмотрела слушательниц и начала, волнуясь: «Привет из Энской части! Здравствуйте, Нюра! Добрый день или вечер. С фронтовым армейским приветом к вам ваш Иван.

Извините, что долго не писал, постольку, поскольку был занятый уничтожением немецко-фашистских захватчиков, которые вероломно напали на нашу страну, убивают стариков и старух, насильничают и вообще ведут себя безобразным способом, как настоящие свиньи. Приходится вести против них неравные воздушные бои, летая на всяческих аэропланах со стрельбою из пулемета. За время, что мы с вами не виделись, удалось мне в неравном воздушном бою подстрелить несколько бомбовозов, а также живую силу и танков противника. Только вы не думайте, что я только летаю и только стреляю по бомбовозам, или по танкам, или по живой силе противника, а о вас никогда не думаю. Нет, любимая наша Нюра, летая на аэропланах и ведя смертельные схватки в неравном воздушном бою, я постоянно вспоминаю вашу фигуру, ваши глаза, и щечки, и носик, как мы с вами жили, целовались и миловались для совместного счастья. И все это я когда вспоминаю, то любовь моя к вам, милая Нюра, возрастает с еще большею зверскою силой, и так же – ненависть к фашисту-врагу. Также я думаю и уверен впоследствии, что вы меня тоже со временем не забываете, думаете обо мне, как я здесь сражаюсь, и беспокоитесь за мою молодую жизнь и здоровье. А я тоже за вашу. На этом сердечно заканчиваю, жду ответа, как соловей лета, и желаю вам всего хорошего в вашей молодой и цветущей жизни, ваш муж Иван».

Вообще-то, у нее было написано просто «ваш Иван», но, дочитывая письмо, она решила устно усилить впечатление от подписи и прочла не «ваш Иван», а «ваш муж Иван».

К прочитанному бабы отнеслись по-разному. Некоторые во все поверили сразу. И тут нечему удивляться. Большинство людей, не обладая собственным развитым воображением, не могут себе представить, что кто-то им обладает и может описать что-то, чего не было в жизни. Сами вообразить ничего не могут, но к воображенному другими весьма восприимчивы и потому безоговорочно верят всему, о чем читают в романах или что видят в кино. Это им помогает все увиденное переживать искренне и глубоко, с радостью и слезами. А другие, меньшинство, не верят никогда ничему, и собственного воображения не имеют, и к чужому глухи, никакие тексты или картины их совершенно не трогают, на задевают, не вызывают улыбку и не вышибают слезу. Так что бабы, Нюрины односельчанки, почти все

сразу во все поверили, тем более что письмо было прямо как настоящее. Как положено, с адресом получателя, с почтовым штемпелем, да и трудно было себе представить, что Нюра сама такое выдумала из своей головы. Иные не совсем поверили, но заинтересовались и пожелали услышать продолжение. И пожалуй, одна только Нинка Курзова по тупости своей не поверила ни одному слову, отнеслась к прочитанному с полным пренебрежением, чего, однако, Нюре в глаза выразить не решалась, а за глаза изображала свою же подружку как *чеканутую*.

Как бы кто ни отнесся, а в следующую субботу опять собрались бабы у Нюры и в тишине, нарушаемой только хрустом разгрызаемого жареного гороха и жужжанием веретена, прослушали очередное послание:

«А еще сообщаю вам, Нюра, в краткости своего письма, что вчера, токо мы сели завтракать, как раздался крик нашего командира «тревога!», и зеленая ракета оповестила о том, что приближаются вражеские бомбовозы, и командир приказал нам вступить с ними в неравный воздушный бой. И я немедленно сел в свой самолет и поднял его в воздух. Поднялся я, дорогая Нюра, выше облаков. И вижу: летит на нас целая, можно сказать, армада, и тогда я приблизился и стал стрелять по ним из своего пулемета. И когда я ударил первую очередь трассирующими снарядами, я увидел, как загорелся один самолет, а потом второй, третий и четвертый, и все четыре попадали на землю...»

– Надо же! – восхитилась Тайка Горшкова.

– Ехтиёх! – отозвалась Чернота.

«...Это была тижолая работа, Нюра. Некоторые люди думают, Нюра, что это легко сбивать вражеские самолеты. А это нелегко. Потому приходится, сражаясь, совершать несколько фигур высшего пилотажа и летать как в обыкновенном положении, так и кверху колесами. А еще, конечно, надо о том подумать, что там, в этих вражеских самолетах, тоже сидят люди, такие же, вроде нас с вами, только что говорят по-другому. И, может быть, у них тоже есть и жены, и дети, и родители, а также всякие другие родственники, дальние и близкие, и им тоже бывает очень неприятно, когда приходит к ним похоронка, что он погиб смертью храбрых за родину и за Гитлера. Но что же делать, Нюра, если идет война и эти люди не хотят понимать,

что и у меня тоже есть кто-то, кто дорог моему горячему воинскому сердцу? Кто мне дорог, это я имею, конечно, в виду вас. И когда я вспоминаю, Нюра, вас, ваши глазки и вашу улыбку и то, что немецко-фашисты сделали с вами, отнявши вашу корову, то с новой утроенной силой начинаю бить этих стервятников. И вот которых я побил, а которые бросились наутек, но один наглый продолжал свой полет дальше, а у меня уже нету патронов, и кончились боеприпасы, и бензину тоже всего ничего. Но тогда из последних сил догнал я этого уходящего стервятника и всей мощью ударил его своим тарантом...»

– А что такое тарант? – спросила одна из близняшек.

– А это там на самолете имеется такая как бы дубина, – объяснила Горшкова Тайка, – когда патроны кончаются, так бьют обыкновенно тарантом.

«...Вот ударил я его своим тарантом и вижу: самолет загорелся, а летчик схватился за голову и кричит: капут, капут. А когда я спустился на землю, то ко мне подошел наш командир и сказал: «Ты, Ваня, очень хорошо сражался сегодня в неравном воздушном бою, и я тебя за это награждаю красным орденом Боевого Красного Знамени».

И так вот я по ночам, когда, бывает, после неравного воздушного боя не спится или, допустим, клопы кусают, и думаешь обо всей прошедшей жизни, я думаю, что было у меня такое счастливое время, когда мы с вами встретились в деревне Красное, и что если бы не эти проклятые немцы, то мы создали бы крепкую и дружную нашу семью, и вы бы рожали детишек, и воспитывали, а я бы работал в колхозе или же на заводе. И за вами бы всегда ухаживал со всей моей сердечностью и уважением».

Слушая это, обе близняшки пустили слезу, а Зинаида Волкова зарыдала и с плачем выбежала из дому.

Так и пошло. По субботам бабы шли в баню, потом к Нюре. Некоторые со своими скамейками и табуретками, с рукодельем, иной раз и с угощением каким-никаким. Собирались, грызли жареный горох, когда получалось, пили чай вприкуску или вприглядку, кто вязал, кто искал вшей в голове соседки, слушали, вздыхали, обсуждали, плакали, рассказывали про своих, вспоминали прошлую жизнь, думали о будущей, от которой, впрочем, особых радостей не ожидали. И уже стало это таким правилом, что сходились каждую субботу без предупреждения. Сходились, слушали, обсуждали и

расходились с надеждой на неизменное продолжение. Еженедельное слушание Нюриных писем стало для этих женщин приблизительно такой же насущной потребностью, как для будущих поколений регулярное поглощение телевизионных сериалов. Даже и жили от субботы до субботы, от одной серии до другой. А для Нюры подготовка к очередной субботе стала ежедневной работой. Бабам-то что! Десять-пятнадцать-двадцать минут послушали и разошлись, а для Нюры это каждодневный непростой труд, родственник писательскому. Жила она эти годы в постоянном творческом напряжении, собственная фантазия обогащалась обработкой собранных материалов. Что в газете прочитает, что услышит по радио и от людей, все оценивает, не подойдет ли ей. Отсюда были и описание разных подвигов, и ночные бои, и дальние бомбардировки, и вынужденные посадки, и прыжки с парашютом. И стала эта сочиняемая ею мнимость главным и единственным смыслом ее настоящей реальной жизни.

Нинка Курзова чем дальше, тем более ревновала. И однажды сказала Тайке:

– Вот интересно, ходят все к Нюрке, ходят. Все знают, что сама себе пишет, а ходят. Уж чем ее выдумки слушать, пришли бы ко мне. Мой-то мужик невыдуманный.

– Невыдуманный, а пишет глупо. Стихами. Пушкин! Ты ж сама его читать не хочишь. А ее выдуманный такое надумает, что прямо сердце холонет.

– Надо ж, – дивилась Нинка. – Холонет сердце. А чего ж там холонуть?

Нинка ходила, завидовала, ревновала и однажды взяла да сама сочинила письмо как бы от Николая, но не в стихах. Созвала баб в воскресенье, даже киселя овсяного на всех наварила. Бабы пришли, киселю дармового охотно поели, горох погрызли, веретено покрутили, послушали вежливо, но никто ни разу не заплакал, не засмеялся. Не талантливо это было, не смешно, не грустно, неинтересно. И в следующий раз пришла только Зинаида Волкова, скорее ради киселя, чем для чего другого.

Нюре сперва с непривычки трудно было к каждой-то субботе новый сюжет сочинять, но постепенно разогрелась. И пошла, пошла писать текст за текстом, излагая истории о совершенных Иваном подвигах, полученных за это наградах, и по лестнице воинских званий тоже героя своего постепенно продвигала все выше и выше. А кроме того, всегда в письмах была тема страстной любви и отклика на события реальной Нюриной жизни.

«Здравствуйте, Нюра, добрый вам день или вечер, а может быть, утро, как у меня! У меня как раз утро. Проснулся я сегодня оттого, что тихо было в нашей Энской части, и хорошо так вокруг, и солнышко светит, и птички поют, как будто никакой войны не было и нет, и проснулся я оттого, что чувство меня разбудило такое, что вот не один я на целом свете, есть еще одна душа, такая же вроде, как и моя, и даже, может быть, не душа, а половина души, половина моя и половина ваша, и вот половины эти тянутся друг к другу и растягиваются в стороны наврде простыни, и такой широченной, что

закрывают все на свете. И вот как стяннутся эти две половины, как сойдутся, так можно будет сразу и умереть. Потому что, как я думаю, счастье самое большое – это такое счастье, от которого умирают. А во всем остальном у нас хорошо и спокойно. Вчерась летал я обратно на боевое задание, и напали на меня одного шесть, а может, и более ихних бомбовозов, и всех их я побил из своего пулемета, но меня один тоже сзади подло ударил своим тарантом, и пришлось мне спуститься на парашюте. А командир наш встретил меня внизу и говорит: поздравляю, будешь ты теперь в звании капитана. На этом краткое свое повествование с сожалением завершаю, остаюсь к вам с любовью на годы длинные, на веки долгие, с нежностью изумительной ваш Иван».

Тот не писатель, кто сам не верит в то, что он пишет. Для писателя граница между реальностью реальной и реальностью воображенной зыбка, легко размывается, сливая эти реальности воедино. Если бы спросить Нюру, чтоб честно сказала, верила она в свои выдумки или не верила, она не смогла бы ответить определенно. Потому что не писала, а записывала слова, диктуемые ей ее воображаемым адресатом. Писала и видела перед собой своего возлюбленного четко и ясно, как он садится в самолет, как вылезает на крыло и спрыгивает на землю, как, склоняясь над листом бумаги, описывает свою жизнь. Пока писала, иной раз и отдавала себе отчет, что пишет сама, а законченное письмо берет его в руки, словно оно и в самом деле прибыло издалека. И, бывало, сама себе начнет перечитывать и улыбается или плачет. И бабам читая, переживала все заново.

Тайке Горшковой пришла похоронка, она выбежала на мороз в одной рубашке, каталась по снегу, кричала на всю деревню. Нюре стало неловко, что она одна такая удачливая, – Иван ее воюет, не зная никаких неприятностей, – и к следующей субботе подоспело от него сообщение, что в неравном воздушном бою он был ранен, опять спустился на парашюте и попал в госпиталь. И оттуда написал, что «как только очнулся в сознании, открыл глаза, смотрю и понять не могу, где это я нахожусь и каким это путем я здесь очутился. И вот теперь лежу и, обратно закрывши глаза, думаю о вас, вспоминаю вашу наружность, и ваш голос, и ваше дыхание. А санитарки здесь все красивые, но красивше вас никого нету».

В письмах содержались разные наставления на все случаи жизни. Иван просил Нюру беречь здоровье и жизнь, из жаркой избы не выбегать на мороз незакутанной и не полоскать белье на реке, пока лед полностью не установится. А также следовали подробные объяснения, как хранить картошку, рубить капусту или подправить крыльцо. Почему-то автора волновали национальные проблемы, он их касался не раз и все в таком духе:

«А некоторые говорят, что немцы это особо зловредная нация, а я так скажу вам, дорогая Нюра, что нации все бывают друг другу равноценные, отличаются только цветом волос или глаз да по-другому еще разговаривают, а в остальном все исключительно такие, как мы, окромя цыган. Вчера пришло мне письмо от товарища Калинина, он сообщает, что награжденный я теперь еще один раз орденом Ленина».

Были соображения насчет наилучшего устройства жизни в данных условиях:

«А женщинам, которые слушают мои письма, передайте, что жизнь ихняя ныне такая тяжелая, что ни в сказке сказать, ни пером описать, но ничего не поделаешь, вот такая война. А после войны тоже ничего хорошего не предвидится, потому что количество нашего брата со временем течения войны постепенно уменьшается, а я так думаю, что если бы у нас ввести хотя бы на время мусульманские правила, у них же на одного мужика жен бывает и шесть и десять, и так тогда мужчин всем хватает. Я не потому, что за такой разврат, но жалко мне,

Нюра, очень жалко всех женщин, уж до того жалко, что на всех бы сразу женился и всех бы сразу пригрел. Но на самом-то деле у меня никого нет и быть не может, кроме вас одной, с чем и расстаюсь до следующего моего письма, которое будет написано через неделю».

От заботы об обездоленных женщинах и от хозяйственных советов он опять переходил к описанию подвигов, полученных за них правительственных наград и воинских званий.

К концу войны удостоился Иван звания Героя Советского Союза и чина полковника. Нюра знала, что за полковником идут генеральские звания, но поднять своего возлюбленного до таких высот не решилась.

Окончание войны жители Красного встретили кто радостно, а кто с плачем. Бабы, к кому возвращались мужики, радовались, а те, к кому нет, еще больше свое горе горевали. Никто не знал, кто и когда прибудет, некоторые женщины ходили в Долгов на станцию регулярно, как на дежурство. И Нюра тоже ходила вместе с другими. Она сама так поверила своей выдумке, что, приходя на станцию, вглядывалась во всех появлявшихся там нечасто полковников, иногда, впрочем, смотрела и на тех, кто чином пониже.

В Красное вернулись с войны всего три мужика. Из них целый только один Мякишев, а остальные – Плечевой без руки и Курзов без глаза.

Каждый день по дороге на почту Нюра сворачивала к станции, встречала очередной поезд, толкалась среди прочего люда, осматривала украдкой спускавшихся на перрон пассажиров и уходила в опустошении. И в конце концов коротко и сухо написала сама себе извещение: «Настоящим сообщаем, что ваш муж геройски погиб в неравном военно-воздушном бою с фашистским стервятником».

Надо было поставить подпись, и она написала сначала должность: «командир Энской части», потом звание «генерал-майор», потом решила, что это слишком, переправила на «генерал-лейтенант», подумала, что это маловато, переписала все от начала до конца, обозначила подписавшего «генерал-капитаном», а фамилию и тут не придумала, поставила закорючку и зарыдала...

...В конце сороковых годов появились в деревнях фотографы-шабашники. За небольшие деньги, а то и за натуральную плату продуктами, увеличивали фотографии, а если надо, приукрашивали, подмлаживали, одевали получше. Один такой, в длинном до пят суконном пальто, в шляпе с опущенными полями, с ящиком через плечо, постучался к Нюре.

– Ну что, хозяйка, будем делать портреты?

– Чего? – переспросила Нюра.

– Увеличиваю фотографии. Из мухи делаю слона, из маленькой карточки большой портрет. Одинарный стоит пятнадцать рублей, двойной – четвертак.

Он открыл папку и стал показывать ретушированные фотопортреты разных людей и то, из чего они были сделаны. Подобные творения Нюра уже у кого-то видела и не раз думала, как бы и ей заказать нечто подобное, но не знала, где и как. А тут подвернулась такая оказия. Она пригласила фотографа в избу, показала ему карточки – свою и Ивана. Снимок Ивана, пришпиленный булавкой к стене, был маленький и выцвел. Человек, на нем изображенный, виден был еле-еле и выглядел, как заключенный: голова стриженная, глаза большие, вытаращенные. На обороте осталось посвящение:

«Пусть нежный взор твоих очей
Коснется копии моей,
И, может быть, в твоём уме
Возникнет память обо мне.
Нюре Б. от Вани Ч. в дни совместной жизни».

– Муж? – спросил фотограф.

– Муж, – обрадовалась она вопросу. – На войне погибши. Герой Советского Союза был, полковник.

– Понятно, – сказал фотограф. Ему в его практике и генералы встречались. – Так, может, его в полковничьей форме, с орденами изобразим?

– А можно? – удивилась Нюра.

– Все можно, мамаша, – сказал фотограф. – Десятку накинешь, мы твоего мужа хоть в генералы произведем, а добавишь еще пятерик, то и маршалом сделаем. Согласна? Как, в фуражке будем делать, в папахе или без ничего?

– В летчиской фуражке можно? – спросила Нюра.

– Можно в летчиской.

Так и договорились.

И неделю спустя появился на стене у Нюры портрет, сделанный точно, как было заказано. Сама Нюра в строгом темном жакете, в белой кофточке, и коса уложена вокруг головы. Рядом с ней лихой военно-воздушный полковник в фуражке с кокардой, в золотых погонах со звездами, на груди с обеих сторон ордена, а слева над орденами Золотая Звезда Героя. Может, полковник был не очень похож на Ивана, да и сама Нюра на себя не очень-то походила, но портрет ей понравился. Так Иван Васильевич Чонкин был похоронен и увековечен. Но преждевременно.

Часть вторая

Превращения

Ясным солнечным днем в конце июня 1945 года по мощеным улицам маленького немецкого городка Биркендорф запряженная парой веселых упитанных лошадей шибко катила телега на высоких колесах с железными ободами. Она была загружена пустыми продуктовыми ящиками и так гроыхала на неровном булыжнике, что в ближайших домах дребезжали стекла, и жители испуганно вздрагивали, думая, что опять канонада. Но, выглянув на улицу, тут же успокаивались, а восприимчивые к смешному даже и улыбались. На облучке, широко расставив ноги в наспех наверхенных обмотках и давно не чищенных американских ботинках, сидел, слегка отклонясь назад, советский солдат небольшого роста, щуплый. Голова его была обвязана грязным бинтом, края которого распушились и свисали клочьями из-под пилотки. На груди болталась одна-единственная медаль «За освобождение Варшавы». Настроение у освободителя Варшавы, видимо, было хорошее. Крепко держа в растопыренных руках вожжи, он под грохот ящиков и колес громко распевал песню, которой совсем недавно его научил аэродромный каптерщик старший сержант Кисель:

Ком, панинка, шляфен,
Дам тебе часы,
Мыло и тушенку,
А ты скидай трусы...

Прохожих на улице было мало, но если, и вправду, встречалась не очень старая фрау, но даже если не очень молодая, солдат призывно махал ей рукой и кричал: «Фрау, фикиен-фикиен!» – этим словам он научился у того же самого Киселя.

Неожиданно позади телеги раздался еще больший грохот. Из-за угла выскочил танк «Т-34». На повороте его слегка занесло, он даже вскочил одной гусеницей на тротуар, едва не стесавши фонарный столб, но тут же соскользнул снова на мостовую и, высекая искры, понесся вниз по улице. Не сбавляя скорости, обогнул телегу, окутав ее облаком отработанных газов. Солдат в телеге поморщился и зажал нос.

– Дурак вонючий! – крикнул он вслед железной громаде и повертел у виска пальцем.

Пролетев до следующего перекрестка, танк вдруг со скрежетом затормозил, попятился задним ходом и приткнулся к шершавой бровке. Крышка люка откинулась, из нее вылез танкист в темном комбинезоне с прикрепленным к нему орденом Славы и в ребристом шлеме. Он снял шлем и, взъерошив рыжую вспотевшую шевелюру, подождал, пока подкатит телега.

– Эй, ты! – крикнул он и покрутил шлемом над головой. – Как тебя, Чикин, что ли?

Солдат остановил лошадей, посмотрел на танкиста с выжидательным любопытством.

– Чонкин наша фамилия, – поправил он сдержанно.

– Вот да, я и говорю: Чомкин, – подтвердил танкист. – А меня не признаешь ли?

Чонкин вгляделся.

– На личность быдто где-то видались, – промямлил он неуверенно.

– Ха, быдто видались! – Танкист спрыгнул на землю, достал немецкий позолоченный портсигар с американскими сигаретами, протянул Чонкину:

– Кури!

Чонкин с достоинством, не торопясь, взял сигарету, помял через полу гимнастерки (пальцы грязные) и, наклонясь к протянутой зажигалке, продолжал вглядываться в круглое, как лепешка, лицо танкиста с прилепленным на нем как попало носом.

Танкист усмехнулся:

– Красное помнишь? Ты там еще с Нюркой жил, с почтальоншей. Жил с ней?

– Ну, – сказал Чонкин.

– Вот те и ну. А я Лешка Жаров, пастух, коровам хвосты заворачивал.

– Эка! – удивился Чонкин. – А я и гляжу, где-то это... ну вот... вроде как бы видались. – Он соскочил с телеги и протянул Жарову руку: – Здорово!

– Здорово, корова! – откликнулся Жаров.

– Как, вообще, жизнь-то? – Чонкин приветливо улыбнулся.

– Жизнь, вообще, ничего, подходящая, – сказал Жаров. – Чего это у тебя с головой? Ранетый?

– Да не, – отмахнулся Чонкин беспечно. – С лошады упал.

– Ты? С лошады? Как это? Деревенский человек на лошаде сидит, как городской на табуретке.

– В том-то и дело, что не сидел я на ней, а стоял. В Берлине. Когда на стене расписывался ихнего раймага.

– Рейхстага, – поправил Жаров.

– Ну да, – согласился Чонкин. – Вот этого. Я ж туда подъехал на телеге, хотел, как все, расписаться, а там уже места нет. Все расписано. Кто здесь был. Кто из какого города, из какой дивизии, кто от Волги дошел, кто от Днепра. А я хотел только фамилию свою поставить, и то негде. Вот я на лошады-то и полез.

...Тогда взобрался он на спину лошади (этой подробностью он Жарова утомлять не стал) и куском черной смолы начал выводить свою фамилию. Но написав первые две буквы «Чо», увидел, что еще выше стоит фамилия то ли Ку, то ли Пузякова, которую он сразу вспомнил. Он видел уже эту подпись четыре года тому назад в камере долговской тюрьмы. Там она была начертана окаменевшим впоследствии эксcrementом, и здесь был употреблен, видимо, тот же пишущий материал. Чонкину захотелось поставить свою подпись еще выше. Он привстал на цыпочки, но тут лошады дернула, он упал, сильно ушиб голову и больше попыток увековечить себя не предпринимал. А подпись его так неоконченная и осталась, и люди, которые впоследствии видели подпись «Чо», думали, вероятно, что это расписался какой-нибудь советский китаец или кореец.

– Во как бывает! – сочувственно заметил Жаров.

– Бывает, и слон летает, – согласился Чонкин. – А Нюрку-то давно видел?

– Давнее тебя, – сказал Жаров. – Меня ж в первые дни войны забрали. Вот с тех пор дома и не был. Другие хотя б по ранению отпуска получали, а я всю войну от и до в танке, как в банке, провел, и ни разу, видишь, не зацепило. Но с бабой своей переписку поддерживаю. Пишет, жизнь в колхозе стала тяжелее прежней. На трудодни шиш плотют с фигом, если бы, грит, не коза, не огородик, не курочки, то и совсем был бы полный капут, а так ничего, перебивается.

А насчет Нюрки твоей сообщает, будто с офицером заочное знакомство по переписке ведет.

– С офицером? – неприятно пораженный, переспросил Чонкин. – С каким?

– А мне откуль знать, с каким? – Жаров пожал плечами. – Знаю только, что летчик.

– Летчик? – повторил Чонкин с внезапно возникшим ревнивым чувством. – Как же это летчик?

С тех пор как Чонкин расстался с Нюрой, прошло без малого четыре года. Сперва страдал он очень сильно, потом боль постепенно утихла. Последнее время он о Нюре почти что не вспоминал, а встретивши, может, и не узнал бы, но новость, что она оказалась ему неверна, поразила его и обидела. И теперь ему представлялось все дело так, будто сам он был безупречен в своей любви и верности, будто рассчитывал на возвращение и обещанную совместную жизнь, а она вот не дождалась, польстилась на ненадежную офицерскую любовь, продовольственный аттестат и золотые погоны.

– Ладно, – сказал он, пытаясь от возникшей темы отвлечься. – А билизоваться-то собираешься или как?

– Ну а как же. Вот гроб это сдам в ремонт, и все. Мне ротный мой на сверхсрочную предлагает остаться, но я нет. Вернуся домой, трактористом или комбайнером пойду. А ты как?

– Да кто ж знает. Вообще-то, билизовать вроде как обещались, но они ж сам знаешь, сегодня одно говорят, завтра иное. Мы б тебя, Чонкин, говорят, отпустили б, да замены, говорят, нету.

– Да ладно тебе свистеть! Нету ему замены. Сталин сказал, что у нас нету незаменимых людей.

– Кто сказал? – переспросил Чонкин.

– Сталин.

– А-а, Сталин, – уважительно повторил Чонкин, но решил все-таки возразить: – Сталин сказал, и чо? Он, спорить не буду, человек большой, двух жен имеет, а в лошадях-то чего понимает? Небось на лошаде никогда и не ездил. Щас же у нас все, кто на танке, кто на тягаче или же самолете, а лошадем управлять никто не умеет. Они думают, что на лошаде это только вожжу туды-сюды налево тянуть, а ежели, к примеру, хомут надеть да супонь затянуть, так иной даже майор или подполковник не сообразит, что к чему!

– Это да, – согласился Жаров. – Народ у нас сильно необразованный. Так-то языками болтать все умеют, а корову за рога доить норовят. Слушай, – переменял он тему, – ты в авиации служишь?

– Ну? – согласился Чонкин.

– А гидрашку достать-то можешь?

– Ясное дело, могу, – сказал Чонкин. – Выпить хочешь?

– Да не в том, – махнул рукой Жаров. Он оглянулся и, хотя никого поблизости не было, понизил голос: – Вечером, как стемнеет, приходи к мосту возле вокзала, с гидрашкой. Есть две немочки. Из себя видные, в очках, по-нашему ни бум-бум, разговаривать не надо. Водку жрут, как лошади. Придешь?

Чонкин задумался. Предложение было заманчивое, но не так-то просто выполнимое.

– Вечером? – размыслил он вслух неуверенно. – Эх да, вечером, оно-то да... Да вот только старшина, зараза, как бы, это вот, не застукал. Старшина у нас знаешь какой – не человек, а собака. Даже не собака, а не знаю кто, причем нисколько не воевавши. Но ходит, зырит, вынюхивает, самоволку хочет не допустить. А немки-то толстые?

– Как бочки, – пообещал Жаров. – Сиськи во, а сзади – полный парад, Красная площадь.

– Да, – опять задумался Чонкин.

Картина, нарисованная Жаровым, соблазняла, но страшновато было. Страшновато, но соблазнительно.

– Эх, ладно! – махнул он рукой. – Жди, прибуду.

Пытливый читатель не может не задаться вопросом, а где же Чонкин пропал все это время? Как, приговоренный в начале войны к смертной казни и бежавший из тюрьмы, оказался он вновь в летной части? Причем не в какой-нибудь летной части, а в той, что была под командованием все того же Опаликова, встретившего войну подполковником, а закончившего полковником и ко всем орденам своим многочисленным прибавившим золотую геройскую звездочку?

Если рассказывать обо всем пути, пройденном нашим героем по дорогам и тропам войны, обо всех его приключениях, то слишком длинным получится наш рассказ. Поэтому пройдемся пунктиром.

Оставшись вдвоем в районе Долгова, Чонкин и Клим Свинцов конец осени и начало зимы провели в лесу, перемещаясь по нему бесцельно, словно медведи-шатуны, и за зверей принимаемые местными жителями, заходившими в лес для заготовления грибов, ягод или дров. Среди деревенского населения в данной округе ходили в то время слухи о том, что с началом войны в местных лесах появились партизаны, а также в значительных количествах медведи, лешие и обезьяны. Да они, оборванные, голодные и холодные, и в самом деле стали похожи на каких-то зверей. Чонкина узнать еще было можно, у него бороденка отросла татарская, редкая, не скрывавшая основных черт лица, а вот Свинцов до бровей зарос рыжей и грязной шерстью, да такой густой, что прежде, чем разглядеть что-нибудь, шерсть эту на глазах раздвигал руками. Некоторые люди принимали наших беглецов не за зверей, а за диких партизан, хотя им не до партизанства было, а только бы не попасть при этом ни к нашим, ни к немцам и как-нибудь прокормиться. Другие на их месте с голоду бы околели, но они были люди, выросшие в природе и бывшие частью ее, к тому же имели при себе винтовку с патронами. Как-то все же питались. То птичку подстрелят, то гриб сорвут, то бруснику соберут. Костер развести – огонь древним способом, с помощью кресала и камня добывали. Нашли где-то каску немецкую еще с Первой мировой войны, ржавую и с дыркой от пули. Дырку куском портянки заткнули, превратили в кастрюлю. Тряпка, намкнув, не прогорала. Варили грибной суп из опят (их в тот год видимо-невидимо уродилось), компот и травяные

отвары. Спали, не снимая шинелей, на сырой земле. Пока жить было можно, но как-то ночью подморозило, а утром глянули: опята, все разом, почернели и сникли. Кочки покрылись тонкой ледяной коркой, брусника под ней выглядела, как под стеклом в музее. В музее Чонкин бывал лишь однажды, когда комендантскую роту возили в город и там показывали как раз под стеклом клыки вымерших животных, наконечники копий и украшения тогдашних людей. И там же, он запомнил, были такие бусинки, вроде как раз брусники, и так же лежали под стеклом, поблескивая. Зима наступала, возникала задача как-нибудь ее пережить. Хотели вырыть землянку, но инструмента, более подходящего, чем штык, не было. Однако судьба оказалась к ним более или менее благосклонной. Однажды, собирая хворост для костра, Чонкин и Свинцов приблизились к густому кустарнику, как вдруг там зашевелилось и вылезло наружу что-то мохнатое.

– Видмедь! – воскликнул Свинцов и, отшатнувшись, вскинул винтовку.

Но это был не медведь, а престранное существо, покрытое длинной шерстью, с проплешиной посреди хребта. Выскочив из кустов, оно бросилось прочь. Свинцов, сам превратившийся за это время в зверя, ринулся догонять. Существо достигло ближайшего дерева и, ловко перебирая всеми четырьмя лапами, вмиг взлетело к самой верхушке. Оттуда с беспокойством следило за подошедшими.

Свинцов, поставив винтовку к ноге, спросил Чонкина:

– Чо за животный, не ведаешь?

– Не знаю, – удивленно сказал Чонкин. – Похоже, что обезьян.

– Ты чо? – возмутился Свинцов. – Ты обезьянов видал когда?

– Видал, – сказал Чонкин. – Нас прошлый год в зверинец водили. Сперва в музей, а потом в зверинец. И там один был точно, как этот, и с голой жопой.

– Тьфу! – сплюнул Свинцов. – И откуда ж они здесь берутся? У нас в тайге таковых не имеется. Видмеди, волки, белки и соболя есть, а обезьяны не водятся.

– Так откуда ж им тама быть, – Чонкин вспомнил утверждения Гладышева, – когда они все в человеков превращались?

– Как это? – не поверил Свинцов. – Оборотни, что ли?

– Навроде того, – подтвердил Чонкин.

– Это бывает, – согласился Свинцов. – У нас в деревне тоже Варька косая кошкой по ночам оборачивалась. У коров чужих молоко отсасывала. А брат мой Серега ее в хлеву ночью пымал да лапу ей топором оттяпал...

Говоря это, Свинцов не выпускал из виду того, что сидел на дереве, прищуривал то один глаз, то другой, и тот в ответ на него так же щурился.

– И чего с лапой сделал? – спросил Чонкин.

– А ничего. Завернул ее в тряпку, поклял на печку, а утром гля, а там не кошkinsкая лапа, а человека рука...

– Ну, и далее? – потребовал продолжения Чонкин.

– Далее более, – сказал Свинцов. – А ты как думаешь, обезьянов едят?

– А кто их знает, – задумался Чонкин. – Мне не доводилось, а вообще-то чего ж, они же ж тоже из мяса и костей состоят.

– И то, – рассудил Свинцов, – покуда человеком не обернулся, такой же животный, как, допустим, свинья. Так что сперва шерсть на костре опалим...

– Дурак, что ли? – спросил Чонкин.

– А чо?

– Через плечо, – сказал Чонкин. – Зачем шерсть-то палить? Из шкуры рукавицы сделаем, шапки пошьем.

– Тоже дело, – согласился Свинцов, потерши остывшее ухо. – А ты сашлык лопал когда или нет?

– А чо это?

– Чо-чо, – передразнил Свинцов. – Скуснятина, вот чо. На куски мясо порубишь, на прут насадишь и в огонь и так поворачиваешь, чтоб со всех сторон равномерно. Это ж такое вот это у-у! – восполнил он нехватку слов междометием. И, подняв винтовку, Свинцов потянул рукоять затвора.

– Не стреляйте! – закричала обезьяна человеческим голосом. – Не стреляйте, я сдаюсь.

– Гля! – удивился Чонкин. – Уже превратившись.

– Да, – Свинцов разочарованно опустил ствол. – Я ведь, знаешь, человека убить могу, но человеческое мясо кушать не буду. Стошнит. Ладно, – приказал обезьяне, – вались на землю. Да не боись. Не побегешь – не убьем.

Обезьяна проворно спустилась и стала перед Чонкиным и Свинцовым почти на две ноги, только слегка опираясь передними конечностями о поваленное дерево.

Хотя была она покрыта шерстью с ног до головы, Свинцов разглядел в зарослях признак мужского пола и спросил спустившегося строго:

– Кто такой и какой будешь нации?

Спустившийся молчал и дрожал мелко, как овца перед закланием.

– Говори, кто ты есть! – зарычал Свинцов и щелкнул затвором.

– Не стреляйте! – снова взмолился спустившийся и стал часто кивать головой. – Русский я. Православный, – добавил он, видимо, неуверенный, что последняя характеристика будет ему на пользу.

– Врешь! – не поверил Свинцов. – Обезьянов русских не бывает. Или ты не обезьян?

– Э! – толкнул Свинцова Чонкин. – А не леший ли он?

– Ха! – поразился такой мысли Свинцов. – Отвечай, кто ты?

– Я сам не знаю, – заплакало существо. – Был человек. А теперь, может, и леший.

– В лесу живешь? – продолжал допрос Свинцов.

– В лесу.

– А пожрать чего найдется?

– Для вас, – сказал леший, – для вас непременно найдется.

– Ну, веди нас к себе. Только без колдовства и не думай убежать. Помни, пуля бежит шибче.

Пошли напролом, через чащу. Леший бежал впереди, помогая себе передними конечностями. Свинцов и Чонкин за ним не поспевали, но он останавливался, поджидая, и опять бежал впереди, как собака, ведущая охотника по следу.

Спустились в овраг. По камушкам одолели заплесневевший ручей. Пересекли небольшую поляну, перешагнули через ствол большой, лежащей как труп сосны. За ней были сросшиеся кусты. У кустов леший заколебался, а Свинцов на всякий случай взялся за рукоять затвора.

– Пришли, – сказал леший устало.

– Куда же пришли-то?

– А вот сюда, – сказал леший и юркнул в кусты.

Свинцов кинулся за ним, рассчитывая в случае чего тут же его придушить, и невольно вскрикнул:

– Батюшки! Берлога!

Леший, сверкнув голым задом, уже улезал в берлогу на карачках. Свинцов полез следом. За ним Чонкин. Берлога оказалась длинным, полого спускавшимся и заворачивающим вправо лазом. Они проползли по нему несколько метров, и уже свету сзади не было видно, а под коленями ощутилась твердая почва.

– Не удивляйтесь, – услышали они голос лешего, после чего чиркнула спичка и с шипением загорелась, а от нее засветилась и керосиновая лампа.

– Ух ты! – ухнул Чонкин, а Свинцов от себя добавил что-то по матушке.

Дальше позли со светом.

За узкой горловиной начинался постепенно раздвигавшийся вширь и ввысь коридор, пол его был устлан соломой, коридор оканчивался чем-то вроде круглой комнаты, неплохо убранной, с ковром на полу, с матрацем и двумя стопками книг, но что больше всего удивило гостей, так это приставленный к стене портрет бородатого человека в старой форме с эполетами и аксельбантами.

– Это кто ж такой? – почтительно спросил Свинцов.

– А это... – замялся хозяин берлоги, – это, как вам сказать... Это Его Императорское Величество Государь Император Николай Второй.

– Ого! – невольно выдохнул Чонкин.

– А вы сами-то, извиняюсь, кто же то будете? – перешел на «вы» оробевший Свинцов.

– А я, – сказал леший, – Вадим Анатольевич Голицын.

И рассказал гостям свою историю. Вадим Анатольевич, в отличие от нашего героя, был настоящим князем Голицыным и помещиком в здешних местах. Потом служил в свите Его Величества. Вместе с царем был в Екатеринбурге, но бежал как раз за день до расстрела царской фамилии. Добрался до родных мест и поселился в лесу, ожидая конца большевистской власти. Ждать, однако, пришлось слишком долго. Со временем полностью оборвался, одичал, зарос шерстью. Вел дикий образ жизни. Питался грибами, ягодами, кореньями. Голыми руками ловил зайцев и птиц и в конце концов так озверел, что настоящие лесные звери его боялись. Он жил под

открытым небом, пока не набрел на берлогу и не выгнал из нее спавшего в ней медведя.

Медведь после этого стал шатуном, бродил по лесу, выходил на дорогу, нападал на лошадей и людей, но захватившего берлогу боялся.

Живя в берлоге, Голицын стал постепенно возвращаться к человеческой жизни. По ночам прокрадывался к деревням, воровал кур, яйца, муку и что под руку попадет. В конце концов появились у него керосиновая лампа, матрац, набитый соломой, лопата, топор, ножовка и прочие мелкие инструменты, с помощью которых он берлогу углубил, расширил и превратил в сравнительно комфортабельное подземное жилище. А уже накануне войны у него даже собственная библиотека случайно образовалась. Ехала по дороге передвижная изба-читальня, шофер был пьяный, разбил машину и сам разбился. Когда машину обнаружили, она была уже почти полностью опустошена. Библиотека, которую вез погибший шофер, принадлежала когда-то Голицыну, к нему она частично и вернулась. В той части, которая теперь ему досталась, были романы Достоевского и Данилевского, детское издание «Записок охотника», подарочное – «Евгения Онегина», три из пяти томов Гоголя, половина марксовского собрания Чехова, книга «Путешествие по Енисею», мифы Древнего Египта и Древней Греции и шотландские баллады в переводе Жуковского. А кроме этих, в берлоге оказались «Краткий курс истории ВКП(б)», книга Станиславского «Моя жизнь в искусстве» и комплект блокнотов агитатора за вторую половину сорокового года. Но самым большим достоянием был вот этот литографический портрет.

Поселились в берлоге и жили. С большим комфортом. Где-то кто-то сражался за что-то, а Чонкин, Свинцов и князь Голицын отсиживались в медвежьей берлоге.

Удача идет к удаче, как деньги к деньгам. Как с жильем устроились, так и на охоте пришло везение. Кабана подстрелили и двух зайцев. Жарили мясо на костре, пили чай из собранных лучшим различных трав, а вечерами слушали своего хозяина, который им пересказывал удивительные романы из старинных времен. Чонкин порою думал: еще б сюда Ньюру, так можно бы жить всю жизнь.

Так проболтался Чонкин в лесу неопределенное время и однажды за сбором хвороста был схвачен партизанами. Попал в большую группу красноармейцев, вышедших из окружения, и поэтому, избежав отдельного разбирательства, в числе других был зачислен в отряд, которым командовала уже известная нашим читателям Аглая Степановна Ревкина, вдова Андрея Ревкина, бывшего первого секретаря Долговского райкома ВКП(б). Она взяла Чонкина к себе кем-то вроде ординарца. Немцы в Долговском районе продержались недолго, поэтому отряд под командованием Аглаи отличиться в боях не успел. Он успел только ограбить несколько соседних колхозов (как это делать, Аглая помнила со времен продразверстки) и заложить мину под деревянный мост через речку Тёпу под Долгом. Мина была замедленного действия, поэтому взорвалась уже после освобождения района от оккупантов, когда пастух Иннокентий вывел на мост стадо коров. Две коровы погибли, одной оторвало хвост, а сам Кеша слегка оглох, вот и все. Пока отряд готовился к решающим битвам, Чонкин ухаживал за Аглаей и за ее лошадью, носил воду из ближайшего ручья, колот дрова, топил печь, готовил еду, иногда подметал земляной пол, и как-то так получилось, что в боях ему участвовать практически не пришлось.

Землянка у Аглаи была просторная и делилась на две половины. В дальней половине жила она сама. У нее были простой сосновый стол, три табуретки, топчан с набитым соломой матрацем, в углу раковина и жестяной таз с двумя ручками. Чонкин располагался в передней, отделенной от дальней брезентовым пологом, и спал просто на брошенной в угол охапке соломы. Однажды среди ночи он проснулся от яркого света и увидел перед собой Аглаю. Она стояла над ним в полотняной ночной рубашке с распущенными волосами, с керосиновой лампой в правой руке.

– Встань и зайди! – приказала она и ушла к себе...

Он послушно встал, стряхнул с себя солому, вошел. Аглая уже лежала на топчане под одеялом, не закрывшем голое плечо. Лампа стояла у ее изголовья, на табуретке.

Аглая приподнялась на локте и приказала:

– Подойди ближе! Еще ближе!

Он стал перед ее кроватью, она долго его разглядывала, а потом последовало новое распоряжение:

– Раздевайся!

Он не понял:

– Чего?

– Не понял? Сыми гимнастерку! – Чонкин, недоумевающая, повинувался. – Штаны! – Чонкин и тут не посмел перечить. – Фу, кальсоны вонючие. Скидавай и их! – Он застеснялся. – Ну, я тебе что сказала?

Осмотрев его с ног до головы, велела лечь рядом. Обняла, стала целовать, ласкать, рукам дала волю.

Он сначала был в шоке и даже тут не сразу решился понять, чего она хочет. А когда понял, испугался, что не сможет исполнить желание, и показалось вначале, что правда не сможет. Но он был молодой, с достаточным запасом тестостерона, в дополнительно стимулирующих средствах пока не нуждался, и, кстати, вспомнилась Нюра, которая, даже воображенная, ему немедленно помогла. Так что все получилось в лучшем виде, и не раз.

Рано утром Аглая, уже одетая, его разбудила и так же, как вчера, приказала совершить обратные действия: то есть одеться. Он еще только наматывал портянки, когда она сунула ему под нос «вальтер» и предупредила:

– Учти, Ванек, проболтаешься – застрелю.

Так Чонкину была вменена в обязанность дополнительная нагрузка, которую он исполнял исправно, охотно и даже не без удовольствия, однако той самозабвенности, как с Нюрой, ни разу не испытал. Он, конечно, по возможностям своего небольшого ума не мог анализировать свои чувства, а если бы мог, то имел шанс понять, что близость с любой женщиной может стать причиной некоторой приятности, но только любовь поднимает эту близость до уровня высшего блаженства.

Попав в отряд, Чонкин утратил всякую связь со своим другом Климом Свинцовым и хозяином медвежьей берлоги князем Голицыным. Голицын, как выяснилось впоследствии после исчезновения Чонкина, сам вышел из лесу и сдался немцам, которые, отступая, взяли его с собой, чтобы передать Берлинскому зоопарку.

Там он был помещен в отдельную клетку как доказательство того, что представители низших рас даже самого высокого происхождения еще настолько не устоялись в процессе эволюционного развития, что при определенных условиях могут превращаться обратно в обезьян. Что касается Свинцова, то, кажется, и в его случае эволюция сделала шаг назад. В Долговском районе и даже за его пределами сохранилась легенда, что в местных лесах люди еще много лет во время войны и после встречали снежного человека и следы его находили, похожие на отпечатки человеческих ног невероятно большого размера.

Аэродром, при котором служил Чонкин, располагался на левом берегу реки Эльбы и назывался Биркендорф по имени городка, к которому он примыкал. А на другом берегу, у городка Айхендорф, был тоже аэродром, но не наш, а американский. Аэродромы были похожи друг на друга: с такими же временными постройками, командными пунктами, каптерками и складами ГСМ. Советские штурмовики «Ил-10» отличались от американских истребителей «Аэрокобра» на первый взгляд лишь тем, что у первых третье колесо было в хвосте, а у вторых в носовой части. Ну и звезды у тех и других были разные. Хотя советские и американцы считались еще союзниками, но держались по отношению друг к другу настороженно.

Настороженность эта была продуктом политики, которую проводило начальство. Однако военные низших званий относились друг к другу с дружелюбным любопытством.

На аэродром Чонкин обычно ездил по дороге, шедшей вдоль берега. Он с интересом рассматривал американские самолеты и людей, которые у этих самолетов вертелись. Иной раз поездка его совпадала с передвижением на той стороне, тоже на двух лошадях, американского солдата, которого на нашем аэродроме все знали и говорили: «Вон американский Чонкин поехал!» Американец был бы и правда очень похож на Чонкина, если бы не был черным. Что, впрочем, нашему Чонкину, лишенному расистских предвзятостей, не мешало радостно приветствовать своего коллегу взмахами руки и выкриками: «Эй, Джон, здорово!» На что предполагаемый Джон вопил ответно: «Хай, Иван! Хау ар ю?» И показывал, какие у него белые зубы. Чонкин думал, что Джон действительно знает его по имени, но тот так к нему обращался потому, что всех русских звал Иванами. И Чонкин, в свою очередь, называл того Джоном, не зная других американских имен. И попадал в точку, потому что того черного Чонкина звали и правда Джоном. Когда их пути совпадали на достаточном расстоянии, переключки Ивана и Джона не ограничивались одиночными фразами. Они комментировали состояние погоды, проявляли интерес к личной жизни друг друга, говорили – каждый – на своем языке, и каждый был уверен, что понимает своего собеседника.

Так и сейчас. Чонкин сказал, что погода сегодня отличная, и если бы у него была возможность позагорать, он очень скоро стал бы таким же черным, как Джон. Джон спросил Чонкина, чем он кормит своих лошадей, овсом или сеном? Чонкин показал ему пятилитровый алюминиевый чайник и сказал, что едет за гидросмесью. Джон ответил, что его лошади чай не пьют, но зато он каждый день угощает их шоколадом. Чонкин сообщил, что гидросмесь ему нужна для соблазнения немецких девушек, к которым он сегодня пойдет, а Джон возразил, что в штате Южная Каролина природа гораздо живописнее здешней. Так поговорив, они свернули, Иван – налево, а Джон – направо; Чонкин направил своих лошадей в сторону аэродромной каптерки, а куда покати́л Джон, мы не знаем, да нам это и неинтересно.

Гидросмесью, гидрашкой, или «ликером шасси» (с ударением на первом слогe), авиаторы называли амортизационную жидкость для тогдашних поршневых самолетов: смесь глицерина (70 %), спирта (10 %) и воды (20 %). В более поздние времена, отмеченные вершинными достижениями технической мысли и переходом авиации на реактивную тягу, качество смеси заметно улучшилось и стало более приемлемым для человеческого желудка: 60 % глицерина, 40 % спирта и никакой воды. Обычно хранилась эта белесая полупрозрачная жидкость в двухсотлитровых железных бочках возле аэродромных каптерок.

Каптерка, к которой приблизился Чонкин, помещалась в деревянном вагончике на санных полозьях. Старший сержант Константин Кисель, в старой майке с дыркой над левым соском и такой же под левой лопаткой (как будто его насквозь прострелили), сидел перед вагончиком в тени сооруженного им самим тента из парусины от самолетного чехла. Один край парусины был прибит гвоздями к стене вагончика, а другой распялен на двух заколоченных в землю шестах. Сиденьем служило сержанту старое и приспособленное к наземному употреблению самолетное кресло с выемкой для парашюта, заполненной тряпками, а стол был сляпан из четырех снарядных ящиков и положенной на них двери с уголками, обитыми бронзой и с тоже бронзовой ручкой в виде собачьей головы, которую до сих пор почему-то не открутили.

Парусина была худая, со многими дырками, солнце, просочившись сквозь них, сыпалось на рано полысевшую голову

Киселя множественными «зайчиками», отчего он пятнистой лысиной частично напоминал леопарда. Имея уйму свободного времени, Кисель разложил перед собою две трофейных тетради и из одной в другую, кусая ногти левой руки, переписывал печатными буквами роман в стихах «Евгений Онегин» неизвестного автора, который себя так представил читателю:

Нет, я не Пушкин, я другой,
Еще неведомый избранник,
По штатной должности механик,
Но с поэтической душой.
Хотя моих произведений
Еще не выдал в свет Огиз,
Хоть не талант я и не гений,
Но все ж готовлю вам сюрприз.

Это было только вступление к роману, а сам роман начинался с неожиданного события:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Кухарке Дуне так заправил,
Что повар вытащить не мог...

Увидев в руках Чонкина пятилитровый алюминиевый чайник, Кисель не стал гадать, зачем этот чайник, и не подумал, что Чонкин явился к нему за чаем. Он даже и спрашивать не стал, чего и зачем, а потянулся вниз, вынул из-под стола короткий резиновый шланг, махнул рукой:

– Там, из второй бочки насасывай.

– Ладно, насосу, – сказал Чонкин, – но у меня к тебе, слышь, дело есть преочень важнецкое.

– Ну, говори, – разрешил Кисель.

– У меня, вишь, до войны баба была.

– До войны только? А во время войны не было?

– Да не в том, – отмахнулся Чонкин. – А в том, что с офицером живет. Я, слышь, тута, а она тама с летчиком, и надо ей, слышь, письмишко накарять, ну, что нехорошо, что как это мужик у тебя вроде как это, а ты так вот, а?

– Ну так в чем же дело? И напиши. Напиши, – решительно повторил Кисель. – Напиши: ах ты, сука позорная, я здесь кровь за родину и за Сталина проливаю, а ты, блядина, потерявши остатки стыда, с летчиками в пуху кувыркаешься, мертвые петли делаешь, в штопор вошла, бесстыдница, и выйти никак не можешь!

– Во! – обрадовался Чонкин. – Так и надо, как ты говоришь, только немного помягче. Она в пуху-то не кувыркается, потому что знакомство ведет заочное.

– Ну, тогда другое дело, тогда напиши помягче.

– Так в том-то и оно, что я... ну не мастак я. Я-то вообще буквы почти что все знаю, а так чтоб письмо написать складно, это нет. Ты мне напиши, а я тебе вот чо дам.

Он протянул Киселю зажигалку, которую на толкучке у немца за кусок мыла выменял.

Кисель повертел зажигалку в руках, удивился. Она была в виде обнаженной женской фигурки. Руки вместе сжал, ножки раздвинулись, между ними огонек вспыхнул.

– Ладно. – Кисель положил фигурку в карман. – Садись, будем писать письмо турецкому султану. Как ее зовут? Значит, пишем: здравствуйте, Нюра! Так?

– Так, – согласился Чонкин.

– Ладно. Далее: я вам пишу, чего же боле? Ну, как бы, ну что ж мне еще остается? Что я еще могу сказать? И ты в самом деле ничего сказать не можешь. Ну а далее, давай, сначала к совести ее обратимся. Нюра, как же это так, что ты променяла меня на какого-то офицера, пусть даже заочно? Которого ты и в глаза, возможно, никогда не видела и не увидишь? Я, конечно, понимаю, что у него золотые погоны и денег поболее, чем у меня, и паек получше, но это же офицер, человек ненадежный, ему лишь бы свое удовольствие справить, а того, чтобы создать крепкую советскую семью на все продолжение жизни, это у него есть только в штанах, а не в голове...

На все письмо времени было потрачено не больше часа. После чего Чонкин наполнил чайник, а старший сержант Кисель вернулся к

роману неизвестного автора о дружбе авиационного механика Евгения Онегина с мотористом Владимиром Ленским. Они работали вместе, крепко подружились...

...Казалось, и не быть раздору,
Но тут пришла в коварный час
Татьяна, мастер по приборам,
Успешно кончив тульский ШМАС...
Ефрейтор Ларина Татьяна
Была почти что без изъяна,
Решил единодушно полк,
У нас ведь знают в этом толк.
И сколько было разговоров
О ней под крыльями машин!
Блестели глазки у майоров,
Сверкали очи у старшин.
И командир полка упорно
Твердил, надеясь на успех:
Любви все возрасты покорны,
Она сильнее законов всех.

В летной столовой, куда Чонкин подвозил обычно дрова и продукты, он выпросил у шеф-повара Ситникова две банки американской свиной тушенки, пачку сухих галет и плитку шоколада. Все это было отнесено на конюшню и спрятано под сеном в закутке, где хранились лопаты, грабли, вилы и инструменты для чистки лошадей.

В казарме Чонкин договорился со своим другом, рядовым Васькой Мулякиным, что на вечерней поверке, когда переключка дойдет до буквы «Ч», тот откликнется за него. А потом, если что, положит на его койку под одеяло «куклу» – чучело, сделанное из шинели.

На ужин, ясное дело, ходили строем, с песней «Скакал казак через долину». Иногда пробовали петь «Несокрушимую и легендарную», но с «казакком через долину» шагалось веселее. После ужина Чонкин сказал старшине Глотову, что надо почистить лошадей, и ушел на конюшню. Лошадей он и вправду наспех поскреб, расчесал им гривы и даже дал по куску сахара. Одну из них звали Ромашка, а другую Семеновна, имена их Чонкин узнал от конюха Грищенко, который сам их, должно быть, и сочинил. С Чонкиным лошади вели себя послушно, но к именам сперва как-то приспособливали ухо, думали и потом только шли на зов, видно, оставаясь в сомнении. Они же были немецкие, трофейные, и в дотрофейном бытии звались как-то иначе.

Похлопав лошадей на прощанье по холке, Чонкин пошел к своему тайнику. Тушенку, галеты и шоколад засунул за пазуху, а чайник взял в руку. Завернул за конюшню, а там уж кустами пробрался к дырке в заборе и оказался за пределами части.

Смеркалось.

Городок Биркендорф остался после войны сравнительно целым.

Жители вели себя тихо, по вечерам и вовсе как вымирали, и по дороге к вокзалу Чонкин никого не встретил, кроме худого, черного как черт поджигателя уличных газовых фонарей. Фонарщик на высоком велосипеде и с факелом на длинной палке передвигался от столба к столбу по тротуару и сначала внизу откручивал краник, а потом касался факелом верхушки столба. Зажженный светильник

давал неверное, синеватое, неяркое, бесполезное пламя, обозначавшее только самое себя.

Железнодорожный мост, о котором говорил Жаров, находился сразу за небольшой часовенкой на слиянии улиц Тюльпенштрассе и Розенгассе. Начало перехода было освещено сразу двумя фонарями, стоять под которыми очень уж не хотелось, поскольку патруль мог появиться в любую минуту. Хотя появиться внезапно было ему почти невозможно, поскольку военные сапоги, да еще с подковками, топающие по мостовой, слышны далеко. Стоять, однако, Чонкину напрасно здесь не пришлось: едва он приблизился к переходу, как из-за массивной афишной тумбы, с наклеенными на нее приказами коменданта выдвинулась долговязая фигура военного человека с большим животом. Это был Жаров.

– Принес? – спросил Жаров шепотом.

– Принес, – прошептал Чонкин.

Жаров тоже пришел не пустой, у него кое-что из-за пазухи выпирало.

Долго петляли по утопающим в сумерках узким мощеным улочкам, и Чонкин удивлялся, как хорошо Жаров знает город. Пересекли какой-то совсем уже темный парк, пролезли сквозь раздвинутые прутья железной ограды и оказались у домика, примыкавшего к большому особняку с четырьмя колоннами, высоким крыльцом и парой облезлых каменных львов, мирно лежавших по бокам.

Леша постучал в закрытый ставень и подошел к двери. За дверью сначала было тихо, потом послышался шорох, и тихий женский голос спросил: «Вер ист да?»

– Машута, это я, Леха, – прильнув к замочной скважине, негромко сказал Жаров.

Дверь отворилась, и женская фигура в белом платье с короткими рукавами, слабо освещенная сбоку, появилась в проеме.

– Лекха! – сказала она радостно и повисла у Жарова на шее.

– Знакомься, Машута, – сказал Леша фигуре, когда та с него слезла. – Мой друг Ваня Чикин, летчик. Раненный в воздушном бою. Ему, вишь, снарядом башку наскрозь проломило, а он хоть бы хны. Росточка, правду сказать, небольшого, зато сама знаешь, хреновое дерево всегда в сук растет.

– Гут, гут, – Машута поцеловала Чонкина в щеку. Она сначала закрыла дверь, потом включила электрический фонарик и по длинному коридору провела гостей в дальнюю комнату, освещенную двумя керосиновыми лампами, стоявшими по углам на специальных подставках в виде человеческих фигурок с подносами. Комната была просторная, оклеенная зеленоватыми обоями с квадратными пятнами от висевших здесь когда-то картин, а теперь кем-то снятых и увезенных в неизвестность. Осталось только одно большое полотно с изображенными на нем старинным замком, прудом, парой лебедей на пруду, пухлой девушкой на берегу и косулей, высунувшей морду из кустов. Что-то похожее Чонкину приходилось видеть и раньше. В дальнем углу буквой «г» стояли две одинаковых железных кровати с шишечками и высокими подушками, а середину комнаты занимал тяжелый квадратный стол, покрытый за неимением скатерти простыней. Завитая блондинка в вязаной желтой кофточке с короткими рукавами расставляла на столе приборы, из каковых Чонкину есть еще в жизни не приходилось: фарфоровые тарелки, серебряные вилки и ножи, бокалы хрустальные.

– Здорово, Нинуха! – сказал Жаров блондинке.

– Добрый вечер! – ответила она с чужим акцентом, но на понятном Чонкину языке, чем удивила его, ведь он поверил Жарову, что немки обе по-нашему не говорят. Леша тоже ее обнял, поцеловал, пошлепал по попе. Она не смутилась и его пошлепала по тому же месту.

Чонкину же подала пухлую руку и сказала:

– Янина. Едем полька. Розумишь?

Она крепко пожала ему руку, посмотрела в глаза, что в Чонкине сразу возбудило надежды. Он вспомнил, как тот же старший сержант Кисель читал ему записи из своего альбома с толкованиями знаков, подаваемых женщиной при встрече с мужчиной: «Жмет руку – любит, крепко жмет – крепко любит, крепко жмет и смотрит в глаза – готова навсегда подарить свои ласки».

Янина оказалась бочка не бочка, а подержаться было за что. Большая грудь выпирала из-под кофточки, и задница была соблазнительных размеров. Вообще, все у нее было на месте, не считая четырех верхних передних зубов, которых на месте не было.

Она это помнила, старалась не смеяться, а если не удерживалась, прикрывала рот ладошкой.

Чонкин поставил на стол чайник и другие принесенные им припасы. Жаров тоже опростал пазуху и вывалил на стол буханку ржаного хлеба, банку сардин, кусок сала и четыре пачки американских сигарет с нарисованным на них верблюдом.

– Матка боска! – ахнула Янина и ухватилась за сигареты. Леша чиркнул трофейной зажигалкой.

– Цо ты такой блядый? – спросила она, прикуривая.

– Кто? – в свою очередь спросил Леша и подмигнул Чонкину. – Я не блядый. Это ты блядая.

– Ай! Ай! – покачала головой Янина. – Мыслешь, я не розумлю, цо по-вашему бляда, то есть курва?

– Понимаешь? – смутился Леша. – Но это ж я так, для шутки. Ты говоришь, я блядый, а я, значит, говорю, ты блядая. Для шутки, понимаешь? А не для шутки я бы не стал. Ты что! Да разве стал бы! Да никогда! Веришь мне?

– То ничего, – махнула рукой Янина. – Курва, курва и есть.

Пока Чонкин открывал немецким складным ножом консервы, Леша рюмки со стола убрал как ненужные, а бокалы стал наполнять гидрашкой.

– Видишь, – сказал он Чонкину, – живут здесь они одни. Хозяева богатые уехали, а нашим-то девкам куды бежать? Вот и остались. Так их тут однажды наши прямо во дворе целой ротой обеих насильничать начали. А я как раз патрулем был с майором Казаковым. Мы тут по улице идем, услышали какой-то шум, через забор глянули, смотрю, а они Машуту к доске привязали, под доску бревно подложили, один сержант ногой качает, а другой, ефрейтор, наяривает. А я как глянул, у меня унудре все закипело. Потому что я все понимаю, мы все за войну оголодали, на женское тело падки, но ты ж попроси по-человечески, ей тоже нужно того же, она тебе завсегда даст, не откажет, а откажет, так даст другая! Так нет, обязательно надо вот чтоб через силу. А я как увидал, как автомат сдерну, майор: ты что, ты что, пойдём отсюда, мы ничего не видели. А я его прикладом отпихнул, да как дам очередь поверх голов, тот сержант, который доску качал, схватился было за пистолет, а я ему: застрелю, говорю, сука, так он – поверишь? – и пистолет бросил, позорник, и бежал прыжками, ровно козел. Нет, я

тебе что скажу: я лично, сам видишь, не против того, чтоб туда-сюда, но можно же по-хорошему, так же ведь? А, Машута, ты как про все это думаешь?

– Гут, гут, – отозвалась Машута.

Сели за стол. Леша с Машутой напротив Чонкина, а Янина рядом по левую руку. Чонкин с опаской и недоверием смотрел на приборы и поглядывал, что будут делать хозяйки. Может, это кому покажется странным, но он в жизни ни разу не ел вилкой и не был уверен, что она для чего-то нужна. Ему вполне хватало и ложки, но и ее иной раз нормальной не было. Ложки всякие – деревянные, оловянные и алюминиевые – часто были без ручек, так что, пользуясь ими, приходилось макать пальцы в щи или в кашу. И за бокалами, которые наполнял сейчас Леша, тоже Чонкин не видел никаких преимуществ перед алюминиевой кружкой. Она крепко стоит на столе, имеет ручку, не бьется.

– Ну так что ж, значит, выпьем? – предложил Леша и поднял бокал. Машута взяла свой бокал, посмотрела его на свет, понюхала, поморщилась. – Вас ист эс?

– Не бойсь, – успокоил Леша, – не отравишься. Руссиш ликериш. Сладкий, вкусный. – Он отхлебнул, почмокал губами, показывая, как вкусно, долил до краев и поднял бокал для тоста.

– Ну, девки, будем здоровы, как коровы! Эсен, тринкен, кумсен, бумсен. Гут?

– Гут, – опять согласилась Машута. Она сказала по-немецки несколько слов Янине, и обе засмеялись в предвкушении обещанного.

Попробовав принесенный напиток, Машута поморщилась и посмотрела на Янину. Та отпила глоток и тоже отставила.

– Чего, девки, не нравится? – забеспокоился Леша.

Машута, не ответив, пошла в соседнее помещение и вернулась с зеленой шершавой бутылкой и штопором, протянула то и другое Леше:

– Мах ауф!

Перед тем как открыть, Жаров поднес бутылку к свету, стал разглядывать.

– Иван, – спросил он, – ты по-немецкому читать умеешь?

– Я? – удивился Иван.

– Ну понятно, – сказал Леша. – А я немного кумекаю. У них много букв таких же, как у нас. Вот это, видишь, «м» то же, как наше, и

«о»... Мосёл.

– Мозель, – сказала Машута.

– Ага, Мозель, – согласился Жаров. – Одна тысяча девятьсот двадцать второго года, и до сих пор не выпили.

Пока он открывал бутылку, Янина сменила бокалы. Леша разлил вино, попробовал и стал плевать.

– Надо ж какая дрянь! Девки, вы чего? Неужто это будете тринкать? У нас же сладкое, а этим только клопов морить! – Чонкину тоже вино не понравилось, решили, что мужики остаются со своим ликером, а девки, если уж у них такой вкус, пусть пьют бурду.

Выпили еще, закусили. Вилку Чонкин держал, как черенок совковой лопаты, но, помогая себе пальцем левой руки, справлялся.

Жаров, когда ему ударило в голову, решил украсить свидание беседой на общие темы.

– Вот, девки, – начал он, наливая очередную порцию, – такая она наша жизнь. Имеет много, так сказать, туды-сюды поворотов. Война прошла зверская, а для чего и за что? У нас замполит говорит, мы, говорит, ребята, не за родину-Сталина воевали, а за Россию, за свободу и за лучшую жизнь. Такую, чтоб войны больше никогда не было и чтоб люди работали, деньги зарабатывали и покупали себе чего-нибудь из вещей. Ботинки там, пальты, шапки и вообще. И чтоб мужчины и женщины друг на дружке женились и вместе жили со своими детьми, а в дальнейшем течении времени – с внуками. Когда война, так это ж ты что! Слышь, Вань, – повернулся он к Чонкину, – у Машутки-то ведь муж был, так он на фронте погибши. Машут, как его звали-то, твоего мужика?

– Ви битте? – переспросила Машута.

– Твой ман, – сказал Жаров. – Мужик твой? Как его наме? Калус?

– Клаус, – поправила Машута.

– Вот видишь, Клаус, – повторил с уважением Жаров. – Нормальный был мужик, на почте работал. На девке, вишь, на какой красотке женился. И что ему эта война, ты думаешь, нужна была? Он же не Гитлер, а Клаус. Такой же, как мы с тобой, только что немец. Так его ж тоже погнали за родину, за Гитлера, цурюк и хенде хох. Видишь, и бабу вдовой оставил. Ты думаешь, он хотел, чтоб его баба осталась вдовой и потом с такими валенками, как мы, сношалась половым способом? Думаешь, она пошла бы с русским под одеялку? Нет, не

пошла бы. Потому что мы с тобой, Ваня, люди неотесанные, и язык у нас простой, а у них всё гутен морген, данке шён, а пьют, сам видишь, чего, и даже не морщатся.

Чонкин следил за мыслью Жарова не очень добросовестно, потому что организм влек его к другим действиям и он не знал, зачем их откладывать. Он под столом протянул руку к Янине и стал прощупывать у нее коленку, прикрытую толстой суконной юбкой. Она коленку не отодвинула и руку не убрала, и он понял, что разрешено двигаться дальше. Продолжая гладить коленку, он стал подтягивать юбку кверху, кивая при этом Жарову и соглашаясь со всем, чего не улавливал. Забравшись наконец под юбку, он почувствовал, что его рука все время натывается на какие-то приспособления для поддержки чего-то, и двигался дальше, удивляясь сложности, громоздкости и запутанности этих устройств. Он едва начал познавать конструктивные особенности, как Янина сильным движением вырвала его руку.

– Ты чего? – спросил он обиженно и удивленно.

– Не тшеба спешить, – сказала Янина и потянулась за сигаретой. Затянувшись, пустила ему прямо в лицо клуб дыма. Он, не ожидавши, закашлялся. Янина засмеялась.

– А почему у тебя зубов нету? – спросил Чонкин.

– Кобыла выпердовала, – пошутила она и, затушив сигарету, потянулась к нему. Потом он даже не мог вспомнить, как чего было. Помнил только, что она целовала его взасос и втягивала его язык сквозь дырку между зубами, сама втокнула его руку к себе за пазуху. Потом они в обнимку катались по полу, и он рвал на ней подвязки, а она визжала, смеялась и не сильно, не сердито била его по рукам. Они закатились под стол, и тут удалось ему наконец подмять ее под себя и он уже на себе торопливо выворачивал пуговицы...

– Почекай, – сказала ему Янина. – Я скоро пшиду. Минуточку, подожди.

Она выскользнула из-под него и растворилась во тьме, а он повернулся на спину, руки под голову заложил и замер в ожидании. Сперва за своим собственным дыханием не слышал он ничего, потом различил скрип пружин, и громкое чмокание, и сладострастные всхлипы, должно быть, Машуты, и утробное гуденье, наверное, Жарова. Чонкин возбудился и хотел встать, чтобы пойти поискать

Янину, но, сделав первое движение, почувствовал, что идти никуда не хочется. «Ладно, – подумал он, – сама придет». С этой мыслью повернулся он на бок, подложил под щеку кулак и переместился в иное пространство, в котором было теплое лето, покрытый ромашками луг и копна сена, зарывшись в которую лежали он в солдатском хэбэ и Нюра в красном шелковом сарафане. Нюра гладила его голову, целовала его глаза и тихо с улыбкой попрекала его тем, что он ее забыл и даже писем не пишет, а летчик пишет, и потому она его любила. Он стал оправдываться, что живет в берлоге, где нет ни бумаги, ни чернил, и буквы он некоторые забыл, как пишутся.

– В берлоге? – переспросила она. – Давай тогда будем спать, как медведи.

Он обнял его еще крепче и стала прижиматься к нему всем своим теплым телом, и он был близок к тому, чтобы ею овладеть, как вдруг над лугом появились вражеские самолеты, они плыли по небу совершенно беззвучно и как будто даже куда-то мимо, но он понял, что не мимо они плывут, а ищут его и Нюру, и как только найдут, так сразу обрушат на них все свои бомбы. Тем не менее его желание овладеть Нюрой совсем не прошло, он обнимал ее все крепче, но она его стала отталкивать, шепча ему в ухо, что надо вставать и бежать, потому что это ее летчик, он их нашел, и он их убьет. И тут один самолет отделился от других, вошел в пике и стал кидать в них, но не бомбы, а табуретки и стулья, которые, падая, разбивались с ужасным грохотом. Нюра схватила Ивана за плечи и стала кричать ему: «Чикин! Чикин!» Он хотел сказать ей, да какой же я Чикин, ты что, Нюра, какой же я Чикин, я же Ванька твой, Чонкин. Но она все кричала «Чикин, Чикин!», и он разлепил глаза и, разлепив, увидел склоненное над ним лицо Леша Жарова, который кричал ему:

– Чикин, атас, патрули!

– Чего? – мотал головой Чонкин, пытаюсь понять, где он, что с ним и куда делась Нюра.

Тем временем грохот продолжался, но это были не самолеты и не летящие стулья и табуретки, а кто-то колотил в дверь сапогами или, скорее, прикладами.

– Чикин! – еще раз выкрикнул в отчаянии Жаров и кинулся к окну. Он ловко справился со шпингалетами, и под ним уже трещали кусты, когда дверь, сорванная с петель, распахнулась, и военный патруль

(старший лейтенант, со скошенной прической и похожий на Гитлера, и два сержанта в касках и с карабинами) вбежал в комнату.

...Чонкин был доставлен на гарнизонную гауптвахту и там, в общей камере, где кроме него, скопилось еще человек пятнадцать, ожидал своей участи. Камера была маленькая, сырая, стены ее, как водится, были покрыты разными надписями, разборчивыми и неразборчивыми, к тому же на двух языках – на немецком и русском. Надписи, как и в незабытой Чонкиным долговской тюрьме, были разные: стихотворные, прозаические, сентиментальные, философские, пустые. Некоторые люди просто подписывались, другие обозначали места своего происхождения (Ленинград, Куйбышев, Челябинск). Одни удивляли Чонкина больше, другие меньше, но больше всего его поразила уже дважды виденная им роспись все того же Ку – или Пузыкова, начертанная опять тем же пишущим материалом и в этот раз тоже на потолке.

Пока наш герой разглядывает эту, сопровождающую его по жизни подпись, пока думает о свойствах употребленного для нее пишущего материала, перенесемся в другую географическую точку и познакомимся с другими людьми, пока не имеющими к Чонкину отношения.

Летом профессор Вович, личный врач товарища Сталина, вывозил свою семью на дачу в Малаховку, но сам там бывал крайне редко. Потому что приходилось много работать. Он рано вставал, поздно ложился и предпочитал оставаться в Москве. Чаще всего возвращался домой за полночь и, выпив стакан водки, заваливался в постель, иной раз даже не раздевшись. Но тут так получилось, что освободился он необычно рано и решил укатить к семье. Приехал на дачу, переоделся в домашнюю фланелевую пижаму и легкие кожаные тапочки, пообедал или поужинал (это как считать) и стал строить вместе с четырехлетним внуком железную дорогу. Не достроил – внука увели спать. Когда его увели, профессор подумал, что и ему неплохо вздремнуть, ушел к себе в спальню. Вышел оттуда через полтора часа с помятым лицом и всклокоченный. Сел на террасе пить чай, когда появились жившие на соседней улице патологоанатом Самуил Драппопорт и ухогорлонос Моисей Гольдман, будущие, как и сам Вович, «убийцы в белых халатах».

В те патриархальные времена люди часто запросто, как говорится, и без затей могли заглядывать друг к другу на огонек без предварительного уведомления по телефону или Интернету, тем более что у Гольдмана и Драппопорта на даче телефонов и не было, а что такое Интернет, они и вовсе не знали, несмотря на то, что были профессорами. У Вовича телефон как раз был, но в данный вечер ему никто не звонил.

Ну конечно, если друзья пришли с бутылкой, надо лезть в погреб. Лучше бы в холодильник, но холодильник тогда даже профессору Вовичу не был доступен, как Интернет. В погреб, конечно, полез не сам профессор, а его домработница Клаша из деревни Березово бывшей Орловской губернии. Клаша подняла наверх кусок сала, банку грибов, миску соленых огурчиков, кое-что еще, началась обыкновенная русская пьянка, свойственная всем русским людям, включая евреев. Пили, разговаривали. О работе не говорили, политических тем избегали, рассказывали бытовые анекдоты, спорили о тогда еще запрещенной науке генетике, о которой они, впрочем, уже кое-что слышали.

Драппопорт сказал, что он прочел в одном американском журнале, который неизвестно как к нему попал, статью об этой якобы науке, которая нашей наукой никак признана не была. Автор статьи уверял, что наследственность любого живого организма от стручкового гороха до человека предопределяется генами, из которых состоит этот организм. А в каждом гене есть определенный набор хромосом. Когда человечество научится управлять этим механизмом, тогда на земле произойдет даже невообразимо сказать, что именно. А именно: можно будет еще до рождения человека, путем направленного улучшения его генетики, наделять его самыми лучшими человеческими качествами. Делать его сильным, выносливым, с большим интеллектом и разными талантами. Возможным станет и продлевать жизнь человека до бесконечности, выращивая запасные органы, то есть сердце, печень, руки, ноги, глаза и уши. Потом пришел поэт Антокольский и читал им поэму о сыне, а вскоре пришла Маргарита Алигер и читала им поэму о Зое Космодемьянской. То есть вечер прошел хорошо, интересно, насыщенно.

Гости разошлись после полуночи, а профессор еще поработал в своем кабинете и лег спать после часу ночи. А уже около двух вдруг в дверь стали громко стучать. Профессор подумал самое худшее и почти не ошибся. Выбежав в трусах в прихожую, он застал там высокого военного (его впустила Клаша) при полной форме и в фуражке с синим околышем. Военный приложил руку к фуражке, вежливо осведомился, имеет ли честь видеть лично профессора Вовича, после чего попросил профессора одеться и проследовать вместе с ним к машине. Профессору стало страшно, он побледнел и вспотел одновременно, и Клаша рядом с ним тоже стояла бледная, даже не замечая, что вышла к незнакомому мужчине в одной рубашке. Военный продолжал держаться очень вежливого тона и на вопрос, куда и зачем они поедут, отвечал, что по дороге расскажет. Профессор спросил, что из вещей он должен взять с собой, на что военный улыбнулся и сказал: ничего, кроме паспорта.

Этот ответ профессора ободрил, он слышал, что если уводят Туда, то непременно предлагают идти с вещами. Понять переживания профессора можно, но, забегая вперед, сразу скажем, что они были преждевременны, пока ничто профессору не грозило. Тем не менее он, конечно, трясся от страха, когда его в трофейном «Опеле» везли в

Москву и по Москве. Привезли, однако, не на Лубянку, как он ожидал, а к ресторану «Арагви». Военный предупредительно открыл дверцу и подал профессору руку, помогая выйти из машины. Потом проводил в ресторан. Прошли мимо главного зала, поднялись на второй этаж и оказались в небольшой комнате, где в загадочной полутьме сидел лично Лаврентий Павлович Берия в темном костюме с заткнутой за воротник салфеткой.

– Вот, товарищ маршал, привел, – доложил сопровождавший Вовича военный.

– Садитесь, профессор, – сказал Берия, не здороваясь, но никакой враждебности не проявляя. – Выпить, закусить хотите? Нет? Поужинали? Не в моих правилах заставлять. Так, профессор, начнем сразу. У меня к вам разговор очень серьезный и, как говорят, сугубо конфиденциальный. Если о нем кто-нибудь узнает... вы сами понимаете. Больше предупреждать не буду. Я вас пригласил сюда, потому что меня очень волнует здоровье вашего пациента. Я человек, как вы понимаете, не сентиментальный, но последнее время вижу, что товарищ Сталин выглядит усталым, он бледен, много пьет, мало ест, при ходьбе волочит левую ногу, и не только я, но все, близкие к нему люди, замечают, что его слишком часто клонит ко сну. Иногда даже на очень важных заседаниях он засыпает, а вчера спал на просмотре «Лебединого озера». Как вы думаете, что с ним? Может быть, он нуждается в срочном лечении, может быть, даже в госпитализации?

Профессор Вович заволновался. Помня клятву Гиппократу, он хотел было заикнуться насчет врачебной тайны, но, глядя на собеседника, понял, что в данном случае о Гиппократе лучше забыть. Тем не менее он попытался уклониться от прямого ответа.

– Мне, Лаврентий Павлович, трудно ответить на ваши вопросы, потому что товарищ Сталин – пациент очень непростой.

– Было бы странно, если бы он был простым! – усмехнулся Берия.

– Да, конечно, – согласился профессор. – Но если вы мне позволите говорить прямо...

– Только прямо и говорите.

– Тогда я вам скажу так. Товарищ Сталин привык очень много работать. Он сам говорит, что работает, как лошадь. Он привык переносить нечеловеческие нагрузки. Особенно во время войны. Но тогда его поддерживало сознание огромной ответственности. Оно

давало ему дополнительные силы. Теперь же, когда война кончилась, когда смертельная опасность для всей страны миновала, организм товарища Сталина невольно расслабился и не способен держать прежний груз, а сам товарищ Сталин этого, как мне кажется, не осознает и работает в прежнем, уже непосильном для него режиме. При этом, извините, я вынужден заметить, что товарищ Сталин ведет нездоровый, разрушительный для него образ жизни. Работает по ночам, много пьет, курит, употребляет тяжелую пищу.

– И как вы думаете, надолго ли его еще хватит?

– А? – переспросил Вович и запнулся, не зная, что сказать. Хотя он был материалистом и профессором медицины и в том, что все люди смертны, не сомневался, но как советский человек он не мог себе представить, что Сталин тоже, как все, умрет.

– Извините, – сказал он растерянно, – я не могу так прямо ответить на ваш вопрос.

– Почему?

– Потому что о здоровье товарища Сталина я могу судить только по косвенным признакам: плохо выглядит, мало ест, легко утомляется. Но для того, чтобы вынести квалифицированное заключение, я должен подвергнуть больного полному обследованию.

– Ну так обследуйте! – вскрикнул Берия, как показалось профессору, почти истерично.

– Не могу, – сказал Вович. – Как я могу, если товарищ Сталин отказывается даже сделать флюорографию и сдать на анализ кровь, кал и мочу?

– Да, задача! – Берия задумался. – Ну для нас, разведчиков, неразрешимых задач не бывает. Кал и мочу товарища Сталина мы вам добудем. Но вот кровь...

– Кровь мне тоже нужна. Из вены. Или хотя бы из пальца.

– Ах, хотя бы из пальца! – вдруг повеселел маршал. – Доктору нужна кровь из пальца. А из жопы не подойдет?

Профессор совсем растерялся. Он, повторим, был советским человеком и хорошо знал, что сочетание слов «Сталин» и «жопа» шокирующе несовместимо и легко тянет на 58-ю статью Уголовного кодекса. Он стал заикаться, исторгать из себя какие-то неопределенные междометия, а Берия и вовсе развеселился и, похлопав профессора по плечу, сказал:

– Не бойся, профессор, здесь все свои. Ты же знаешь, у старика геморрой и бывают обильные кровотечения.

На другой день после этого разговора в конструкторское бюро знаменитого самолетостроителя Андрея Николаевича Туполева поступил срочный и совершенно секретный заказ наркомата госбезопасности. Необходимо было в кратчайший срок разработать для нужд советской разведки специальное устройство, которое, будучи тайно вмонтировано в унитаз, могло брать пробы проходящих через него образцов человеческих выделений для последующей доставки их в специальную лабораторию. Услышав, на что МГБ собирается отвлечь его коллектив, Андрей Николаевич громко и при свидетелях матерился. Кричал, что он конструктор самолетов, а не, как он выразился, говноприемников. Что он и все его конструкторское бюро без выходных и отпусков работают над созданием крайне необходимого Советскому Союзу стратегического бомбардировщика «Ту-4», советской летающей крепости, и переключаться на всякую чепуху он не намерен. Но ему позвонил лично Лаврентий Павлович и поинтересовался, не забыл ли недавний зэка Туполев вкус тюремной баланды. Туполев, конечно, не забыл и добавки просить не стал.

Сразу сообщим читателю, что коллектив, возглавляемый Героем Социалистического Труда Туполевым, блестяще справился с поставленной перед ним задачей. Необходимое устройство было разработано и успешно прошло испытания. Весь состав туполевского ОКБ и сам Туполев опробовали его и сдали в эксплуатацию. И через короткое время профессору Вовичу фельдъегерь с пистолетом на боку принес цинковую коробочку, вроде шкатулки, в которой, герметично упакованные, лежали три пробирки. Вович, дрожа от нетерпения, все это распечатал, понес пробирки в лабораторию и сам лично, не доверяясь никаким ассистентам и лаборантам, провел нужные анализы. Сам размазывал анализируемую субстанцию по стеклу, сам капал на нее реактивами, сам прикинул к микроскопу. Состав мочи и кала его несколько удивили, но, когда дело дошло до крови, он не поверил своим глазам, а когда поверил, то, потрясенный, стал крутить диск телефона. До каких-то второстепенных людей дозвонился и потребовал соединить его с первостепенным, а у первостепенного

потребовал немедленной аудиенции, приехал к нему прямо на Лубянку, бросил на стол записанный на бумагу анализ и сказал:

– Стыдно, Лаврентий Павлович, над пожилым человеком шутки такие шутить.

Лаврентий Павлович нахмурился:

– Что такое? Кому вы это говорите? Вы соображаете, где вы находитесь?

– Да, соображаю, – с вызовом ответил профессор. – Я знаю, вы можете меня арестовать или даже расстрелять, но такие шутки я над собой шутить не позволю.

– Я вас, конечно, могу расстрелять, – любезно улыбнулся Лаврентий Павлович, – но мне нужно хотя бы приблизительно знать, за что. В чем дело? Чем вы так взволнованы?

– А вы не знаете?

– Я не знаю.

– Если вы не знаете, значит, знают ваши подчиненные, которые сотворили эту дурацкую шутку. То, что вы дали мне для анализа, это не кровь товарища Сталина. Это вообще кровь не человека, а какого-то животного.

– Животного? – переспросил Лаврентий Павлович. – Какого?

– Не знаю, я не ветеринар. Скорее всего, лошади.

– Угу, – задумался Лаврентий Павлович и стал грызть ноги. – Лошади? Вы в этом уверены?

– Что лошади – нет, а что не человека – на сто процентов.

– Хорошо. Идите домой и спите спокойно. Но если вы надо мной подшутили или даже ошиблись, вы об этом очень сильно пожалеете.

После разговора с профессором Лаврентий Павлович вызвал к себе и допросил агента, который добывал материал для анализа. Тот божился, что все сделал точно по данным ему указаниям и представленный для анализа материал был получен в результате отправления товарищем Сталиным большой естественной надобности.

Берия приказал взять вторую пробу и, без указания на источник, отправил ее в ветеринарную академию. Тамошние специалисты, проведя тщательный анализ, были крайне удивлены и сообщили, что кровь по своему составу похожа на лошадиную, но содержит компоненты, которых у известных пород лошадей доньше не наблюдалось.

Лаврентий Павлович сильно задумался. Но потом кое-что вспомнил и велел доставить ему некоторые труды биолога и путешественника Григория Гром-Гримэйло.

На таких людей, как Чонкин, гауптвахта устрашающего впечатления не производила. Здесь человека как будто в наказание лишали свободы, но люди, называемые солдатами, и без наказания были ее лишены. Кормежка здесь была неплохая, даже получше той, которую арестанты потребляли на условной свободе, потому что повара, отправлявшие на «губу» бачки с едой, их жалели, старались не обижать, наливали суп погуще и куски пожирнее. А общество здешнее было тоже по-своему интересное: бандиты, хулиганы и самовольщики. Все они нарушали, и некоторые неоднократно, законы, уставы, правила поведения, стало быть, отличались некоторым вольнолюбием. Тем были и интересны. Люди положительные, трудолюбивые, законопослушные вызывают в обществе уважение, скуку и сведение скул.

В камере шли те же самые разговоры, споры и предположения, что и в любой казарме в то время. Рассуждали вслух, будет ли всеобщая демобилизация или будут отпускать по годам, двадцать шестой год отпустят, а двадцать седьмой задержат, потому что родившиеся в двадцать седьмом только сейчас достигли призывного возраста и раньше служили как бы не в счет. Спорили о том, какая наступит послевоенная жизнь: распустят ли колхозы, отменят ли продовольственные карточки. Спорили о Германии, о том, какой здесь уровень жизни. Удивлялись, почему немцы оказались такими зверьми. Рассказывали об известном маршале, который на днях отправил на родину шесть вагонов трофеев, включая два автомобиля, концертный рояль, мебель для городской квартиры и дачную, и еще несколько контейнеров со старинными часами, сервизами, люстрами, канделябрами, дверными ручками, брильянтами, шубами, шерстяными отрезами и прочими в маршалском хозяйстве предметами первой необходимости. Говорили: так им, гадам (немцам), и надо, их фюреры вроде Геринга тоже из всех стран Европы натаскали немало! Гадали, что же будет с вождями Третьего рейха. Рассказывали, что Геббельс и его жена, прежде чем покончить самоубийством, отравили своих шестерых детей. О том, что Гитлера нет в живых, тогда еще знали только Сталин и военная переводчица Лена Ржевская, – поэтому в

камере спорили, жив он или не жив, что с ним сделают, если поймут, и что сделал бы с ним каждый из участников дискуссии. Планы были разные: от расстрелять или повесить до выставления Гитлера голым в зверинце, чтобы возить в клетке по городам, чтобы люди плевали в него и говорили ему всякие слова. От Гитлера естественным образом перешли к Сталину, тут споров не было, было только восхищение. Умный, гениальный, великий. Всем руководит, все знает, при этом читает книги по пятьсот страниц в день и практически никогда не спит, все думает о нас.

Соседом Чонкина по нарам оказался артиллерист Вася Углов, раньше служивший в Кремле, в охране Сталина. Туда его приняли за высокий рост, а выгнали за пьянство. Которое, впрочем, случилось всего один раз. Но в кремлевской охране одного раза оказалось достаточно. В камере, как и везде, где Васе случалось оказаться, его, разумеется, стали расспрашивать, видел ли он лично Сталина.

– Видел, и много раз, – отвечал Вася с достоинством.

– Личными своими глазами? – допытывался ефрейтор Митюшкин, попавший на «губу», как и Чонкин, за самоволку.

– Личными своими, – подтвердил Вася. – Я когда на посту у туалета стоял, он мимо меня по несколько раз в день проходил.

– А зачем?

– Чего зачем?

– Зачем он в туалет-то ходил?

– Ты чего, дурак, что ли? – удивился Вася. – Зачем люди в уборную ходят?

– Так то люди, – возразил ефрейтор, – а то Сталин!

– Вот дурень! – вмешался сержант Гаврилов. – Сталин тебе что же, не человек? Даже Маркс говорил: ничто человеческое мне не чуждо.

– И Маркс ходил в уборную? – еще больше удивился Митюшкин.

– Нет, – сказал Вася, – Маркс в штаны накладывал.

Тут все в камере стали смеяться над Марксом и над Митюшкиным и спрашивать последнего, кем же он себе представляет вождей мирового пролетариата, если они лишены таких естественных удовольствий. Митюшкин надулся, от продолжения разговора уклонился, но ночью растолкал Чонкина с вопросом:

– А ты тоже думаешь, что Сталин ходит в уборную?

Чонкин, вспомнив, что однажды на вопросе о личной жизни товарища Сталина сильно обжегся, отвечал уклончиво, что он о Сталине вообще ничего не думает. Утром трое суток, на которые Митюшкина посадили, закончились. Вернувшись в часть, он сразу попросил встречи с замполитом и принес ему докладную записку о том, что содержащийся под арестом Василий Углов распространяет клеветнические утверждения, будто товарищ Сталин ходит в уборную. А арестованный Чонкин, добавил он, с гордостью ему заявил, что о товарище Сталине вообще ничего не думает. Замполит был нормальным человеком. Он не увидел в камерной дискуссии ничего, кроме глупости, но донос был политический, на него надо было как-то, хотя бы формально, отреагировать. Поэтому он посоветовал Митюшкину обратиться в Смерш к полковнику Гуняеву.

Полковник Гуняев тоже плюнул бы на трех дураков. За последнее время самовольщиков и безобидных болтунов чуть ли не каждую ночь вылавливали дюжинами. О них сообщали их же прямому начальству, а уж от того зависело, сколько кому влепить. Однако начальники не все же были зверьми, многие понимали, что солдаты за время войны чего только не натерпелись и не настрадались. Ну, сорвались с колодок, загуляли, с девушками немецкими или бабушками побаловались, а то даже и лягнули что-то не то, так за все перенесенное в жизни заслуживают, по крайней мере, снисхождения. И потому сажали солдат на «губу» неохотно, а если уж и сажали, то сроки давали умеренные.

Вот и Чонкин, отсидевши сколько-то дней, вернулся бы к своим лошадам Ромашке и Семеновне и в родную казарму, а вскоре дождался бы и демобилизации, да опять нашла на него невезуха. Как раз в то самое время, когда он, единственный, может быть, раз за все последние месяцы решился на самоволку, был издан и разослан по частям приказ Верховного главнокомандующего об усилении дисциплины в войсках. В приказе говорилось, что после выхода Советской армии из войны в частях наблюдаются признаки морального разложения и ослабления дисциплины. Среди военнослужащих оккупационных войск имеют место факты неподчинения командирам, нередки случаи пьянства, хулиганства, грабежей, насилия, мародерства, продажи военного имущества и оружия. Особо указывалось на опасность участившихся контактов с местным населением, которые ведут к заражению венерическими болезнями, дезертирству, разглашению военной тайны и самое страшное – к идеологическому разложению. Приказ предписывал командирам частей и соединений, а также руководителям Смерша принять решительные меры по усилению дисциплины, а всех нарушителей ее – разгильдяев и самовольщиков – наказывать самым строжайшим образом.

Был приказ, было и разъяснение. Для устрашения нарушителей дисциплины следует провести ряд показательных процессов. Выездные сессии военного трибунала должны показать всем разгильдяям, что наказание будет неизбежным, суровым и быстрым.

Когда приказ и разъяснение дошли до военно-воздушной армии, в которой служил Чонкин, начальник Смерша полковник Гуняев позвонил комендантам всех гарнизонов, где армия располагалась, и попросил представить списки задержанных самовольщиков. В одном из списков он второй раз после доноса Митюшкина наткнулся на фамилию «Чонкин». Случай с Чонкиным был самым для показательного суда подходящим. Самовольная отлучка, пьянка, связь с местным населением и сомнительные высказывания. Гуняев подумал, что и фамилия Чонкин для суда подходящая, запоминаемая. Полковник вызвал к себе председателя военного трибунала

Сукнодерова и приказал подготовить дело Чонкина к слушанию. Председатель знал свое дело хорошо, он никогда и не помышлял считать себя независимым судьей, напротив, всегда в разговорах с начальством именно то и подчеркивал, что никаких самостоятельных приговоров, кроме как по самой ерунде, не выносил и выносить не собирается. И хотя Гуняев время от времени пенял ему и напоминал, ты, мол, судья и подчиняешься только закону, на что Сукнодеров отвечал, что желание начальства для него и есть закон и он ему подчиняется. Впрочем, тут же добавлял: шучу, шучу.

– На какой срок будем тянуть? – спросил Сукнодеров.

– Пару лет залепи ему, и хватит, – сказал Гуняев. – Жалко парня, – вздохнул он и возвел глаза к небу: – Все-таки фронтовик.

Следователь Плешаков принял дело и для проформы запросил соответствующие инстанции по поводу чонкинского прошлого. И вот, представьте себе, дорогой, уважаемый, терпеливый читатель, все повторилось, что было раньше. Запрос ходил по инстанциям и адресам, какие-то безликие и бесшумные люди с гусиными походками носили его в папках по коридорам и кабинетам, после чего заглядывали в архивные каталоги и писали свои резюме. Сравнительно скоро запрос обернулся докладом об оперативной проверке, в результате которой установлено, что Чонкин-Голицын Иван Васильевич, 1919 года рождения, русский, беспартийный и неженатый, бывший рядовой воинской части 249814, в 1941 году привлекался к уголовной ответственности за дезертирство, измену родине, вооруженный разбой, попытку отторгнуть и передать врагу часть советской территории и объявить себя царем. Был осужден, но, пользуясь неразберихой военного времени, каким-то образом избежал наказания.

Ну конечно, когда все это случилось, нижние сотрудники Тех Кому Надо поняли, что поймали слишком большую птицу, чтобы самим решать ее судьбу. А лично полковник Гуняев подумал, что, может быть, тут ему и забрезжил шанс стать до времени генералом. Поэтому он расписал это дело наилучшим образом, употребив все свое литературное дарование, а оно у него было (втайне от сослуживцев он пописывал стишки, и очень даже недурные, о родине, природе, любви к домашним животным и впоследствии стал членом Союза писателей СССР). Оформив дело, Гуняев отправил его наверх, а верхние люди

передали дело тем, кто еще повыше, и, наконец, дело поднялось высоко-высоко и достигло самого главного человека из Тех Кому Надо, а именно и опять-таки все того же Лаврентия Павловича Берию.

Представим себе, что летним солнечным утром Лаврентий Павлович проснулся после замечательной ночи, проведенной с прекрасной незнакомкой, пойманной его адъютантами на улице Горького. Незнакомка сперва, не разобравшись, в чем дело, плакала и просила: ой, дяденька,пусти, меня мамка заругает, а потом, когда поняла, кто этот дяденька, пришла в дикий восторг и во время секса кричала: «Ой, кто же меня дерет! Люське расскажу, не поверит!» Ему эти выкрики очень понравились, он смеялся. Но утром, выдав ей двадцать пять рублей из собственного бумажника (он был человек честный и казенные деньги на личные нужды не тратил), предупредил: «Расскажешь Люське, пропадешь, и мамка не узнает, где могилка твоя». После чего принял холодный душ, закутался в шелковый халат и сел завтракать.

Завтрак его был скромный, состоял из апельсинового сока, рисовой каши с медальончиками из нежнейшего мяса. Подавала ему пищу его домоправительница, что-то вроде дворецкого в юбке. Прежде чем попасть на эту должность, Капуля, как называл ее Лаврентий Павлович, подверглась очень жесткой и детальной проверке. Специальные службы выясняли, кто были ее мама с папой, бабушки с дедушками, не была ли она под судом, в плену, на оккупированной территории, не состояла ли на психиатрическом учете, не имеет ли родственников за границей. На все она дала исчерпывающие ответы, представила необходимые справки, доказала свой довоенный стаж в системе Тех Кому Надо и в конце концов стала самым доверенным лицом в службе Лаврентия Павловича. Она у него была и секретарь, и домоправительница, и официантка, а время от времени выполняла личные задания хозяина агентурного характера. И, пожалуй, из живых людей никто на свете, кроме главы американской разведки мистера Алена Даллеса и, разумеется, автора этих строк, до поры до времени не знал, что под именем Капитолины Горячевой скрывалась матерая шпионка, когда-то немецкая (Курт), а теперь американская Каталина фон Хайс.

За завтраком Лаврентий Павлович прочел свежий номер газеты «Правда», затем проглядел несколько протоколов допросов, это чтение

доставляло ему огромное удовольствие. Особенно его увлекали признания крупных партийных и государственных деятелей, лиц когда-то толстых, самодовольных и надменных, а теперь ничтожных и жалких, торопливо сознававшихся в том, что они вредили государству, готовили покушения на товарища Сталина и других членов советского руководства, выводили из строя разные механизмы, отравляли колодцы и прятали в дуплах деревьев или мусорных баках микропленки со шпионскими донесениями своим заокеанским хозяевам. Читая подобные протоколы, Лаврентий Павлович легко представлял себе, как добывались такие признания, и от этого представления ему становилось тепло на душе. В таких случаях он часто и беззвучно смеялся, а Каталина фон Хайс заглядывала через его плечо в читаемый текст и тоже тихо смеялась, радуясь тому, как коммунисты ловко уничтожают сами себя.

Принятие пищи и чтение прерывалось телефонными звонками. Кроме прочих, ему звонил глава государства Михаил Иванович Калинин. Формально и согласно Конституции государства Михаил Иванович был в этом государстве высшим должностным лицом и мог кого угодно поставить на высокую должность, сместить с нее, наградить, казнить или помиловать. Формально он мог снять с поста даже самого Сталина или лишить его звания генералиссимуса. На самом же деле Михаил Иванович был бесправнейшим человеком и даже собственную жену не мог защитить от ареста. Но позволял себе хлопотать за нее и сейчас обращался с нижайшей просьбой:

– Лавруша, дорогой, пожалуйста, освободи ее. Ты же знаешь, она ни в чем не виновата.

– Миша, – отвечал ему Лаврентий Павлович, – ты же глава государства, а не какой-нибудь маленький, темный человек. Ты же знаешь, что у нас никого ни за что не сажают. Ты понимаешь, что ради тебя я бы пошел на многое. Я, Миша, очень добрый человек, у меня, можешь спросить у моей жены, мягкое сердце. Но когда, Миша, речь заходит о врагах народа, оно у меня становится очень твердым. И тебе, Миша, советую не хлопотать за врагов народа, который доверил тебе высшую должность в нашем государстве.

Пока он говорил с главой государства, называемым в народе всесоюзным старостой, а среди своих соратников просто Козлом за соответствующий фасон бороды, Капуля сообщила ему на ушко, что

вызванный им человек дожидается за дверью. Повесив трубку, Лаврентий Павлович велел пригласить этого человека и при появлении инстинктивно вскочил, потому что вошедшим оказался Иосиф Виссарионович Сталин, правда, очень необычно одетый. Не в полувоенном френче, не в маршальском кителе, а в дорогом двубортном костюме с галстуком, которого Иосиф Виссарионович отродясь не носил.

Тут надо бы нам сделать отбивку и по правилам контрапункта переключиться на что-то другое. Отвлечь внимание читателя, дать ему помучиться в догадках, для чего именно явился Иосиф Виссарионович к Лаврентию Павловичу рано утром, хотя, как известно, так рано он никогда не вставал. Все знали, что он не покладая рук работал иной раз до первых петухов, зато и поднимался никак не раньше полудня. Так почему же он ни свет ни заря сам явился к Лаврентию Павловичу, а не вызвал его к себе? Но мы долго читателя мучить не будем и сразу откроем ему нашу интригу: явился к Лаврентию Павловичу лично не Иосиф Виссарионович Сталин, а Гога, народный артист СССР Георгий Михайлович Меловани. Этот Меловани был так похож на товарища Сталина, что, бывало, при его появлении сам товарищ Сталин вскакивал, пугаясь, что, может быть, это и есть настоящий товарищ Сталин, а он, настоящий товарищ Сталин, может быть, и не совсем настоящий товарищ Сталин.

Так вот, при появлении в столовой как бы товарища Сталина Лаврентий Павлович тоже инстинктивно вскочил на ноги, но, впрочем, тут же опомнился и опять, соединивши свои вялые ягодицы со стулом, сделал гостю приглашающий жест рукой, проговорив при этом:

– Здравствуй, Гога, гамарджоба, дорогой генацвале, проходи и садись напротив меня. Капуля, положи-ка ему пару котлеток. Кушай, дорогой кунак, кушай. Это хорошее мясо. Из молодого, понимаешь, млекопитающего. Вина ему, Капуля, налей, нет, не вина, а сделай ему «Кровавую Мэри». Это хороший напиток, «Кровавая Мэри» лично во мне вызывает большое, понимаешь ли, вожделение.

Они выпили смесь водки с томатным соком и закусили нежными котлетками, буквально таявшими во рту. И во время еды состоялся у них разговор на ломаном грузинском языке, чтобы Капа (свой человек, но все-таки) не поняла, о чем речь. Но Капа, конечно, и грузинский язык, и армянский, а азербайджанский тем более знала, как свой

родной. Все, что говорилось, она за неимением под рукой карманного диктофона (еще не изобретенного) запомнила дословно и в тот же вечер вынесла вместе с мусором шифровку своему шефу Алену Даллесу о предложении, сделанном Лаврентием Павловичем Михаилу Георгиевичу.

Предложение состояло вот в чем. Товарищ Сталин, достигши определенного возраста, стал уставать от возложенных на него многочисленных обязанностей, и ему уже трудно присутствовать везде, где ему необходимо присутствовать, иногда в одно и то же время. В политбюро ЦК ВКП(б), в Совете министров, в Генеральном штабе, в Совете мира, в Комитете по Сталинским премиям, на всяких заседаниях, совещаниях, планерках и летучках. Так вот, есть просьба к народному артисту Меловани или, точнее, совершенно секретное партийное поручение: воспользовавшись исключительным сходством, подменять иногда товарища Сталина и исполнять за него некоторые второстепенные обязанности, как, например, сидеть в президиумах, стоять на трибуне Мавзолея и присутствовать при вручении послами верительных грамот.

Как и ожидалось, Меловани от предложения поначалу опешил и заикался:

– Ой! Ой! Лаврентий Павлович. Да как же я? Я ведь, Лаврентий Павлович, только артист. Я могу лицедействовать только в театре или в кино. А реально подменять гения человечества на государственных мероприятиях как же, как же, Лаврентий Павлович, я же, Лаврентий Павлович, простой человек.

– А товарищ Сталин тоже простой. И Ленин был простой. А ты мало того, что артист, ты еще коммунист и должен понять, что предложение партии – это приказ. Ты это понял, генацвале?

И генацвале, конечно, сразу же понял, но и со своей стороны не упустил случая выдвинуть просьбу. Поскольку ему теперь надо еще лучше вжиться в образ товарища Сталина, он хотел бы, чтобы ему создали примерно такие же бытовые условия, как у товарища Сталина.

При этих словах Лаврентий Павлович слегка поморщился и пробурчал: «Ах, какой ты меркантильный!» Однако обещал, что просьба будет рассмотрена.

– Но смотри, – предупредил Лаврентий Павлович. – Если кто-то нашу тайну раскроет, я тебя живым закопаю в землю.

Отпустив народного артиста, Лаврентий Павлович собрался после завтрака немного покачаться в плетеном кресле и почитать еще пару протоколов, а может, даже и подремать, но тут явился нарочный с некоторыми бумагами, заглянув в которые Лаврентий Павлович сначала удивленно присвистнул, а потом сказал по-грузински вай-вай, а потом хлопнул в ладоши. Следует попутно заметить, что у начальников была такая привычка – хлопать в ладоши. Хлопнул в ладоши, и сразу волшебным образом перед глазами немедленно возникает кто-то, готовый чего изволите. Только Лаврентий Павлович хлопнул в ладоши, как перед ним опять возникла его незаменимая домоправительница, неся в одной руке на деревянных плечиках белый чесучовый костюм и кремовую рубашку. Быстро одевшись, Лаврентий Павлович с толстым портфелем выкатился на залитое солнцем крыльцо и, зажав портфель между коленями, снова соединил ладоши в хлопке. Тут же к крыльцу, шурша шинами, подкатил длинный, черный, сверкающим лаком, как новая галоша, лимузин «ЗИС-101» с красным флажком на капоте. Офицер охраны еще на ходу вывесился из передней дверцы и открыл заднюю, выхватил портфель из рук Лаврентия Павловича и сунул его в кабину следом за Лаврентием Павловичем. Лаврентий Павлович юркнул внутрь, утянул за собой портфель, утонул в мягком кресле и сказал тихо:

– В Кунцево!

И через полчаса оказался у вполне неприметных металлических зеленых ворот с ажурным плетением поверху. Ворота открылись, пропустили машину, закрылись снова, и машина оказалась заблокированной между двумя воротами – первыми и вторыми – и стояла, как баржа в шлюзовой камере. Тотчас из бокового помещения вышли два офицера и попросили пассажира покинуть машину, показать документы и предъявить для досмотра портфель. Пока один из них на капоте перебирал содержимое портфеля, другой попросил Лаврентия Павловича повернуться лицом к машине, положить руки на крышу и пошире раздвинуть ноги, что маршал Берия и выполнил, не выражая ни малейшего недовольствия, ибо это была обычная, рутинная процедура. Маршала, как, возможно, еще помнит читатель, и

раньше так проверяли, и теперь той же процедуре подвергли. Он был тщательно, но деликатно, без грубостей, общупан с головы до ног, особенно под мышками и в паху, после чего ему было разрешено пройти на территорию дачи пешком.

Лаврентий подхватил портфель и двинулся по дорожке, посыпанной розовым гравием. Учиненный досмотр, несмотря на его рутинность, был ему неприятен, но настроения не испортил, а настроение у маршала было очень хорошее, отчего он шел, как бы даже приплясывая, и подергивая шеей, и насвистывая мелодию грузинской песенки, которую любил сам, потому что ее любил его старший товарищ, к которому он сейчас направлялся. Розовая дорожка сначала вилась между высокими соснами, потом выходила на открытый участок перед скромного вида дачей, где по обе стороны на отдельных клумбах росли пионы, георгины, гладиолусы и большие белые розы. Дача была в самом деле на вид скромная, одноэтажная, без лишних украшений снаружи и ненужных роскошеств внутри. Сейчас какой-нибудь новый русский в такой даче дворника своего постеснялся бы поселить, а тогда некоторые, даже сильные мира сего, властью упивались, но в своих потребностях были крайне непритязательны. Хозяин дачи в потертых холщовых брюках с пузырями на коленях, в застиранной серой рубаше с короткими рукавами и в сандалиях на босу ногу стоял у розового куста. Левая рука у него была в брезентовой рукавице, а в правой он держал большие садовые ножницы. Этим любителем-садоводом был, конечно, Иосиф Виссарионович Сталин.

В последнее время Иосиф Виссарионович сильно сдал. Было ему еще только шестьдесят пять лет, возраст немалый, но при хорошем питании и уходе не такой уж и крайний. Другие люди в этом возрасте ведут еще очень активный образ жизни: по утрам делают физзарядку, полноценно трудятся, даже спят со своими женами, а более расторопные – и не со своими. Сталину же, несмотря на доброкачественное питание, хорошие жилищные условия и прекрасный уход, подобные радости были уже недоступны: жену свою он давно застрелил, Розу Каганович прогнал, а другие женщины ему удовольствия не доставляли. Наслаждение особенное и даже сексуального свойства он получал, когда уничтожал врагов, унижал соратников и заставлял их цепенеть от страха, визжать от боли и на

колених просить пощады. Однако всего этого даже при хороших условиях жизни и правильном пищеварении уже было недостаточно, чтобы компенсировать урон организму, нанесенный большими переживаниями в годы войны, и лежащим на плечах грузом огромной власти, и чем дальше, тем больше развивающейся манией преследования. Большая власть, к которой многие люди неразумно стремятся, требует постоянного, иногда невыносимого и изматывающего напряжения. А власть бесконтрольная и употребляемая незаконно по злой прихоти властителя возбуждает в нем чувство непреходящего страха перед возможным возмездием. Сталин, как известно, был ужасно жесток, и потому его все боялись, но он боялся еще сильнее, потому что боялся всех. Боялся своих соратников, поваров, докторов и потому держал большую охрану. Но чем больше была охрана, тем больше он и ее боялся. Он никогда не спал в одной и той же комнате две ночи подряд. Но неизменным оставалось одно: все комнаты, в которых он спал, были без окон. Никто не должен был знать, в какой именно комнате он спит, но охрана и ее начальник генерал Николай Сидорович Власик знали все и помалкивали. Знали потому, что из комнаты, где спало охраняемое лицо, часто был слышен какой-то странный, нечеловеческий, лошадиный, пожалуй, храп, а иногда раздавалось точно уж лошадиное ржание.

Охранники все это слышали, но не могли не то что обсудить хотя бы шепотом это явление, но даже переглянуться не смели. А храпел так генералиссимус и ржал потому, что ему часто снился почти один и тот же сон: идиллия с переходом в кошмар. Будто он, маленький рыжий жеребенок, отбившись от стада, пасется на каком-то горном пастбище, и сначала все хорошо. Светит мягкое солнце, летают бабочки и стрекозы, трава под ногами сочная, вкусная, с приятной кислинкой. Все хорошо, но вдруг, откуда ни возьмись, появляются волки. Он пытается убежать, но он, оказывается, стреножен, он пытается разорвать путы, но не может, а волки приближаются, и вот он видит, это уже не волки, а Берия, Хрущев, Маленков, Молотов, Каганович, иногда и Ворошилов с Буденным раскрывают свои волчьи пасти и тянутся к нему со всех сторон. Он вспоминает, что у него есть охрана, кричит (вот тогда-то охрана и слышала странное ржание), но, кажется, бесполезно, никто на помощь ему не спешит. В таких случаях

он вскакивал, озирался, не сразу понимал, где находится, ощупывал стены, проверял на прочность засовы, снова ложился и опять вскакивал в ужасе. Страх, мнительность, подозрительность были его основными чувствами в последнее время. Недоверие ко всем людям и их словам изматывали генералиссимуса и разрушали. В свои шестьдесят пять лет он выглядел на восемьдесят, лицо у него было сморщенное, руки темные, дряблые, с неразвитыми мускулами, грудь впалая, заросшая седой шерстью, глаза смотрели всегда настороженно. Впрочем, когда он работал в саду, у него настроение улучшалось.

– Вот видишь, Лаврентий, чем я занимаюсь, – сказал Сталин и почмокал растрескавшимися губами. – Отсекаю лишнее. Для того чтобы этот куст был всегда пышным, красивым и здоровым, надо решительно использовать ножницы и отсекаать лишнее. Ты понимаешь, что я имею в виду?

– Еще как понимаю, дорогой Коба. Еще как понимаю. Я только этим и занимаюсь, что отсекаю лишнее. Иногда это может быть лишняя голова, – уточнил он и громко засмеялся, придерживая пенсне, чтобы не прыгало.

– Ой, что ты говоришь, Лаврентий! – поморщился садовод. – Какой ты неисправимый головорез! Почему ты обязательно воображаешь что-то неприятное в то время, когда я веду речь о прекрасном? Ты посмотри на эту розу. Разве тебе не кажется, Лаврентий, что роза – это чудо природы? А, Лаврентий, тебе так не кажется?

– Кажется, кажется, дорогой Коба, – горячо заверил Лаврентий. – Именно так и кажется. Мне кажется, что роза – это очень даже большое чудо природы.

– Тебе так кажется или это так и есть? – И Иосиф Виссарионович посмотрел на Лаврентия Павловича со своей всем известной лукавой улыбкой, от которой многим становилось не по себе, а у некоторых даже случались инфаркты с инсультами.

– Мне так кажется, и это так и есть, – ответил Лаврентий Павлович. – Роза есть замечательное и во всех смыслах совершенное чудо природы. Но ты, я так думаю, даже большее чудо природы, чем все розы на свете.

Сталин поморщился:

– Не надо, Лаврентий, быть подхалимом. Ты знаешь, что лести я не люблю. Но я рад, что насчет роз ты со мной согласился. Я не люблю льстецов, но еще больше не люблю тех, кто со мной не соглашается. А совершенство этого цветка, Лаврентий, заключается в том, что он не только безумно красив, но и колюч. Достоевский говорил, что красота спасет мир, и я с ним согласен. Однако красота спасет мир и сама спасется, только если будет колючей. Ты понимаешь это, Лаврентий?

– Так точно, – согласился Лаврентий Павлович и закивал головой: – Я это понимаю, очень хорошо понимаю.

– Ничего ты не понимаешь! – махнул ножницами Сталин. – Ты вообще мало чего понимаешь и поэтому никогда не сможешь быть великим политиком. Ты можешь быть только кем-то при ком-то, но сам руководить государством, особенно большим государством, особенно таким государством, как наше государство, ты никогда не смог бы.

– А мне это не нужно, Коба, – убежденно сказал Лаврентий Павлович. – Мне это совершенно не нужно. Великим государством должен управлять великий человек. А я человек не великий. Но я такой человек, который, будучи предан великому человеку, может помогать великому человеку успешно управлять великим государством.

– Ну ладно, ладно, – удовлетворился Иосиф Виссарионович. – За что я тебя уважаю, Лаврентий, так это за скромность. У тебя есть что-то мне доложить или ты просто так приехал посмотреть на мои розы? Если посмотреть розы, то ты их уже посмотрел, понюхал и можешь уезжать, а если есть дело, то доложи.

Лаврентий Павлович доложил. О разных текущих делах, как мелких, так и крупных. Среди крупных были донесения разведки о том, что американцы испытали в пустыне Невада какую-то очень большую бомбу. О возможном применении ее в войне с Японией. Лаврентий Павлович показал Иосифу Виссарионовичу шифровки, полученные от разведчиков, и записку академика Игоря Курчатова, в которой полученные сведения оценивались как достоверные, а намерения Соединенных Штатов как очень серьезные. Курчатов напоминал Сталину, что атомная бомба, как уже неоднократно докладывалось, очень перспективное оружие, она будет обладать ни с чем не сравнимой разрушительной силой, и в будущей войне победит тот, у кого будет такое оружие. Иосиф Виссарионович тяжело

вздыхнул. Он об этой бомбе уже слышал и даже неоднократно, но к слухам о ней относился с недоверием, теперь он в нее очень поверил и огорчился. В ближайшие дни собирался он отправиться на конференцию глав правительств держав-победительниц и намеревался потребовать кое-чего от Гарри Трумэна и Уинстона Черчилля, но если у американцев действительно есть такая страшная бомба и она покажет себя именно так, как планируется, ультимативность тона придется несколько умерить.

– Противный ты человек, Лаврентий! – с чувством сказал Иосиф Виссарионович. – Что ты мне всегда рассказываешь какие-то вещи, от которых на душе становится тягостно? Неужели в твоём раздутом портфеле нет ничего, кроме разных гадостей?

– А вот как раз и есть! – бодро сказал Лаврентий Павлович. – Есть, дорогой мой товарищ Коба, очень даже и есть. – Он сунул руку в портфель, вынул тонкую синюю папочку. – Помнишь, в начальный период войны у нас прошло дело князя Голицына? Он тогда был арестован и приговорен к расстрелу.

– Ну? – выжидательно спросил Сталин.

– Так вот, оказалось, что приговор в исполнение приведен не был и князю удалось от справедливой кары уйти. Однако мои люди о нем не забывали, искали его всю войну и вот обнаружили, представь себе, Коба, в постели немецкой шлюхи.

Иосиф Виссарионович отрезал одну розу, повернулся и протянул ее Лаврентию Павловичу:

– Вот, возьми. Это тебе. За отличную службу.

Лаврентий Павлович понял, что это насмешка, но все же сказал:

– Спасибо, Коба, что ты так высоко ценишь мои скромные усилия.

– Как же не оценить, – сказал Иосиф Виссарионович. – Одного и того же человека чекисты ловят по несколько раз, и каждый раз варганят из этого дело, и каждый раз получают за это должности, звания и ордена. Причем я совершенно уверен, что дело, конечно, очень хорошо высосано из пальца, наспех сколочено ржавыми гвоздями и торопливо шито белыми нитками. Но теперь я тебе этого Голицына не отдам. Он мне теперь нужен для другого дела.

– Для какого, если не секрет? – спросил Лаврентий Павлович.

– От тебя не скрою, – сказал Иосиф Виссарионович. – Мне доклад представили по поводу русской эмиграции. Среди эмигрантов, и

особенно в среде носителей бывших гордых фамилий, в связи с нашей победой возникли очень серьезные такие, я бы сказал, патриотические настроения. За время войны патриотический дух эмигрантов очень поднялся, но у нас есть некоторые люди, некоторые, я бы даже сказал, может быть, враги народа, которые согласны служить великому государству даже на вторых ролях, лишь бы как можно больше ему навредить. И эти вот самые, может быть, понимаешь, враги народа, может быть, заслужили, чтобы с ними обращались вот так.

Иосиф Виссарионович сделал резкое движение рукой. Ножницы блеснули на солнце. Лаврентий Павлович почувствовал, что его нос зажат между двумя лезвиями. Но аккуратно зажат и пока не порезан.

– Ты знаешь, – грустно сказал Иосиф Виссарионович, не убирая ножниц, – я бы очень хотел, если, конечно, это возможно, чтобы этот вот самый князь был у меня завтра вот на этом примерно месте и в это примерно время. Как ты думаешь, возможно это или же никак невозможно?

Лаврентий Павлович боялся пошевелиться, но отвечать все-таки было нужно.

– Завтра? – спросил он, заметно гундося. – За сутки? Из Германии?

– Ты думаешь, это будет не очень возможно? – спросил Иосиф Виссарионович.

Ножницы, к счастью, не очень острые, при этом сдавили нос сильнее, и Лаврентию Павловичу пришлось открыть для дыхания рот.

– Это... – сказал он залипающим языком. – Это... Я думаю, это будет возможно.

– Ты так думаешь? – Иосиф Виссарионович разжал ножницы и опустил. – Я тоже думаю, что это возможно, и я также знаю, что для такого друга, как ты, нет ничего невозможного. И я думаю, что как хороший друг ты сумеешь для меня сделать даже и невозможное.

– Дорогой Коба! – взволнованно ответил Лаврентий Павлович и, делая вид, что поправляет пенсне, потрогал мизинцем сначала одну ноздрю, а за ней другую. – Для тебя я сделаю все, что возможно и невозможно.

– Хорошо, дорогой друг, – потеплел отечески Иосиф Виссарионович. – Теперь у тебя, может быть, все?

– Нет, – завихлял всем телом Лаврентий Павлович. – Есть еще один маленький вопросик, но не знаю, стоит ли тебя им беспокоить. Ты знаешь, артист Гога Меловани, который играл тебя в самых лучших наших фильмах, все время работает над собой и утверждает, что может так тебя сыграть, что никто не сумеет вас отличить.

– Да? – переспросил Сталин. – Никто не сумеет нас отличить? И что же ему для этого нужно? Может быть, ему нужен хороший грим?

Почувствовав в его тоне внезапную настороженность, Лаврентий Павлович решил пока не выкладывать основной план использования Меловани для своих оригинальных целей и замять этот вопрос. И сказал только, что артисту Меловани, как он сам считает, для того чтобы вжиться в образ товарища Сталина, необходимо создать бытовые условия, приближенные к условиям, подходящим для товарища Сталина, и потому он просит, нельзя ли ему пожить немного на даче товарища Сталина, допустим, на озере Рица?

– Вжиться в образ товарища Сталина? – Сталин изобразил гримасу недоумения и стал качать головой влево-вправо, как бы обсуждая с самим собой разные варианты. – Товарищ Меловани хочет вжиться в образ товарища Сталина и пожить, как товарищ Сталин? А товарищу Сталину так надоело жить, как живет товарищ Сталин, что он, может быть, хотел бы вжиться в образ товарища Меловани и пожить так же беззаботно, как живет товарищ Меловани.

Он бросил ножницы на землю, скинул брезентовую перчатку, достал из кармана трубку, стал ее набивать. Набивал долго и молча. Достал спички. Прикурил. Руки его при этом дрожали. Пустил несколько колец в нос Лаврентию Павловичу (Лаврентий Павлович втянул в себя эти кольца открытым ртом, изображая полное удовольствие). – Значит, – повторил, – вжиться в образ товарища Сталина... Ну что ж, – покивал головой. – Если хочет вжиться в образ товарища Сталина, пусть начнет с Туруханской ссылки.

Иосиф Виссарионович проводил гостя почти до самых ворот и, прощаясь, напомнил:

– Завтра, в это же время, ты будешь здесь вместе с этим князем, или я отстригу тебе нос.

И повторил:

– Завтра, в это же время.

Что-то похожее с Чонкиным уже было. Он сидел на гауптвахте, не сильно этим томясь. Если и беспокоился, то только о том, кто там присматривает за лошадьми. О том, что нависла над ним опасность очередного показательного суда, он не знал, а перспектива провести на губе несколько дней его не беспокоила. Поэтому жил – не тужил. Но вдруг вечером его перевели в одиночку, и не простую, а офицерскую. Где кровать стояла пружинная с матрацем, подушкой и свежими, крахмальными (на таких Чонкин в жизни не спал) простынями. Рядом – табуретка и тумбочка, а в тумбочке – Устав караульной и гарнизонной службы и «История ВКП(б)», сочиненная, как говорили, лично товарищем Сталиным, по скромности не указавшим своего имени.

На ужин принесли рисовую кашу с двумя котлетами, с белым хлебом, маслом, да еще и кисель. Чонкин удивился и стал думать, что бы это значило. И по логике простого ума подумал, что если начальство так его, маленького человека, решило побаловать, то вряд ли для чего-то хорошего. Тем не менее утром он с удовольствием съел картофельное пюре с жареной колбасой и только собрался пить какао с американскими галетами, как дверь резко растворилась, и в камеру вошли трое: начальник Смерша полковник Гуняев, начальник караула старший лейтенант Любочкин и незнакомый офицер с четырьмя звездочками на погонах. Они вошли так резко и зловеще, что Чонкин съежился, решив, что сейчас будет расстрел. Потом вскочил и вытянул руки по швам. Вошедшие смотрели на него, он смотрел на них. Вдруг Гуняев странно улыбнулся и что-то спросил.

– Чего? – переспросил Чонкин.

– Как спалось, спрашиваю? – повторил Гуняев.

– Нормально, – Чонкин пожал плечами.

– Нормально, говорит, спалось, – обернувшись к сопровождающим, Гуняев заулыбался так радостно, как будто это ему хорошо спалось. – Но вы какао допейте, а потом вот... – Он щелкнул пальцами, и из коридора появился незнакомый Чонкину солдат с ворохом какой-то одежды, которую он положил на койку, а сапоги поставил рядом.

– Мы выйдем, – сказал Гуняев, – а вы допивайте. Потом переоденьтесь. Ну, еще минут пять у нас есть.

Он попятился, все так же странно поглядывая на Чонкина и улыбаясь. И остальные вышли, тихо прикрыли за собой дверь. Чонкин смотрел на одежду, не представляя, что это все ему. Новые трусы и майка. Галифе, гимнастерка, фуражка – все офицерское, но с солдатскими погонями. Хромовые сапоги вместо ботинок и носки вместо портянок. Удивившись и немного подумав, стал он это натягивать на себя, про какао забыв.

– Ну вот, – появился снова Гуняев и оглядел Чонкина взглядом портного. – Ну вот и хорошо. Фуражка великовата. Но вы ее так плотно не натягивайте. Пусть свободно сидит. А остальное прямо словно по мерке. Да, а медаль ваша где? – вдруг спохватился он. – Да вот она, что ж вы... давайте перекрутим со старой гимнастерки на эту. «За освобождение Варшавы» награда маленькая, но почетная, битва за Варшаву, все знают, была нелегкая. А что же это у вас гвардейского значка нет? Мы же гвардия. Подождите. Вот, – он снял с себя и укрепил на груди Чонкина и значок «Гвардия», после чего отступил назад и посмотрел на Чонкина, как на картину.

– Ну ладно, – сказал он не очень уверенно, – ладно. А теперь пойдем. То есть поедем. Сначала пойдем, а потом поедем. – Ему показалось, что получилась шутка, и он засмеялся.

Вышли на улицу к ожидавшему «Виллису». Шофер включил скорость, машина запрыгала по булыжной мостовой, выкатилась за город и через пятнадцать минут подкатила к стоянке самолетов, где у расчехленного штурмовика стояли командир полка полковник Опаликов в кожаной куртке и в шлемофоне, два незнакомых Чонкину генерала (знакомых генералов у него вообще не было) и механик Лешка Онищенко, который был настолько потрясен случившимся, что, когда Чонкин сказал ему «здравствуй», прокричал в ответ: «Здравия желаю, товарищ!..» – и замолчал, не представляя, какое звание к Чонкину может быть сейчас приложимо.

Впрочем, другие тоже были удивлены, потрясены, ошеломлены, прослышав, что рядовой Чонкин должен быть немедленно доставлен в Москву по приказу лично... можно ли это себе представить?.. какой-то Чонкин – и по приказу лично Верховного главнокомандующего! Все были озадачены: зачем товарищу Сталину понадобился такой

необычный кадр? Однако армия есть армия, там лишних вопросов не задают и приказы исполняют беспрекословно.

Ввиду исключительной важности приказа исполнение его поручили наиболее опытному летчику – полковнику Опаликову. Опаликов к тому времени был Героем Советского Союза, хотя по количеству сбитых самолетов мог бы получить это звание дважды. Но не получил, потому что неоднократно восхищался уровнем жизни побежденных немцев. В ресторане, где летчики праздновали Победу, говорил, что русские люди могли бы жить не хуже немцев, если бы не колхозы. А также, ссылаясь на авторитет какого-то своего родственника, утверждал, что личность советского человека формируется не обществом, а какими-то частицами живой клетки, передающимися по наследству. Эти высказывания полковника дошли до начальника Смерша, а тот немедленно обвинил Опаликова в антисоветской пропаганде, преклонении перед всем иностранным и в очевидном влиянии на него чуждых марксизму-ленинизму западных лжеучений. Командующий армией генерал-лейтенант Василий Просяной дело постарался замять, но вторую Звезду Опаликов не получил и был переведен из истребительной авиации в штурмовую. Начальник же Смерша своих усилий не оставлял и написал в Москву красочное донесение о том, что в данной воздушной армии царят нездоровые настроения, некоторые лица из командного состава позволяют себе антисоветские высказывания, а другие, более высокие, чины их покрывают. Пока усилия смершевца успехом не увенчались, но сказать, что так будет и дальше, никто не мог.

Генерал Просяной был тоже Герой Советского Союза и очень большой красавец с пушистыми усами на смуглом лице и черными изогнутыми бровями, которые, как говорили, он по утрам подводил черным карандашом. Многие женщины при виде его слабели, а он слабел при виде жены Опаликова Надежды, и между ними, кажется, что-то было. Это что-то было, может быть, второй причиной, почему для доставки в Москву Чонкина был избран именно Опаликов, а не кто другой. Что касается Опаликова, то он очень хорошо понимал причину оказанного ему высокого доверия и заготовил на такую подлость ответ, который в духе более поздних времен можно было бы назвать асимметричным.

Пока Просяной обсуждал с Опаликовым маршрут полета и тыкал пальцем в лежащий на крыле планшет, другой генерал, невысокого роста, с большим животом и золотыми зубами, подкатился к Чонкину, поздоровался за руку и представился:

– Генерал-майор Новиков.

– Ага, – Чонкин испугался, что сейчас дадут взбучку за то, что он как-то не так ответил, а как отвечать в таких случаях правильно, он не знал, потому что ни один генерал ему еще ни разу не представлялся.

Но генерал был настроен миролюбиво.

– Ну что, товарищ Чонкин, вы уже знаете, куда вы летите?

– Не могу знать, – сказал Чонкин.

– Ну что ж, значит, узнаете, – улыбнулся генерал. – Скоро узнаете.

Просяной тем временем инструктировал Опаликова:

– Значит, так, – водил он пальцем по карте. – Летишь с четырьмя посадками: Заган – Ченстохов – Белосток – Орша, а там заправки хватит и до Москвы. Ты меня не слушаешь?

– Да-да, – отозвался Опаликов.

На самом деле он слушал, но не слышал. И мысленно маршрут пролагал совершенно иной.

Наконец они все обсудили и подошли к Чонкину.

– Значит, подготовили товарища? – спросил Просяной и только теперь посмотрел на Чонкина: – Ну что, солдат, лететь не боишься?

– Не, – сказал Чонкин кратко.

– Чего ему бояться, он уже летал, – заметил Опаликов.

– Ну тогда что ж, – сказал Просяной. – Тогда, как говорится, мягкой посадки.

Чонкина возили на самолете четыре года тому назад, только тогда он смотрел в спину летчику, а теперь его посадили лицом к хвосту и к пулемету, но предупредили, чтоб пулемет не трогал.

Полковник залез на свое место. Механик рогулькой прокрутил воздушный винт. Последовали нужные команды:

– Контакт! От винта!

Мотор чихнул, стрельнул, выплюнув струю черного дыма, и застучал ровно и уверенно. Взвихренный пропеллером поток воздуха прижал к земле высокую траву. Механик, придерживая левой рукой пилотку, чтобы не сдуло, нырнул под крыло, вытащил из-под колес колодки. Генерал Новиков взял под козырек, а Просяной просто

махнул рукой. Мотор взревел, самолет двинулся с места. Опаликов не стал рулить к взлетной полосе, а лихо рванул поперек аэродрома в сторону протекавшей неподалеку реки и взлетел, оставив за собой облако пыли.

– Сталинский сокол! – тряхнув головой, засмеялся Просяной и посмотрел на Новикова. И удивился, увидев выражение лица генерал-майора.

– Ты что? – спросил он.

– Ы-ы-ы! – простонал генерал-майор, протянув руку в сторону взлетевшего самолета.

Просяной посмотрел туда же, и фраза из трех известных каждому русскому человеку слов, предназначенных для выражения очень сильного чувства, вырвалась из его груди.

...В это самое время на другом берегу речки на командном пункте американского аэродрома дежурили два майора – Билл Хантер Младший и Майкл Погарек. Они сидели в деревянном домике на колесах с большими окнами, из которых очень хорошо просматривался советский аэродром. Хантер Младший, как принято у американцев, откинувшись назад, положил ноги на стол. Он курил толстую кубинскую сигару и, раздувая щеки, пускал к потолку аккуратные жирные кольца. Погарек, склонившись над столом и подперев голову руками, боролся с дремотой. Полетов сегодня не было ни у американцев, ни у русских, и майоры обсуждали последние известия о военных действиях в Японии. В связи с чем Хантер вспомнил о своей службе на Филиппинах, где у него был роман с японкой, на которой он даже хотел жениться, но командование резко возражало. Он был предупрежден, что в случае женитьбы ему придется переменить службу в военно-воздушных частях особого назначения на что-то другое. Он готов был даже пожертвовать карьерой, но помешало несчастье: его невеста погибла в автокатастрофе. Погарек, позевывая в кулак, сказал, что внешне ему тоже очень нравятся японки, китайки, корейки и филиппинки, но он бы никогда не женился на женщине другой расы, не потому, что к другим расам враждебно относится, а потому, что такое смешение отрицательно сказывается на детях. Он сам является результатом смеси англосаксонской и польской кровей и чувствует, что в нем как бы все время борются между собой две разные личности. Поляк всегда бушует и толкает на разные сумасбродства, а англосакс склоняет к благоразумию.

– Майкл, – перебил его Хантер, – тебе не кажется, что у русских происходит какая-то возня, как будто они собираются сегодня летать?

– Странно, – сказал Майкл, зевая. – С тех пор как кончилась война, они обычно по понедельникам не летают. Они все суеверные, а понедельник у них тяжелый день. В воскресенье они пьют амортизационную жидкость, а в понедельник у них болит голова, поэтому они изучают биографию дядюшки Джо.

Хантер Младший снял висевший на стене полевой бинокль, приблизил к глазам, еще больше удивился:

– Слушай, Майкл, там правда что-то необычное происходит. Два генерала суетятся у одного самолета. Так... запустили двигатель, убрали колодки... Майкл! – воскликнул Билл возбужденно и хватаясь за микрофон. – Смотри, что он делает! – И нервно прокричал: – Внимание, вызываю дежурное звено!

Радио отозвалось голосом капитана Ричарда Торндайка.

– Дик, – сказал ему Хантер, – русские проявляют подозрительную активность. Запускайте двигатели и будьте готовы к взлету.

– Есть, сэр!

Одинокий самолет на той стороне несся поперек летного поля, оставляя за собой тучу пыли.

Одновременно послышался звук запускаемых двигателей самолета дежурного звена.

– Майкл! – сказал Хантер.

– Билл! – взволновался наконец и Погарек.

И оба замолчали, завороченно глядя на советский самолет, который на той стороне взлетел, шасси убирать не стал, поднялся не выше десяти метров и на эту сторону пошел на посадку.

– Мы выруливаем, сэр! – послышался из приемника голос Торндайка.

– Подождите, – остановил его Хантер. – Выруливать поздно.

Все произошло слишком быстро для того, чтобы сообразить и принять хоть какое-то решение. Самолет с красной звездой на киле уже сошел с посадочной полосы и рулил прямо к командному пункту на такой скорости, как будто собирался идти на таран. А к нему с разных сторон неслись автомобили всех аэродромных служб: пожарная, «Скорая помощь» и джип военной полиции.

Когда майоры Хантер и Погарек выскочили из своей будки, один из советских летчиков уже заглушил двигатель и спрыгнул с крыла на траву, а другой замешкался. На всякий случай, чтоб он не вздумал взлететь, джип военной полиции стал перед носом самолета поперек. Шесть солдат с буквами «МР» на касках высыпали из джипа и взяли оружие на изготовку. Летчик был лет сорока с небольшим, в синих галифе и кожаной куртке бордового цвета. Под наполовину расстегнутой курткой виднелась гимнастерка, украшенная Золотой Звездой Героя Советского Союза.

Когда Хантер и Погарек к нему приблизились, советский летчик отдал им честь и спросил первого:

– Майор Хантер?

– Хантер Младший, – поправил Билл с таким достоинством, как будто был старшим. – А вы полковник Опаликов?

Летчики той и другой стороны, переговариваясь по радио, обозначали себя номерами, но командиры американской и советской частей знали друг друга по фамилиям.

– Что вам случилось? – спросил по-русски Погарек.

– Ай сик, – ответил Опаликов по-английски.

– Ю ар сик? – переспросил Погарек и перешел на русский: – Вы хотите рассказывать, что вы болной?

– Ноу, – возразил полковник. – Ай эм сикинг фор политикал эсайлем. Ищу политического убежища.

Американцы переглянулись, подумали. Хантер сказал:

– Давайте пройдем сюда.

И скрылись в помещении командного пункта. Чонкина с собой не позвали. Он остался у самолета и, не зная что делать, решил его охранять. Хотя какая охрана без оружия? Тем не менее он занял позицию между воздушным винтом и полицейским джипом. Между ним и джипом шесть крупных американцев с буквами «MP» на касках стояли, направив на него автоматы, но он смело смотрел на них и сдаваться не собирался.

В это время к месту происшествия подкатила запряженная парой лошадей телега с черным солдатом на облучке. Этому солдату здесь делать было явно нечего, его сюда привело праздное любопытство.

– Эй, Джон! – увидев его, оживился Чонкин. – Здорово! Как вообще жизнь-то?

Побитой собакой явился Лаврентий Павлович к Иосифу Виссарионовичу. Еще от самых ворот он снял свою шляпу и на ходу, согнувшись в три погибели, обмахивал ею лысину, не потому, что было невыносимо жарко, а потому, что в эти движения он вкладывал какой-то покаянный и самоуничижительный смысл.

– Ты почему один? – спросил его сурово Иосиф Виссарионович. – Разве я тебя одного приглашал?

– Коба, дорогой! – воззвал Берия плачущим голосом. – Произошло непредвиденное. Этот летчик, который должен был доставить нашего князя, оказался предателем. Он оказался такая сволочь, что ты даже не можешь себе представить. Вай-вай-вай! – Берия качал головой и закатывал глазки, показывая своему собеседнику, что он слишком чист и доверчив, чтобы вообразить себе, какая сволочь этот проклятый летчик. – Ты представляешь, истребитель, полковник. Герой Советского Союза. Племянник нашего крупного ученого академика – и предатель.

– Какого академика? – поинтересовался Сталин.

– Знаешь, такой был Григорий Гром-Гримэйло.

– Гром-Гримэйло? – нахмурился Сталин. – Он племянник Грома-Гримэйло, и ты его упустил? Да ты не дрожи, как собака, я тебя пока не убиваю. Пока. – Он сел на скамейку, сцепил на животе пальцы, вялые, как сосиски. – Рассказывай!

Берия рядом сесть не решился и рассказывал стоя. Рассказал, как полковник Опаликов перелетел в американскую зону и попросил политического убежища.

– Чем он объяснил свое желание?

– Недовольством внутренней политикой СССР.

– А, – Сталина это сообщение почему-то успокоило. – Недовольство, это ладно. Я тоже недоволен внутренней политикой СССР, да и внешней, пожалуй, тоже.

– Но на самом деле, – продолжил Берия, – как мне доложил начальник Смерша, Опаликов сделал это назло генералу Просяному, за то, что тот спал с его женой.

– Ну, это тоже понятно, – благодушно сказал Сталин. – Я бы тоже сбежал в таком случае. Хотя нет, в таком случае я сначала застрелил бы жену и генерала Просяного, а потом сбежал. Кстати, этого генерала снять с должности и разжаловать. А что, скажи мне, этот Опаликов никакой третьей причины своего бегства не выдвигал?

– Да как будто нет, – сказал Берия.

– Ага, ну и ладно. Теперь скажи мне про князя Голицына. Он тоже сбежал?

– Нет, Коба, он не сбежал. Он оказался беглецом против воли. Полковник Опаликов должен был доставить его к тебе, а на самом деле перевез в американскую зону.

– Но он там остался?

– Он остался. Но, дорогой Коба, он не стоит твоих переживаний. Мои люди выяснили, что он никакой не князь, а просто рядовой солдатик, которого когда-то прозвали князем. На самом деле он всю жизнь работал на конюшне то конюхом, то ездовым. Причем солдат он очень нелепый, повод для постоянных шуток.

– А как его фамилия, этого нелепого?

– Да я точно не помню. Как-то на букву «ч».

– Уж не Чонкин ли? – спросил Сталин, вспомнив о герое, за которого он когда-то пил с генералом Дрыновым.

– Да-а-а, – сказал Берия, очень сильно удивившись. – А ты его знаешь? Верховный главнокомандующий знает по имени каждого из своих солдат. Коба, не сочти за лесть, но ты гений.

– Я-то, может быть, и гений, а вот кто ты, я не знаю. Почему, что тебе ни поручишь, все у тебя как-то не так получается? Вот что, дорогой друг, ты мне этого Чонкина все же доставь. Я тебе даю три месяца. Четыре. Пять. Если через полгода он не будет стоять здесь, вот на этом месте, ты будешь лежать в гробу. Ты понял меня, Лаврентий? Ты знаешь, Лаврентий, что я слов на ветер не бросаю. Все. Аудиенция закончена. Ты мне надоел. Проваливай и не забудь того, что я тебе сказал.

Разумеется, побег двух советских военнослужащих на секретном самолете новой конструкции вызвал трения между советскими и американскими властями, которые пока делали вид, что они все еще союзники. Поскольку они все еще делали вид, Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС) выпустило сначала сравнительно мягкое заявление, которое начиналось со слов «как известно». Это агентство имело обыкновение все свои сердитые международные заявления начинать словами «как известно» именно в тех случаях, когда речь шла о том, что никому известно не было. «Как известно, – заявило ТАСС, – на днях самолет советских ВВС по техническим причинам совершил вынужденную посадку на военном аэродроме Айхендорф в американской зоне оккупации Германии. Экипаж самолета состоит из двух человек – командира экипажа полковника Опаликова С.П. и стрелка-радиста Чонкина И.В. Советское правительство надеется, что американские власти, действуя в духе союзничества, не будут чинить препятствий к возвращению самолета и экипажа советской стороне».

Само собой разумеется, что надежда, которую выражали авторы заявления, была совсем иллюзорной. Было ясно, что американцы ни самолет, ни экипаж не отдадут. Поэтому резиденты советской разведки в Америке, Германии и других западных странах получили шифрованный приказ: бывших советских военнослужащих Опаликова и Чонкина разыскать. Опаликова ликвидировать, Чонкина взять живым и доставить на советскую территорию. Приказ подписал товарищ Лаврентьев (это был псевдоним Лаврентия Бери).

Прочтя заявление ТАСС, американцы все же задумались. Портить отношения с Советами не хотелось, поэтому возможность выдачи перебежчиков не исключалась, но уж больно любопытно было узнать, что это за новый штурмовик «Ил-10», чем он отличается от старого «Ил-2» и что собой представляет установленная на нем сверхсекретная навигационная аппаратура и совсем уж новейшая система распознавания встречных самолетов «свой – чужой». Кроме того, полковник Опаликов показал на допросе, что полет выполнялся по особому заданию Сталина и что Чонкин вовсе не стрелок-радист, а просто ездовой, то есть ездит на лошади, а зачем он мог бы понадобиться Сталину, полковник не может себе даже представить. Ясное дело, американцам важно было узнать, для какого дела мог понадобиться этот «просто ездовой» (они эти слова брали в кавычки) Дядюшке Джо на самом деле.

Тем временем в жилищах перебежчиков советские Те Кому Надо произвели обыск. В тумбочке Чонкина было обнаружено его письмо неизвестной женщине по имени Ньюра. Изучение письма не привело ни к каким догадкам, а отсутствие адреса не дало возможности отыскать эту самую Ньюру. Зато в квартире Опаликова было найдено достаточно доказательств продуманности его поступка. Главной уликой были учебник английского языка для начинающих и конспект к нему, в котором, кроме прочего, были такие фразы: «I am a Hero of the Soviet Union colonel Opalikov. I am seeking for political asylum. I hate the Soviet system. I love the American Government and personally President Truman». В отдельной папочке хранились какие-то вырезки из научно-популярных журналов. Одна содержала краткую биографию генерала Пржевальского с его портретом, очень похожим на Сталина. На статью «Миф о кентаврах» следователи обратили внимание только потому, что на полях ее почерком Опаликова было начертано: «Была блядью, ей и осталась». Допрошенная жена полковника показала, что о планах мужа ничего не знала, не ведала, никаких подозрительных приготовлений не замечала, потому что их отношения в последнее время настолько испортились, что они были практически чужими людьми».

Тем не менее Надежда Опаликова, в полном соответствии с законами тогдашнего времени, за связь с изменником родины была осуждена и получила пять лет ссылки в отдаленные районы Сибири. Был наказан и Василий Просяной. За утрату бдительности и за связь с женой изменника родины он был разжалован из генералов в полковники и направлен в Туркменистан заместителем командира дивизии по летной части.

Опаликова и Чонкина американцы переодели в штатское (брюки и куртку цвета хаки) и временно поселили в небольшом флигеле при солдатских казармах. Флигель разделялся на две части и имел отдельные выходы на разные стороны, чтобы охраняемые лица не могли вступать в контакт друг с другом. Там они жили, каждый имея отдельную комнату с душем и унитазом. Ухаживал за ними Джон, давнишний знакомый Чонкина. Кормили их порознь: Опаликова в офицерской, а Чонкина в солдатской столовой, но только после того, как ее покидали главные едоки – американцы.

Первые дни Чонкина никто не трогал: американцы были заняты Опаликовым. Но дошла очередь и до него. Сырым теплым утром под охраной двух черных гвардейцев он был доставлен на занятую резидентурой американской разведки старую виллу под старыми липами на улице Шпигельштрассе. Вилла находилась за забором из ажурного железа с воротами и калиткой. Один из чонкинских конвоиров нажал кнопку звонка, и из скрытого радиоустройства скрипучий и тихий голос что-то спросил, конвоир, пригнувшись, что-то ответил, калитка с журчащим звуком тут же открылась, и одновременно распахнулась тяжелая дверь виллы. В двери появился невысокого роста, упитанный господин в костюме-тройке, с золотой цепочкой на круглом животе. С радостной улыбкой он скатился с крыльца, сделал шаг навстречу Чонкину, протянул ему обе руки и заговорил на сравнительно неплохом русском языке, но странным образом шепелявя:

– Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Иван Васильевич! Ужасно шчастлив вас видеть.

Он взял Чонкина под руку, как желанную женщину. Вместе взошли они на высокое замшелое крыльцо и скрылись внутри дома, оставив конвоиров снаружи. Попали в просторный холл, где были какие-то шкафы, сервант с посудой, низкий большого диаметра круглый стол и четыре кресла зеленой кожи вокруг.

Хозяин подвел Чонкина к одному из кресел и положил руку на левое плечо, приглашая сесть.

– Присаживайтесь, присаживайтесь, почувствуйте себя как дома. – Чонкин послушно плюхнулся в кресло, которое показалось ему слишком мягким и неудобным. Он привык сидеть на чем-нибудь потверже: на табуретке, облучке или снарядном ящике. А тут задница провалилась и ноги задрались вверх. Он некоторое время побарахтался, принимая более естественное для себя положение.

Хозяин уселся напротив и чувствовал себя хорошо. Впрочем, он всегда и во всех положениях чувствовал себя прекрасно, может быть, потому, что был прирожденным шпионом и умел немедленно приспособливаться к любым условиям. Был он американец во втором поколении, еврейско-венгерского происхождения. Пренная его фамилия была Перельмутер, которую еще его отец, торговец меховыми изделиями, по распространенному среди американцев обычаю сократил до приятного уху звучания.

– Я – полковник американской армии Джордж Перл, – хозяин виллы представился, улыбаясь странной улыбкой, которая возникала, пропадала и вновь возникала. – Джордж Перл, – повторил он, – но русские меня обычно зовут Георгий Иванович. Хотите что-нибудь выпить?

Вопрос был излишним. Выпить Чонкин готов был всегда, что он и выразил неопределенным движением подбородка и глотательной конвульсией кадыка.

Видимо, мягкое кресло оказалось не самым удобным даже для Георгия Ивановича, потому что, прежде чем встать, он перевернулся на живот, уперся руками в толстый, упругий валик и, оттолкнувшись от него, в конце концов оказался на ногах и сделал движение руками, как будто стряхивал пыль. После этого подошел к серванту, открыл одну из створок, за створкой оказался двухуровневый бар: вверху стаканы, бокалы и рюмки, а внизу десятки бутылок разного цвета с яркими этикетками.

– Что хотите? – предложил выбор Георгий Иванович. – Виски американский, шотландский, мадера, вермут, кальвадос, кампари, перно. Мне полковник Опаликов говорил, что русские авиаторы предпочитают всему амортизационную жидкость, извините, такого пока не держим, но могу заказать.

Из предложенного ассортимента Чонкин выбрал единственный напиток, о котором что-то слышал, – виски.

– Скотч или бурбон? Если никогда не пили, советую скотч.

Чонкин согласился на скотч.

– Чистый, с водой или со льдом?

Чонкин согласился на чистый. Себе Перл сделал виски с содовой и со льдом. Позвонил в стоявший на столе бронзовый колокольчик. Сбоку из потаенной двери появилась черная девушка с подносом, на котором были свежий виноград, бананы, мандарины и стояла вазочка с жареным арахисом. Слепила Чонкина белозубой улыбкой, поставила поднос на стол и ушла, вихляя выпуклой попкой. Чонкин проводил ее долгим взглядом. Перл перехватил его взгляд и усмехнулся:

– Что, Иван Васильевич, с негритянками спать не приходилось?

– Неа, – признался Чонкин, – не приходилось.

– Зря, – сказал Перл. – Очень, знаете ли, темпераментные женщины. Если хотите, можно устроить.

Чонкин ничего не ответил, но изобразил гримасу, означающую, очевидно, что он застеснялся, хотя было бы интересно.

– Все можно устроить, – повторил Перл. – Если будете себя хорошо вести.

Он поставил свой стакан на ладонь левой руки и придерживал пальцами правой. Пальцы у него были белые, вялые, с хорошо ухоженными ногтями. Безымянный был украшен крупным перстнем с черным камнем. Перл поднес свой стакан ко рту, но виски стал пить не залпом, а лишь чуть-чуть отхлебнул, и Чонкин, чтобы не показаться совсем дикарем, сделал то же самое.

Перл рассматривал Чонкина сквозь стакан и думал, с чего бы начать допрос. Начальство Перла, получившее от него отчет о допросе Опаликова, хотело бы понять, кто такой Чонкин и зачем он мог понадобиться генералиссимусу Сталину? На всякий случай в штабе американской разведки разными людьми были высказаны и затем суммированы предположения, что, может быть, Чонкин на самом деле не Чонкин, а скрывающийся под этим именем и отысканный советскими службами сын Сталина Яков Джугашвили. Или кто-нибудь из пустившихся в бега видных нацистов. Уфология в то время не была еще развита или вовсе не существовала, но уже был слух, что где-то в советской зоне оккупации, точнее, около Дрездена, однажды ночью приземлилось нечто, ни на что не похожее или похожее на большую лепешку, отсюда возникла кратковременная гипотеза: уж не

инопланетянин ли этот Чонкин? А некий политический аналитик с польской фамилией и вовсе выдвинул фантастическое предположение. Он сказал, что Сталин, вероятно, огорченный тем, что его дочь Светлана выбирает себе любовников исключительно из евреев, решил выдать ее замуж за чисто русского человека, и на роль такого жениха не нашлось кандидатуры лучше, чем Чонкин. Будь это на самом деле так, автор сам за эту ниточку охотно ухватился бы, потому что тут какой сказочный поворот сюжета забрезжил: Иванушка-дурачок женится на принцессе! Но автор, будучи последовательным и неуклонным приверженцем реалистической школы, эту версию решительно отверг, да и данными двух разведок, советской и американской, она в конце концов была опровергнута.

Итак, Чонкин сидел напротив полковника Перла, Перл сидел, смотрел на него сквозь стакан и усмехался. Ни одна из предложенных версий не казалась ему сколько-нибудь правдоподобной, и он все еще не придумал, как вести допрос и чего добиваться от допрашиваемого.

– Курить хотите? – спросил он неожиданно.

Чонкин был не против и покурить. Тут же перед ним оказалась раскрытая пачка с изображением верблюда, зажигалка с тем же животным и пепельница с ним же. Перл достал из кармана пиджака деревянную коробочку, из нее извлек толстую сигару и ножик. Обрезал сигару с двух сторон и прикурил от спички. Почмокал толстыми губами и выпустил облако дыма, за которым лицо его на мгновение скрылось.

– Ну что? – вынырнул он из облака и улыбнулся своей странной улыбкой. – А вообще, как живете, Иван Васильевич?

Чонкин движением губ, вращением глаз и приподнятием плеч показал, что живет в общем неплохо, спасибо, никогда так не жил: один в светлой комнате с пружинной кроватью, с мягким матрасом, с отдельным сортиром и душем и с трехразовым питанием.

– Ностальгией не страдаете?

Решив, что речь о чем-то, связанном с носом, Чонкин ответил, что насморк имеется.

– Ну да, да-да, – охотно закивал Георгий Иванович. – Для некоторых ностальгия, как насморк, возникает, но быстро проходит, для других, как писала Марина Ивановна: тоска по родине – давно разоблаченная морока. Но это все лирика, Иван Васильевич, а меня

интересуют не совсем лирические вопросы. Я уверен, что вы мне сразу все расскажете без малюшечей утайки. Я очень надеюсь, что вы не будете со мной хитрить, играть в мышки-котики, прикидываться простачком-дурачком, потому что это просто-напросто юслесс, то есть бесполезно. Так вот, я задаю вам первый и наиболее существенный для меня вопрос: кто вы, господин Чонкин?

Произнеся эту странную фразу, Перл впился в лицо Чонкину цепким, немигающим взглядом, и собственное его лицо сразу стало жестким, не улыбочивым, недружелюбным. Резкость перемены Чонкина так удивила, что он ответно вытаращился на Перла и тоже смотрел в глаза его, не мигая. Причем в этой игре в гляделки он оказался сильнее. Потому что Перл изображал из себя беспощадную суровость военного человека, а Чонкин ничего не изображал. Он просто был удивлен вопросом и ждал продолжения. Гляделки в молчаливом варианте Перл проиграл и потому, подбодряя самого себя, повторил свой вопрос более нервно:

– Так я вас спрашиваю: кто вы, Чонкин?

Чонкин вздохнул.

Его уже не первый раз в жизни спрашивали о чем-то подобном и требовали отвечать прямо, не лукавя и не увиливая, но опыт не прибавил ему умения находить правильные ответы. В очередной раз он растерялся, но стал объяснять:

– Да кто ж я, ну, кто же? Ну, Чонкин же.

– Чонкин? – переспросил Перл. – Просто Чонкин и больше никто? Не зная, что ответить, Чонкин пожал плечами.

– Хорошо. Но тогда скажите мне, для какой цели вас вызвал к себе генералиссимус Сталин?

Чонкин повторил предыдущий ответ тем же движением плеч.

– Ну как это так? – недоумевал Перл. – Допустим даже, что вы не знаете. Но у вас же могут быть какие-нибудь предположения. Подумайте сами, чем вы могли быть полезны Сталину. Ну что? Есть у вас в голове хоть какая-нибудь догадка? Чего он от вас хотел?

– Да откуда ж мне знать, чего он хотел?! – горячо возразил Чонкин. – Как я могу знать? Я ж его не знаю. Я его только на портретах видал, а на личность никогда.

Чонкин говорил искренне, и ответы его казались Джорджу Перлу вполне убедительными. Но все-таки, все-таки, все-таки, был же чем-то

вызван интерес Сталина к этому Чонкину, и не может быть, чтобы у него самого не было мыслей по этому поводу.

Первый допрос окончился для Чонкина более чем благополучно. Его не только напоили виски, но еще в соседней комнате покормили обедом. Шикарным. Они сидели за столом, покрытым накрахмаленной скатертью, с такой же хрустящей салфеткой за воротом. И прислуживала ему и Георгию Ивановичу Джессика, та самая негритянка, которую обещал Чонкину Перл, намекая на то, что обещает не за красивые глаза, а за откровенность, которой пока что в словах Чонкина он, кажется, не обнаружил.

Во второй половине дня Чонкина, хорошо накормленного и слегка пьяноватого, увезли туда, где он жил. А утром опять привезли к господину Перлу. Чонкин ожидал, что опять все начнется с угощения, с виски и всего остального, такие допросы готов он был терпеть сколько угодно, хоть всю жизнь. Но на этот раз господин Перл встретил его хмуро, держался как чужой, никакого виски не предлагал, говорил жестко, с угрозами, намекал приблизительно так:

– Некоторые думают, что мы, американцы, свободолюбивые, демократичные, гуманные, то есть слишком добрые. Увы. Мы были очень добрыми, но увидели, что мир вокруг нас жесток и не приветлив. Мы это учли. Мы и у немцев кое-чему научились. – Последняя фраза была неприкрытой угрозой, но осталась Чонкиным незамеченной, потому что он понял ее так, что у немцев Перл научился немецкому языку.

Следует объяснить, что перемена в настроении Перла была не случайной, а глубоко продуманной и соответствующей концепции двух следователей – злого и доброго. Злой сначала кричит на подследственного, угрожает ему разными недозволенными методами воздействия, а иногда и воздействует. Подследственный пугается, озлобляется, замыкается. Потом приходит добрый. Подследственный расслабляется и открывает ему душу. Так вот Перл был добрый и злой в одном лице. Он уже со многими допрашиваемыми им людьми так работал, и небезуспешно. Сегодня добрый, завтра злой, послезавтра опять добрый. Так он вел себя и с Чонкиным. Один день, будучи добрым, поил Чонкина, кормил, угощал сигаретами, обещал соединить с Джессикой, показывал порнографические открытки, где

изображались другие девушки и, по обещанию Перла, могли быть Чонкину доступны живьем. А на другой день был зол, неприступен, ничем не угощал и страшал невероятными карами. В один из дней, когда был зол, подверг Чонкина испытанию на детекторе лжи.

Чонкин испытание прошел легко, но Перла эта легкость ни в чем не убедила. Из опыта своей работы с советскими шпионами и перебежчиками он понял, что они, выросшие во лжи с пеленок, могут обмануть любой детектор без малейшего напряжения. Напротив, как только они пытаются сказать правду, детектор немедленно перегревается и выходит из строя. Разумеется, поиски истины не ограничивались допросами, проводимыми Георгием Ивановичем. Ответ на вопрос, кто такой Чонкин, искали по поручению Перла десятки тайных агентов американской разведки. Ими были найдены некоторые факты из прошлой жизни Чонкина. В частности, материалы состоявшегося в начале войны суда над Чонкиным, где утверждалось, что под этим именем скрывался князь Голицын. Джордж Перл очень обрадовался такому открытию, но оно было вскоре опровергнуто настоящим князем Вадимом Анатольевичем Голицыным. Князь, освобожденный американцами из Берлинского зоопарка, показал, что он лично знаком с Чонкиным, делил с ним одно и то же жилище в лесу, знает легенду, приписывающую ему княжеское происхождение, и знает происхождение самой легенды. Она произошла от факта, что у матери Чонкина еще во время Гражданской войны квартировал некий поручик Голицын, из чего потом досужими сплетниками были сделаны определенные выводы. Но дело в том, что тем поручиком был двоюродный брат Вадима Анатольевича Сергей, который никак не мог быть отцом Чонкина. Это исключалось ранением, полученным им на фронте. Косвенно сказанное Вадимом Голицыным подтвердил бывший советский председатель военного трибунала полковник Добренький. Он был обнаружен после Победы в армии генерала Власова, затем передан советским властям и повешен. Но пока его не выдали, он старался угодить американцам. Добренький показал, что дело Чонкина было целиком дутое, выдуманное от начала до конца прокурором Евпраксеиным, и княжеское происхождение Чонкина никакими фактами подтверждено не было. Достоверно было только то, что Чонкин до войны, во время и сразу после служил при конюшне. На этом настаивал полковник Опаликов, и его слова подтверждал

неожиданный свидетель с американской стороны – тот самый Джон, с которым Чонкин переговаривался через речку и который теперь был приставлен к Чонкину кем-то вроде горничной.

В конце концов у Георгия Ивановича не осталось никаких сомнений в том, что Чонкин есть Чонкин, простой деревенский парень, ездовой, конюх и никто больше. Но все-таки мистера Перла мучила неразгаданная загадка, и он время от времени, уже не на допросах, а так, в дружеских, можно сказать, беседах предлагал Чонкину подумать, для чего все-таки он мог понадобиться Сталину. А что Чонкин мог сказать? Ничего. Он долго и добросовестно думал, но ничего не придумал умнее догадки (сам понимая меру ее нелепости), что, может быть, в Кремле нужен кто-то, кто может ухаживать за лошадьми.

Предположение Чонкина очень насмешило мистера Перла. Но полковнику Опаликову оно таким смешным не показалось. Вполне возможно, сказал он Перлу, Сталину понадобился квалифицированный конюх, каковым Чонкина можно было с некоей натяжкой назвать.

– Зачем? – недоумевал Перл. – Зачем вашему Сталину нужен конюх? Если ему нужен конюх, он может сделать конюхом маршала Буденного.

– Остроумно, – оценил Опаликов, – но мои рассуждения основаны на предпосылке, которую я вам сейчас объяснять не буду, потому что вы не поймете.

– Почему же я этого не пойму? – почти обиделся Перл. – Я, как мне кажется, не так уж глуп. Если бы я был очень глуп, меня вряд ли взяли бы работать в разведку.

На это Опаликов ничего не ответил, но внутренне усмехнулся. Ему в жизни уже приходилось встречать советских, а теперь несоветских разведчиков и контрразведчиков, и об уме каждого из них он был невысокого мнения. Тем не менее именно Джорджу Перлу Опаликов сообщил, что желает выступить перед американскими военными и мировой общественностью с сообщением, которое всех поразит.

– Что же это может быть за сенсационное сообщение?

– Именно сенсационное, – подтвердил Опаликов. – Но я о нем вам пока никаких подробностей сообщить не могу.

– Да? Почему же?

– Потому, что вам оно покажется чепухой, и ваша секретная служба это открытие положит под сукно или, того хуже, так засекретит, что про него никто не узнает.

– А вы хотите, чтобы кто узнал? – спросил Перл.

– Я, – твердо сказал Опаликов, – хочу, чтоб узнали все. Весь мир.

– Это невозможно, – возразил Перл. – Прежде чем обнародовать ваше открытие...

– Оно не мое.

– Тем более. Прежде чем обнародовать его, мы должны сами его изучить, провести экспертизу и решить, стоит ли предавать его

гласности.

– Оно стоит того, – решительно сказал Опаликов. – Я предам его гласности с вами или без вас.

– Ваша воля, – согласился Перл. – Но все-таки, если вы рассчитываете на нашу помощь, не можете ли вы сказать, о чем оно, чего касается?

– Хорошо, – согласился Опаликов, – намекну. Оно касается загадочного происхождения Иосифа Сталина...

– Вот оно что! – Перл откинулся на спинку стула и заложил руки за голову. – А что же в происхождении вашего Сталина загадочного? Всем известно, что он – сын сапожника и простой грузинской женщины... забыл, как зовут.

– Это вы так думаете.

– Это все знают.

– А вот я знаю об этом что-то такое, что, уверяю вас, потрясет весь мир.

Разумеется, мистер Перл не очень поверил в серьезность тайны, которую собрался открыть человечеству бывший советский полковник. Перла интересовали не какие-то сногсшибательные и сенсационные разоблачения, а обыкновенные военные секреты, доступные полковнику, то есть номер части, количество самолетов, их конструкция, скорость, грузоподъемность, бомбовая нагрузка, вооружение, навигационное оборудование. Такие простые вещи интересовали разведчика полковника Джорджа Перл, и на свои вопросы по этому поводу он получил исчерпывающие ответы. А происхождение советского диктатора, может быть, возбуждало чье-нибудь любопытство, но для разведки никакого интереса не представляло.

По роду своей деятельности Перл встречал в жизни много самых разных людей, в том числе и сумасшедших, носившихся со своими открытиями и изобретениями, начиная с вечного двигателя и кончая им же. Однако Опаликов на сумасшедшего не был похож, и потому, после некоторых сомнений, Перл послал отчет о своем разговоре с полковником в Вашингтон мистери Алесу Даллесу. И через какое-то время получил добро на проведение посвященной сообщению Опаликова большой пресс-конференции с привлечением журналистов от главных и неглавных западных газет, с приглашением ученых

биологов, тогда еще не называвшихся генетиками, но уже занимавшихся вопросами наследственности.

Не дождавшись реакции американских властей, ТАСС сделало более серьезное заявление, где уже совсем не в дружеском тоне говорилось о насильственном удержании самолета и экипажа. Американский посол в Москве Джордж Кеннан был вызван в министерство иностранных дел, где ему вручили ноту протеста. Скандал обе стороны старались не раздувать, но напряженность между США и СССР возникла настолько серьезная, что на Потсдамской конференции лично товарищ Сталин обратился лично к президенту Соединенных Штатов господину Гарри Трумэну с просьбой вернуть Советскому Союзу тот самолет с экипажем.

Разговор этот, нигде не зафиксированный, состоялся при таких приблизительно обстоятельствах. Во время перерыва в заседаниях конференции, называемого американцами кофе-брейк, Гарри Трумэн подошел со своей чашечкой эспрессо к Иосифу Сталину и предложил ему прогуляться по парку, прилегавшему к дворцу, где проходила эта самая конференция. Сталин охотно согласился. Они вышли в парк, где в теплой погоде росли невысокие сосны, цвели розы, бегали белки и летали бабочки. Здесь Трумэн взял своего коллегу под локоток и сказал:

– Маршал Сталин, у меня есть к вам небольшой разговор, который, как мне кажется, не должен вам быть неприятен.

– Что вы, что вы! – заверил Сталин. – Общение с таким великим человеком, как вы, доставляет мне такое удовольствие, которое никакая неприятная тема не может уменьшить.

– От всей души благодарю вас, – Трумэн приложил руку к сердцу. – То же самое, господин маршал, могу сказать и о вас. Но разговор у меня вот о чем. На последнем заседании я с огромной благодарностью выслушал ваше заявление о готовности помочь нам в разгроме японских милитаристов. Это было очень трогательно. Но я думаю, что на данном этапе ваше вступление в войну с японским монстром необязательно. Ваша страна и так понесла чудовищные потери в войне с Германией. Вам предстоит большая работа по восстановлению послевоенной разрухи. Зачем вам лишние жертвы?

Сталин выслушал коллегу с мягкой улыбкой и почтительным наклоном головы.

– Вы совершенно правы, – сказал он, – наши потери в войне были, прямо скажем, чудовищны, но мы, русские люди, ценим фронтовое братство и союзнические обязательства, мы ради своих союзников готовы и на большее.

Трумэн обратил внимание на слова «мы, русские люди» и немного удивился, поскольку слышал от покойного Рузвельта, что Сталин грузин. Но возражения Сталина его не удивили. Он понимал, что дело не в братстве и не в союзнических обязательствах, а в желании Сталина принять участие в заключительном этапе войны с Японией. Не из стремления помочь союзникам, а чтобы успеть урвать и свой кусок пирога.

«Да, – думал Сталин, – мы вам свой кусок пирога не уступим». И представил себе пирог в виде карты собственно Японии с контролируемыми ею территориями, с Маньчжурией, Порт-Артуром, Курильскими островами и половиной острова Сахалин, отобранной у России в 1905 году. Разумеется, Сталин понимал, что имеет в виду Трумэн, отговаривая его от вступления в войну, и Трумэн понимал, что имеет в виду Сталин, настаивая на вступлении, тем не менее разговор у них продолжился.

– Поверьте, дорогой маршал, я очень ценю ваше благородство и готовность вашего народа к новым жертвам, но в них в данный момент нет необходимости. Я, между прочим, хочу по секрету поделиться с вами одной новостью, которая вам, может быть, покажется любопытной.

– Интересно, – сказал Сталин. – Мне кажется, я человек информированный и знаю все новости, которые стоят того, чтобы их знать.

– Надеюсь, эту новость вы еще не знаете, – усмехнулся Трумэн. – Не буду вас томить и скажу сразу: наши ученые изобрели и создали оружие огромной разрушительной силы, это оружие на днях будет применено против Японии, после чего Япония, я вас уверяю, будет немедленно поставлена на колени. Поэтому ваши жертвы будут просто напрасны. Что вы об этом думаете?

– Я думаю, – сказал Сталин, расстегивая верхнюю пуговицу суконного кителя, – что становится жарко, и давайте, может быть,

пройдем по той аллее, там больше тени.

– Хорошо, – согласился Трумэн и пошутил: – Видите, я ваши предложения принимаю безоговорочно.

Оба посмеялись, после чего Сталин сказал, что у него тоже есть маленькая просьба, настолько маленькая, что ему, фактическому главе государства, даже неудобно просить главу другого государства, но...

– Вам, наверное, докладывали, что один советский самолет совершил вынужденную посадку на американском аэродроме.

Трумэн, конечно, соврал, что он ничего об этом не слышал. Сталин, естественно, ему не поверил, но вынужден был сделать вид, что верит, и вкратце рассказал историю, согласно которой советский самолет «Ил-10» совершенно случайно заблудился в воздухе и совершил вынужденную посадку на американском аэродроме. Американские власти незаконно удерживают самолет, летчика и стрелка-радиста, так вот нельзя ли в это дело вмешаться и вернуть на родину самолет вместе с экипажем?

– Хорошо-хорошо, – пообещал Трумэн, – я прикажу с этим делом разобраться, но теперь я вспоминаю, что я об этом что-то все-таки слышал. Я помню, мне говорили, что самолет ваш, господин маршал, не заблудился и не мог заблудиться, потому что просто перелетел через узкую речку, а ваш летчик как будто, как мне докладывали, попросил у наших властей политического убежища.

– Ну и что? – сказал Сталин. – Мало ли кто у кого чего попросит. А вы ему откажите.

Трумэн остановился и взял Сталина за пуговицу френча. Очень фамильярно. Сталину это не понравилось. С ним никто так не позволял себе обращаться. Даже Черчилль.

– Маршал Сталин, – сказал Трумэн взволнованно. – Поймите меня правильно. Я не могу выполнить вашу просьбу.

– Не трогайте мою пуговицу! – вскрикнул Сталин и всхрапнул от негодования. Трумэн испуганно отшатнулся. Он слышал, ему Аллен Даллес докладывал, что у Сталина есть странная привычка: в приступе крайнего негодования он, бывает, всхрапывает, как лошадь.

– Сядьте, – Сталин взял себя в руки и указал собеседнику на ближнюю скамейку, – успокойтесь и подумайте, что вы говорите. Просьбу летчика вы исполняете, а мою не можете?! А кто он такой?!

– Он, – сказал Трумэн, – ваш полковник. Герой Советского Союза!

– Ну и что? Я тоже Герой Советского Союза. А что, если я попрошу у вас политического убежища?

– Вы? – Трумэн растерялся и даже слегка вспотел от такого предположения, хотя понимал, что оно сделано не всерьез. Правда, как всякий наивный американец (а все американцы, включая даже президентов, наивны), он был уверен, что все неамериканцы хотели бы стать американцами и стали бы, если бы у них образовалась такая возможность. И маршал Сталин, разумеется, тоже хотел бы стать американцем, но у него такой возможности нет, потому что у него осталось бы в России двое детей. Но все-таки...

– Если бы вы попросили о политическом убежище, – сказал Трумэн с улыбкой, дающей понять, что это всего лишь шутка, – ваша просьба, вероятно, была бы рассмотрена вне всякой очереди.

– Не сомневаюсь, – согласился Сталин без всяких шуток, – но я патриот и родину свою на ваши гамбургеры не променяю. А полковник Опаликов – предатель. Вы, американцы, очень любите предателей и перебежчиков на вашу сторону. Вы не понимаете, что предательство никогда нельзя поощрять. Человек, предавший свою родину, чужую предаст тем более. Ну, хорошо, ладно. Забирайте этого предателя себе, можете оставить себе даже и самолет, но уж стрелка-радиста, я вас очень прошу, верните.

Трумэн сказал, что самолет он как раз охотно вернет, а что касается стрелка, или как он там называется, он хотя политического убежища не просил, но как будто тоже не рвется обратно. Сталин стал опять заметно сердиться и всхрапывать: что, значит, рвется – не рвется, вас просят отдать, так отдайте. Трумэн извинялся, прикладывая руку к сердцу, объяснял, что конституция Соединенных Штатов не позволяет ему лишить человека права на политическое убежище. А если он нарушит конституцию, то в дело вмешается Конгресс.

– Представьте себе, – сказал Трумэн, – вы нарушили вашу конституцию, что сделал бы с вами в подобном случае ваш Верховный Совет?

– Что сделал бы со мной Верховный Совет? – переспросил Сталин и, когда он представил, что сделал бы с ним Верховный Совет или что он сделал бы с Верховным Советом, начал так хохотать, так ржать почти что в буквальном смысле и дергать правой ногой, словно пытался кого-то лягнуть. Трумэн посмотрел на кремлевского

переводчика и тихо спросил, не нуждается ли маршал Сталин в медицинской помощи. На что переводчик холодно ответил, что здоровье товарища Сталина всегда бывает только отличным и медикам около него делать нечего.

В это время в замке, где происходила конференция, раздался громкий звонок, перерыв окончился, оба лидера поспешили в зал заседаний и там договорились о многом, но не о том, что обсуждали в парке. Тут они никакого согласия не достигли, поэтому сразу после заседания оба поспешили в свои резиденции, откуда президент Трумэн послал приказ военно-воздушным силам ускорить подготовку к сбросу атомной бомбы на Хиросиму, а маршал Сталин, в свою очередь, позвонил маршалу Малиновскому и приказал ему готовиться в спешном порядке к выступлению против японской Квантунской армии, которую следует разгромить, пока этого не сделали американцы.

Несмотря на все эти события Джордж Перл, он же Георгий Иванович, еще какое-то время возился с Чонкиным, но уже не допрашивал, а так – опекал. И странным образом к нему привязался. Ему столько пришлось общаться с людьми неискренними и лукавыми, что простой, бесхитростный и не имевший никаких задних мыслей Чонкин чем дальше, тем больше ему нравился.

Однажды, ближе к вечеру, Перл пришел к Чонкину с большим холщовым мешком. Высыпал содержимое на кровать. Там был новый гражданский костюм-двойка. Брюки и пиджак темно-серые, а еще были рубашка светлая, галстук вишневый и черные туфли. К брюкам – не ремень, а подтяжки. Перл велел немедленно переодеться. Чонкин даже и во сне представить себе не мог, что когда-то такую шикарную одежду ему к себе придется прилаживать. Его пальцы, много чего умевшие, долго возились с пуговицами, а что делать с подтяжками и галстуком, он и вовсе не знал. Пришлось звать на помощь Георгия Ивановича. Перл помог: подвел его к большому зеркалу в прихожей. Чонкин не поверил своим глазам, что отраженный в стекле элегантный молодой мужчина имеет прямое к нему отношение. Перл тоже был доволен:

– Ну, Ваня, ты прямо премьер-министр! Ну ладно, пойдем, нас ждут.

– Кто? – спросил Чонкин.

– Увидишь.

Перед домом стояла большая легковая машина с американским флагом на капоте. Перл открыл заднюю дверцу и впустил Чонкина. Сам зашел и сел с другой стороны. Сказал водителю:

– Летс гоу.

Въехали в город. Попетляли по каким-то улицам и остановились у большого серого здания с шершавыми стенами и двумя белыми колоннами у входа. Здесь стояла толпа журналистов, вооруженных фотоаппаратами. Журналисты, завидев вылезавшего из машины Чонкина, кинулись на него, как стервятники на добычу. Засверкали слепящие блицы, запахло горелым магнием. Чонкин отворачивался от одной вспышки и попадал под другую. Одновременно со вспышками на него посыпались вопросы по-английски, которых он не понимал, и по-русски, которые ему надоели:

– Мистер Чонкин, кто вы? Зачем вы нужны были генералиссимусу Сталину?

– Мистер Чонкин, что вы думаете о правах человека в Советском Союзе?

– Мистер Чонкин, вы будете просить политического убежища?

– Мистер Чонкин, являетесь ли вы членом коммунистической партии?

– Молчи! – шепотом велел Чонкину Перл. – Никому ни на что не отвечай.

Он шел первым, раздвигая толпу плечом, и тащил за собой Чонкина, как на буксире. Внутри, у входа в просторный вестибюль, два морских пехотинца требовали предъявить документы, открыть портфели и дамские сумочки. У Чонкина не было ни портфеля, ни дамской сумочки, а документы за него показал Перл.

Пробились в большой зал со сценой и рядами кресел, спускавшимся к ней. На креслах первого ряда лежали бумажки с надписями «Reserved». Перл две бумажки с кресел посередине убрал, усадил Чонкина и сам опустился рядом. Стол на сцене, покрытый красным сукном, с графином и четырьмя стаканами, напомнил Ивану его предвоенную армейскую службу, когда накануне 23 февраля, 1 мая, 7 ноября и 5 декабря их сгоняли в такой же примерно зал (только поменьше) для прослушивания очередного праздничного доклада. Там тоже был стол, покрытый красным сукном, и графин на столе, и трибуна рядом со столом, и два портрета – справа и слева от сцены. И здесь были два портрета. Только не Ленина и Сталина, как там, а Сталина и Сталина. Что Чонкина несколько удивило.

Он думал, что здесь Сталина не очень-то уважают. А оказывается, Ленина не уважают, ни одного портрета не вывесили, а Сталина уважают, да еще как! Вон с двух сторон прилепили, чтобы и тем, кто справа сидит, хорошо было видно, и тем, кто слева. Чтоб они головами зря на вертели.

Публику запустили, и она из двух задних дверей равными потоками растеклась по всему залу и заполнила его до отказа. Некоторым даже кресел не хватило, они расположились в проходах и на фальшивых подоконниках. А сцена все еще пустовала. Народ в зале стал уже нервничать, нетерпеливо перешептываться и хлопать в ладоши.

Вдруг вышли из-за кулис и стали в ряд за столом четыре человека: один в форме американского генерала и трое в штатском. Среди штатских Чонкин с трудом узнал стоявшего вторым после генерала полковника Опаликова. С трудом, потому что всегда видел Опаликова

только в военной форме с орденами или в летной кожаной куртке, и раньше не мог бы себе представить его в каком-нибудь другом облачении. В военном он выглядел солидным и крупным мужчиной, а в штатском – мелким и незначительным. Вышедшие к столу выдержали минутную паузу и сели, после чего сухопарый мужчина в сером костюме, бывший по левую руку от Опаликова, снова встал и обратился к залу:

– Господа, сейчас перед вами выступит господин Сергей Опаликов, бывший советский летчик, полковник, перелетевший, как вы знаете, на своем самолете из советской зоны оккупации на территорию, контролируемую союзными войсками. О чем он будет говорить, я не знаю, но надеюсь, что это не будет скучно. Пожалуйста, полковник.

Опаликов вышел из-за стола и встал за трибуну. Лицо его было бледным. Он явно волновался, что тоже удивило Чонкина. Чонкин думал, что такие большие люди никогда не волнуются, но Опаликов волновался. Наверное, если бы он был в своей военной форме со звездой Героя Советского Союза, он волновался бы меньше. Он долго перебирал на трибуне бумажки, и у него, видно было издалека, руки дрожали.

– Уважаемые господа, – начал Опаликов, и голос у него был не командный, как раньше, а тихий и слишком уж не военный. – Вы, очевидно, знаете, что недавно я на боевом самолете «Ил-10» вместе с солдатом Иваном Чонкиным перелетел из советской зоны оккупации Германии в американскую. Этот факт был многократно отражен в вашей западной прессе. Некоторые бульварные газеты, не найдя моему поступку логического объяснения, объявили на весь мир, что я это сделал, потому что моя жена спала с командующим нашей воздушной армией генералом Просяным. Это, господа, просто чушь. Моя жена спала со многими, и я спал не с ней одной, и столь чепуховый повод не мог стать причиной моего драматического решения. В конце концов, если жена спит с кем-то, проще сменить жену, чем родину.

Это замечание полковника публике понравилась, она отметила его двойными аплодисментами. Сначала похлопали понимавшие по-русски, а потом другие, дождавшиеся перевода.

– Солидные газеты, – продолжил Опаликов, – проявили большее понимание сути дела, совершенно справедливо расценив мой побег

как политический акт, как знак моего глубокого разочарования в советской системе. Я советскую власть действительно не люблю, потому что в ней под руководством Сталина происходят чудовищные преступления против народа. Но и эта причина была для меня не главной. Главной была тайна, которую я долго хранил один, понимая, что должен ее донести до всего человечества, иначе я буду сам себя презирать. Эту тайну примерно десять лет тому назад открыл мне мой дядя, брат моей матери, известный советский путешественник, географ, зоолог и энтомолог Григорий Ефимович Гром-Гримэйло. Дело в том, что, помимо общеизвестных трудов, у дяди Гриши были записки, которые он вел тайно от всех. Но в 1936 году они пропали, были выкрадены из его сейфа. Дядя ужасно огорчился и напугался. Записки, как он подозревал, попали в руки тех, с кем он меньше всего хотел бы их ознакомить. Тогда он пригласил меня прогуляться по парку и сказал мне: «Сережа, моя рукопись пропала. Если она попала в руки тех... ты уже взрослый и понимаешь, кого я имею в виду... если она попала к ним, то мне не жить. Но если ты когда-нибудь окажешься за границей, то есть за пределами всемогущества тех, кого я имею в виду, я тебя прошу, после моей смерти предай по возможности самой широкой огласке то, что узнаешь сейчас от меня». Через неделю после нашего разговора мой дядя умер при загадочных обстоятельствах. Я подозреваю, что его отравили.

Его тайна оказалась действительно настолько важной и потрясающей, что я еще тогда, будучи безусым юнцом, задумал побег из концлагеря, называемого Советским Союзом. Я и в летчики пошел в расчете на то, что когда-нибудь эта профессия поможет мне перебраться на Запад. И вот наконец я здесь и могу исполнить волю покойного дяди Гриши. Новость, которую я сейчас изложу, возможно, покажется вам невероятной и фантастической. Но я прошу вас, прежде чем вы скажете, что этого не может быть, подумать, сопоставить факты и тогда уже отвергать или принимать на веру то, что я вам скажу. Но прежде всего вот что. Задаю вопрос аудитории: кто изображен на этих портретах?

Чонкин еще раз посмотрел на портреты и сам себе сказал: «Ясно кто, Сталин». Зал немедленно зашумел, загудел, кто-то где-то начал смеяться, считая сам вопрос юмористическим, потому что ответ был

очевиден. Потом слышались разрозненные и отчасти даже раздраженные голоса:

– Сталин, Сталин. Конечно же, Сталин.

«Сталин, – повторил про себя Чонкин. – Кто же еще?»

– Правильно, – отозвался Опаликов. – На левом портрете изображен действительно генералиссимус Сталин. Но на правом, вы скажете, тоже Сталин, и ошибетесь. Обратите внимание: на нем форма не советского генералиссимуса, а царского генерала, и это не шутка художника. Потому что здесь изображен, господа, не Сталин, а учитель моего дяди Гриши, тоже известный путешественник, географ, зоолог и естествоиспытатель генерал Николай Михайлович Пржевальский.

– Неужели? – удивился кто-то в зале.

– Не может быть! – воскликнул кто-то еще.

– Еще как может! – отозвался Опаликов. – И не может быть иначе.

Скажу вам сразу, господа, что необычайное сходство Сталина и Пржевальского некоторыми людьми замечено было давно, тут я никакой Америки не открываю. Давно и многими исследователями высказано и записано предположение (вы можете найти его в соответствующих публикациях), что именно русский генерал Пржевальский, а не грузинский сапожник Джугашвили, является настоящим отцом советского диктатора. Этому есть масса прямых и косвенных доказательств.

Известно, что за какое-то время до рождения Сталина генерал Пржевальский побывал проездом в городе Гори и мог вступить в отношения с юной горийкой Кеке Джугашвили (в девичестве Геладзе). Однако в этой версии, господа, кое-что кое с чем не сходится. Не совпадают даты пребывания Пржевальского в Гори с датой рождения Сосо Джугашвили. Имеет место разница примерно в год с лишним. Некоторые советские исследователи годовую беременность Кеке объясняли тем, что такого необыкновенного человека, каким является Сталин, выносить за стандартные девять месяцев просто невозможно, и природа для гения сделала исключение. Серьезные ученые понимали, что это вздор. Понимали, но не могли найти отгадку.

А отгадка, хотя лежала на поверхности, никто, кроме Григория Ефимовича Гром-Гримэйло, не нашел в себе смелости к ней приблизиться. Впрочем, и дядя мой хорошо понимал, что с ним будет,

если он прежде времени откроет тайну. Поэтому он и доверил ее мне, надеясь, что когда-нибудь...

На этом месте Опаликов закашлялся, извинился перед аудиторией, что что-то в горле першит. Некий служитель, похожий на птицу-секретаря, тут же оказался возле трибуны, подал оратору стакан воды и удалился, бесшумно переставляя тонкие ноги и сгибая их в коленях под прямым углом, как кузнечик.

– Так вот, – сказал Опаликов, – мой дядя Григорий Ефимович Гром-Гримэйло...

На этом месте автор считает нужным прервать выступление полковника Опаликова и предупредить читателя, что рассказы полковника о Григории Ефимовиче Гром-Гримэйло и Николае Михайловиче Пржевальском не подтверждены никакими известными ученому миру свидетельствами и документами и вызывают вполне законное сомнение в своей достоверности. Может быть, полковник был фантазер, может, сошел с ума, вполне вероятно, что просто хотел набить себе цену. Чего точно он хотел, мы теперь можем только догадываться, устроить себе, как говорится нынче, пиар, но утаить от читателя версию, высказанную полковником, мы не можем, поэтому все-таки пусть говорит.

– Так вот, – сказал Опаликов, – мой дядя Григорий Ефимович Гром-Гримэйло, побывав на местах, пройденных до него Пржевальским, изучив дневники Николая Михайловича и опросив множество свидетелей, окончательно убедился, что именно генерал Пржевальский, а не сапожник Джугашвили, был отцом Сталина.

– Ну и что? – вскочил в зале какой-то взъерошенный человек. – Ну убедился и убедился. Вы же сами говорите, что это и без вашего дяди было известно.

– Да, – подтвердил Опаликов, – это было известно без дяди. Но открытие дяди состоит в том, что матерью Сталина была не Кеке Джугашвили, нет, отнюдь не Кеке, а лошадь, лошадь, лошадь, – повторял он, как испорченная патефонная пластинка, – лошадь, лошадь Пржеваль...

Тут только все заметили, что с полковником происходит что-то нехорошее. Он вдруг побледнел как снег, и это было видно даже из задних рядов. На и без того потном лбу появились и покатались вниз крупные капли, лицо задергалось, перекошилось в какой-то странной

гримасе, изо рта пошла пена, а пальцы рук застучали по трибуне мелко-мелко, как будто полковник выбивал барабанную дробь. Потом он схватился за горло, словно хотел задушить сам себя, и стал опускаться за трибуну, словно решил поиграть в прятки и скрыться за ней. И вдруг вывалился из-за нее на бок, и лег, и замер. Сначала никто ничего не понял. Потом в зале начался шум. Все повскакивали со своих мест. Члены президиума подбежали к лежавшему. Генерал над ним наклонился. Выпрямился, обратился к залу с вопросом, нет ли в зале врача. Сразу не меньше трех, объявивших себя врачами, полезли на сцену. Они склонились над бездыханным телом. Один щупал на шее пульс, другой хлопал полковника по щекам, третий оттягивал веки. Наконец старший из трех, с седой бородкой, поднялся с коленей и, обращаясь в зал, громко сказал:

– Этот человек мертв.

Много лет спустя, собирая материалы для этой книги, автор копался в архивах Гуверовского института и читал старые газеты в библиотеке американского Конгресса. Перелистал подшивки и просмотрел микро пленки практически всех солидных газет того времени: «Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс», «Таймс», «Гардиан», «Ле Монд» и некоторых несолидных, дошел до этой истории с выступлением и гибелью полковника Опаликова.

По поводу происхождения Сталина все солидные газеты без исключения если и упоминали о версии, высказанной в докладе Опаликова, то не иначе как с некоторой иронией, смягченной, возможно, фактом гибели докладчика. Зато уж газеты, которые мы называем желтыми (или бульварными), те уж потоптались на предложенной теме и сообщили читателям как непреложный и не подлежащий сомнению факт, что советский диктатор Сталин был рожден лошадью. Нашли даже где-то фотографию лошади Пржевальского, сравнивали ее с портретами Сталина и находили много сходства. Утверждали, что в анфас он похож на папу, а в профиль на маму.

Эти же газеты, для которых проверка фактов – дело необязательное, в один голос утверждали, что полковник был отравлен. Вот некоторые заголовки: «Смерть перебежчика», «Длинные руки Кремля», «Кремль бьет копытом». За что полковника отравили и по чьему заданию, догадаться было нетрудно, а вот кто именно отравил? Вспоминали, естественно, о человеке, похожем на птицу-секретаря, который во время выступления Опаликова поднес ему стакан с водой. Кем он был, как попал за кулисы, откуда брал воду, куда сам делся потом, никто не имел представления, и полиция ни до чего не дозналась. Серьезные издания, боясь публикации недостаточно проверенных фактов, сообщили своим читателям только то, что тело полковника было подвержено вскрытию группой патологоанатомов во главе с профессором Фишером. По заключению врачей, смерть произошла в результате внезапного сердечного приступа, объяснимого волнением, которое испытывал погибший во время своего необычного доклада. Разумеется, автор этих строк, будучи

человеком крайне испорченным, верил больше желтым газетам, чем красным или любым другим, но у автора, как и у других испорченных людей, никаких доказательств не было до тех самых пор, пока в немецкой «Зюддойче цайтунг» не появилось в 1954 году интервью с советским шпионом-перебежчиком под заголовком: «Я убил Опаликова».

Этот человек рассказал, как Лаврентий Павлович Берия лично вручил ему ампулу с созданной химиками НКГБ высокотоксичной жидкостью, не имевшей ни цвета, ни вкуса, ни запаха, и приказал «убить гадину». Яд, растворенный в стакане воды, вызвал немедленный паралич сердца и тут же улетучился, что и ввело в заблуждение вскрывавших полковника патологоанатомов. Поскольку Опаликова давно не было в живых и вся эта история осталась в туманном прошлом, признания беглого шпиона большого впечатления ни на кого не произвели. Но одна газета все-таки отметила, что раз Опаликова отравили во время его сенсационного рассказа, значит, кому-то эта тема была не по душе, значит, в ней что-то было, к чему стоило бы отнестись с особым вниманием. Но и это предположение было сделано журналистом очень неуверенно. И, в общем, вся эта версия как-то повисла в воздухе, я тоже в нее долго не верил, то есть не в отравление, а в причину, в то, что лошадь могла родить человека, хотя бы даже и такого мерзкого, каким был покойный генералиссимус.

Но каково же было мое удивление... Между прочим, очень не люблю, может быть, даже ненавижу этот заезженный-перезаезженный оборот «каково же было мое удивление», но мое удивление было действительно таково, что показалось мне безразмерным. Оно постигло меня в архиве Гуверовского института, где, напоминая, я набрел на пачку писем неизвестно кого неизвестно кому. Это были растрепанные и желтые листки с поврежденными краями, соединенные ржавой канцелярской скрепкой, с каким-то странным текстом, написанным дурным почерком и химическим карандашом, то есть пишущим инструментом, о существовании которого теперь помнят только такие старые люди, как я. Буквы, изначально фиолетовые, за время существования рукописи сильно выгорели и выцвели. Кому адресовались эти письма, я так и не выяснил, и относительно автора уверенности нет. Могу предполагать, что это был как раз великий наш ученый Гром-Гримэйло. Но не удивлюсь, если

серьезные ученые, употребив новейшие способы исследования, графологию, спектральный анализ и прочие приемчики, доступные современной науке, выяснят, что эта рукопись всего-навсего умелая подделка.

У нас, слава богу, такими подделками никого не удивишь. Вспомним «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», «Сказание о граде Китеже». Если уж эти вещи, как утверждают некоторые ученые, кто-то подделал, то почему бы не подделать записки Грома-Гримэйло? Тем более что повод для подделки у того, кто мог этим заняться, был, предположительно, более серьезным, чем у поддельщиков древних рукописей. Ненависть к тирану могла толкнуть неизвестного сочинителя на несусветные выдумки.

Но если это так, то надо признать, что сочинитель обладал очень незаурядной фантазией и талантом. Рассказ его насыщен такими подробностями, какие, мне кажется, просто выдумать невозможно. Если все-таки поверить автору и предположить, что это был именно Гром-Гримэйло, то следует вспомнить, что он был младшим современником, последователем и биографом Николая Михайловича Пржевальского. Он бывал в тех же местах, где Пржевальский, что и описано в упомянутых письмах. Письма содержали (что говорит в пользу их подлинности) много личных научных наблюдений автора, которые я просто опущу, а передам только то, что меня удивило.

Описывая путешествие Пржевальского по Монголии и Северо-Западному Китаю, автор делает несколько метких замечаний касательно личности знаменитого путешественника. Пржевальский, пишет он, несмотря на свое дворянское происхождение и соответствующее воспитание, был человеком прямолинейным, иногда даже грубым и деспотичным. В человеческом обществе чувствовал себя неуютно. Людей своего круга не любил, потому что они все, как он утверждал, погрязли в разврате. Крестьян, в отличие от большинства своих современников, начитавшихся стихов Николая Некрасова, тоже не жаловал, считая, что все они пьяницы и лентяи. Образован он был односторонне. Увлекался естественными науками и историей. К музыке, живописи и театру был равнодушен, рассказов, повестей и романов, а тем более стихов, не читал, женщин решительно ненавидел. Животных любил, но только диких. Домашних, служащих человеку, питающихся из его рук и покорно

подставляющих шею под нож, презирал. Диких же зверей уважал за их вольный и независимый нрав, за то, что сами себе добывают пищу и не меняют свою свободу на объедки с человеческого стола. При этом смолоду отличался склонностью к романтическому восприятию действительности. В детстве зачитывался древнегреческими мифами.

Особенно его поразил миф о существовании полулюдей-полулошадей, то есть кентавров. Его детские рисунки посвящены именно этим порождениям фантазии древних греков. Будучи уже знаменитым путешественником, географом, зоологом, энтомологом и черт знает кем еще, он неизменно интересовался проблемами гибридизации живых организмов, прежде всего, созданием гибрида человека и кого-нибудь из высших млекопитающих, чему он и посвятил многие опыты.

У нас в свое время много и с перебором твердили о приоритете отечественной науки, о том, что русские изобрели все раньше других. Эти утверждения были так навязчивы, что породили много насмешек и поговорку: «Россия – родина слонов». Доходило до смешного: якобы рентген изобрел русский мужик, который в четырнадцатом веке сказал своей жене: «Я тебя, суку, насквозь вижу!» Но в том, что в деле гибридизации именно Николай Пржевальский далеко обошел своих западных современников, у меня, пишет автор, нет ни малейшего сомнения.

В то время австрийский монах Мендель еще только проводил первые робкие опыты по скрещиванию двух видов гороха, но не пошел дальше скрещивания чечевицы с фасолью. Слов «генетика» или «хромосома» не было еще в научном обиходе, а наш великий ученый взялся проводить эксперименты по созданию гибрида человека с высшими млекопитающими. Наука пребывала в неразвитом состоянии, и даже искусственное осеменение казалось делом будущего. Эксперименты приходилось производить самым натуральным образом, который читатель может сам себе представить. Сначала генерал хотел приспособить к этому делу своего денщика Ферапонта, но тот оказался слишком верующим, нервным и консервативным. Когда услышал предложение, устроил истерику, замахал руками:

– Свят! Свят! Свят! Нет, ваше превосходительство, что хотите делайте, хоть секите, хоть расстреляйте, а на такой грех я не пойду.

Пришлось генералу самому взяться за дело. Причем в глубокой тайне, потому что боялся огласки. (Заметим в скобках, что в тогдашнем обществе еще господствовали отсталые взгляды на половой вопрос и несовершенное уголовное законодательство. Это сейчас люди нашего времени широко смотрят на вещи. В наиболее передовых странах уже разрешены однополые браки, а в скором времени, я уверен, будут узаконены и уравнены в правах смешанные семьи человека с животными. Для начала с самыми высшими, а потом и с остальными, включая рыб, рептилий и насекомых. Но тогда, когда жил Пржевальский, так называемое скотоложство всем казалось ужасным грехом, преступлением и строго наказывалось. Так что, проводя свои эксперименты, Николай Михайлович рисковал не только личной репутацией в обществе, но и свободой.) Однако для него наука была превыше всего, и он, имея в виду исключительно научные цели, шел на риск и самоотверженно совокуплялся со всеми открытыми им видами диких животных. С самкой медведя-пищухоеда, с дикой ослицей, дикой верблюдицей, но, помня о кентаврах, больше всего внимания уделил открытой им дикой лошади, которой не зря дал свое имя.

Лошадь Пржевальского генерал обнаружил в степи, в районе китайско-монгольской границы. Это был небольшой табун диких и агрессивных, не подпускавших к себе никого животных. Одну кобылицу, особо понравившуюся Николаю Михайловичу, с трудом удалось отбить от табуна и отловить. Пржевальский назвал ее, глазастую и стремительную, летящую по степи, словно на крыльях, Орлицей. Это было очень красивое, свободолюбивое, дикое и норовистое существо. Генерал поначалу ей, видимо, не приглянулся. Загнанная в специальный станок, она вырывалась, брыкалась, кусалась, рвала построжки. Николай Михайлович самок человеческого рода (хоть и пользовался у них большим успехом) не уважал. Но очень галантно ухаживал за Орлицей, кормил ее отборным овсом, угощал швейцарским шоколадом, купал, расчесывал гриву и украшал ее полевыми цветами. Он говорил ей ласковые слова, показывая тем самым, что вовсе не считает ее существом ниже себя, и в конце концов растопил сердце гордого животного. И сам вполне растопился.

В своем интимном дневнике он признавался, что его научные эксперименты доставляют ему все больше и больше удовольствия. И

Орлица привязалась к генералу. Встречая его, она радостно ржала, очевидно, предвкушая скорое удовольствие, и уже не рвалась из загона, где ее держали, чтобы ею случайно не овладел какой-нибудь жеребец и не нарушил чистоту эксперимента. В записях есть указание на то, что табунный жеребец Маврикий ревновал Орлицу, все время крутился вокруг загона и однажды на рассвете даже сбил жерди забора, но вовремя был отогнан конюхом Миронычем. Впрочем, до поры было неизвестно, вовремя или не вовремя. Может быть, пока конюх спал (в чем он потом не признавался), Маврикий успел нарушить эксперимент. Жеребец, впрочем, вскоре погиб. Безумствуя от ревности, он напал однажды на Пржевальского и в порядке самообороны (а может быть, тоже из ревности) был генералом пристрелен.

Прошло какое-то время, и Орлица забеременела. Это сильно взволновало экспериментатора. Неужели случилось то, о чем он так страстно мечтал, и она действительно понесла от него? Но было еще подозрение, что от Маврикия, во время своего одноразового бегства. Надо помнить, что беременность или жеребость кобыл продолжается обычно около года. Тогда еще ни о каком ультразвуке люди не имели понятия, проверить, что там зреет в кобыльей утробе, заранее было нельзя. Можно только представить себе, в каких волнениях провел этот год генерал. И наконец... это случилось ночью. Генерала разбудил Ферапонт криком:

– Ваше превосходительство, оне рожают!

– Кто они? – спросил генерал спросонья.

– Оне, ваша кобыля жёнка, ваше превосходительство.

Генерал кинулся на конюшню, даже забыв нацепить шпагу. Прибежал как раз вовремя и успел принять роды. Новорожденный упал ему прямо в руки. Генерал стал торопливо и пытливо его разглядывать. Нет, это был точно не жеребенок. И даже не кентавр. Это было обыкновенное человеческое дитя мужского пола, но необычайно густо заросшее шерстью... Еще одна особенность отличала ребенка: пальцы ног у него были сросшимися между собой, а пятки ног – твердыми, ороговевшими.

Последнее из пачки писем предполагаемого Гром-Гримэйло осталось незаконченным. Что случилось впоследствии, точно неизвестно. Но где-то я слышал, что якобы вскоре после рождения ребенка-жеребенка Орлица была передана в заповедник Аскания-Нова. Там ее пытались случать с разными жеребцами, но она отчаянно сопротивлялась и находилась в таком состоянии духа, которое, будь она человеком, можно было бы назвать депрессией. Она затосковала. Выгнанная на пастбище, траву не щипала, а от стада держалась в стороне. Ее пытались кормить овсом, она к нему даже не подходила и вскоре издохла, как можно думать, от тоски.

А генерал, получив такого странного наследника, не знал, что с ним делать. Признать своим сыном не решался, потому что неизбежно пойдут нехорошие слухи и могут дойти до Петербурга. На Петербург генералу было наплевать, но беспокоило то, что зловердные тамошние людишки могут донести и непременно донесут этот слух до ушей государя, вот что будет нехорошо. Царское мнение Пржевальского тоже особенно не интересовало, если бы не надежда на поддержку казной новых поисков и экспериментов.

Короче говоря, Пржевальский решил избавиться от младенца, и не насовсем, а на время отдать его в хорошие руки. Так сошлось, что во время случившейся в то время у генерала поездки на Кавказ попал он и в город Гори. Здесь познакомился с местным сапожником Виссарионом Джугашвили, к которому зашел набить подковки на сапоги. Разговорились. Сапожник пожаловался: жена, мол, по-вашему Екатерина, а по-нашему просто Кеке, всем хороша, но рожает ему исключительно девочек. Народ местный над ним смеется, что же ты, мол, Виссарион, бракодел такой, одних лишь двустволоков в свет выпускаешь? Чтобы избавиться от этих злых шуток, он бы мальчика какого-нибудь хоть бы в приемыши взял. Чтобы шутникам глотки заткнуть и если не для продолжения рода, то хотя бы, чтоб было кому будку сапожную впоследствии передать.

Тут Пржевальский понял, что решение вопроса идет прямо в руки. Велел Ферапонту принести ребенка из кибитки и показать. Принесли, положили на большую кровать, развернули пеленки.

Ребенок Виссариону понравился, даже показался похожим на него самого. Правда, были у него некоторые сомнения, но они были компенсированы генеральским обещанием давать на содержание малыша тысячу рублей ежегодно, причем первый взнос был исполнен немедленно. А тысяча рублей для сапожника захолустного города Гори сумма была огромная, сам он и половины ее за всю жизнь не заработал бы. Так что был соблазн, но были и колебания. Позвал для совета жену.

– Вот, Кеке, – сказал он. – Давай с тобой посоветуемся и возьмем на воспитание этого малыша. Поскольку ты мне рожаете все время девчонок, а мне нужен в доме мужчина для продолжения если не рода, то хотя бы дела, чтобы было кому впоследствии передать нашу сапожную будку и секреты моего незаурядного мастерства. Посмотри-ка, какой хороший пацан.

Кеке посмотрела на пацана и заплакала.

– Что с тобой? – спросил ее муж. – Тебе ребенок не нравится?

– Он мне нравится, но почему он такой волосатый и что у него с ногами?

– С ногами все в порядке, – успокоил ее генерал. – Ноги такие, на которых можно крепко стоять. А волосатость, что ж... Все кавказские мужчины, которых я знаю, обладают богатой растительностью, что является признаком безусловной мужественности.

– Но это же еще не мужчина, а только мальчик.

– Да, мальчик, – согласился генерал. – А уже и мужчина.

– А как его звать? – спросил Виссарион.

Пржевальский на секунду замешкался, потому что имени ребенку он еще не придумал и звал его просто «Он». Но тут надо было отвечать быстро, и он ответил:

– Сталион.

– Это русское имя? – удивился сапожник.

– Нет, – сказал Николай Михайлович. – Это английское имя.

– И что оно означает?

– Сталион по-английски значит жеребец, – объяснил генерал.

– Вот еще! – сказал сапожник. – Что же мы, выходит, мальчика так и будем звать жеребцом?

– Ну да, сейчас он мальчик, а потом станет мужчиной. А для мужчины нету более лестного сравнения, чем с жеребцом. Не правда

ли, уважаемая Кеке?

Кеке не посмела возразить и не хотела. Она была согласна с генералом, но кавказское представление о целомудрии согласиться открыто не позволяло. Она промолчала и от смущения сильно зарделась.

– Ну вот, – сказал сапожник, – мы с женой посоветовались и решили так, что, если вы добавите к тысяче рублей еще двести...

– Добавлю триста, – перебил Пржевальский.

– Ну ладно, тогда берем вашего Сталина. Эй! – склонился он над ребенком. – Эй, Сталин! Кис-кис!

А маленький Сталин вдруг взял и дал еще не названному отцу ногой прямо в нос. Да так сильно, что из носа потекла кровавая струйка.

– Вот это да! – Виссарион отшатнулся, приложил руку к носу, посмотрел на кровь на ладони. Полез в карман за платком. – Ты что же это делаешь, дорогой? Такой маленький, а так дерешься. Прямо зверь какой-то, а не ребенок.

– Это он потому, что ты его неправильно назвал. Он не Сталин, а Сталион, – заметил Пржевальский.

– Какая разница, дорогой, Сталион или Сталин, мы все равно его будем звать просто Сосо. Эй, Сосо! – обратился он к ребенку и предусмотрительно отшатнулся.

Генерал уехал, а Виссарион, выждав трехдневную паузу, с фальшивой улыбкой на лице объявил соседям и родичам о рождении сына.

– Как? – удивились соседи и родичи. – Откуда? Кеке только четыре месяца тому назад перенесла последние роды. Это что же, недоносок какой-то?

– Не недоносок, а быстро развившийся плод, – возражал Виссарион. – Недоноски бывают маленькие, а мой Сосо весит уже более шестнадцати фунтов.

Так вот, судя по собранным автором этих строк сведениям, начинал свою долгую жизнь будущий отец народов, вождь мирового пролетариата, корифей всех наук, о котором будет сложено много легенд, нисколько не более достоверных, чем наша. Я признаю, что рассказ о зачатии и рождении человеческого сына кобылой нуждается в более убедительных доказательствах, чем приведенные на этих

страницах. Да-да, трудно себе представить, что Сталина родила дикая кобыла, но еще большие сомнения охватывают автора, когда он думает, что неужели такое чудовище могло быть выношено обыкновенной человеческой матерью.

Опаликова советские угробили, но Чонкин им зачем-то был очень нужен живым, что все-таки смущало Джорджа Перла и давало основания думать, что чего-то он все-таки недодумал. Как-то среди дня он на «Виллисе» приехал за Чонкиным, велел ему быстро переодеться и повез в военную комендатуру. Здесь Чонкина ждали два американских офицера и два русских мужчины в одинаковых штатских костюмах. Оба были невысокого роста, оба весьма упитанные, видимо, ни в Ленинградской блокаде, ни в Освенциме им побывать не пришлось. Георгий Иванович их представил:

– Вот, Ваня, эти господа или товарищи – представители советской консульской службы, хотят с тобой поговорить. Так я вас понимаю? – обратился он к русским.

– Именно так, – важно отозвался тот, кто, судя по поведению, седым вискам и тупому выражению лица, был старшим.

– Ваня, – вмешался Георгий Иванович, – я тебе напоминаю, что ты находишься на территории, контролируемой Соединенными Штатами Америки, и под защитой американских законов. Свою судьбу ты имеешь право решить сам. Как захочешь.

– Я протестую, – сказал старший. – Вы оказываете давление на гражданина СССР.

– Я не оказываю, – возразил Георгий Иванович, – а разъясняю ему его права. Ваня, пока ты у нас, ты можешь ничего не бояться.

– У нас длинные руки, – разглядывая висевший на стене скромный пейзаж, ни к селу ни к городу вполголоса и как бы сам себе заметил «младший» русский.

Чонкин посмотрел на его руки с удивлением и подумал, что врет, не такие уж они и длинные.

– Господа, – опять вмешался Георгий Иванович, – займите свои места, вы здесь, ты здесь, – указал он на разные стороны стола, – и можете обратиться к господину Чонкину, но без угроз.

– Да-да, конечно, – пробормотал старший и повернулся к Чонкину: – Товарищ Чонкин, мы с вами встретились по поручению советского руководства. Мы знаем, что вы оказались в американской зоне не по своей воле, а в результате предательских действий вашего

командира полковника Опаликова. Вы знаете, что с ним после этого случилось. Падкие до сенсации западные газетенки пишут, что мы его отравили. Но это не мы. Я думаю, что это сделали западные спецслужбы для того, чтобы подозрение пало на нас.

– Не говорите чепухи, – сказал Георгий Иванович.

– Мы, – продолжил старший, – отвергаем террор как способ достижения политических целей. Мы действуем исключительно методом убеждения. Мы Опаликова не убивали.

При этом второй стал подмигивать Чонкину, как бы говоря: убивали, мочили и тебя, суку, пришьем обязательно.

– У нас длинные руки, – сказал он как бы сам себе.

– Вас, – вел свою линию первый, – мы ни в чем не виним. Мы знаем, что вы честный советский воин, патриот. Вы на чужой территории оказались случайно и мечтаете вернуться на родину. Так вот, Ваня, – перешел он на прочувствованный тон, – родина протягивает тебе руку.

– У нас длинные руки, – в третий раз пробормотал младший.

– Вот, Ваня, подпиши, – сказал старший и положил перед Чонкиным лист бумаги с каким-то текстом.

– Это что такое? – насторожился Георгий Иванович.

– Заявление для прессы.

– Позвольте! – Георгий Иванович взял заявление, стал читать: – «Господа журналисты, как известно, я, Иван Васильевич Чонкин, гвардии рядовой победоносной Советской армии, в результате предательского поступка моего командира, бывшего полковника Опаликова, оказался в американской зоне оккупации Германии, где различные враждебные Союзу ССР силы пытались склонить меня к измене родине. Я должен со всей решительностью заявить, что усилия этих господ совершенно напрасны. Будучи беспартийным советским человеком, я тем не менее являюсь патриотом своей страны, всем сердцем преданным нашим коммунистическим идеалам и лично товарищу Сталину. Вам, господа, воспитанным в системе иных ценностей, может быть, не понять моих чувств и моих поступков, но я возвращаюсь на родину».

– Угу, – заключил чтение Георгий Иванович, – сильно написано. И что ты, Ваня, по этому поводу скажешь?

Иван задумался. В этом месте, если дать возможность, задумается и читатель. Что мог ответить Чонкин в таких условиях? Покорно согласиться со своей участью и поехать из американского лагеря для перемещенных лиц в советский для врагов народа? Нет, господа читатели, Чонкин, конечно, никогда не слыл крупным мыслителем, а в глазах некоторых людей и вовсе был чем-то вроде Иванушки-дурачка, но ведь и Иванушка-дурачок тоже был дурачком только поначалу. А когда жизнь его чему-то учила, учился и кое-чего в жизни достиг. Так и Чонкин. Выслушав предложение вернуться на родину, он глубоко задумался и попытался представить, а что такое для него родина, и перед его мысленным взором возникли лица старшины Пескова, капитана Миляги, лейтенанта Филиппова, полковника Добренького, прокурора Евпраксеина и прочих подобных должностных лиц, и у всех у них были длинные руки, и эти руки тянулись к его горлу. Правда, и туманный образ Нюры проявился где-то на заднем плане. Но Нюра, как ему показалось, руками, глазами и общим выражением лица делала знаки: не надо, Ваня, не соглашайся, не пустят тебя ко мне и житья не дадут.

Заметив, что Чонкин колеблется, Георгий Иванович сказал:

– Господа, я не могу принимать решения за господина Чонкина, потому что господин Чонкин – свободный человек и волен распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению, но мне кажется, что вопрос серьезный и было бы справедливо дать господину Чонкину какое-то время на размышления.

– А зачем? – удивился старший из уговорщиков. – О чем тут думать? Ваня, я тебе еще раз напоминаю: родина дает тебе шанс искупить свою вину и честным трудом заслужить прощение и доверие нашего народа. Любой человек, у которого есть хоть капля совести и любви к родине, немедленно воспользовался бы этим предложением и полетел бы на крыльях, пополз бы на брюхе...

– У нас длинные руки, – напомнил младший.

– Ваня, – перебил гостя Георгий Иванович, – напоминаю тебе, что ты свободный человек и имеешь право поступить, как хочешь. Можешь ползать на брюхе, а можешь, стоя на двух ногах, послать этих господ подальше.

– Подальше? – спросил Чонкин. – Это по матушке, что ли?

– Да хоть по матушке, хоть по бабушке, – подтвердил Георгий Иванович, – а я заткну уши.

– Осторожней, Чонкин! – вдруг испугался и закричал старший. – Не вздумай грубить. Я – генерал.

– Ах, генерал! – пробормотал Чонкин. – Ах, генерал! – повторил он и вспомнил генерала, который с ключьями вырвал орден из его гимнастерки. – Ах, генерал! – повторил он в третий раз. И вдруг в нем возникло желание, совершенно неутолимое, сделать то, что ему подсказал Георгий Иванович.

– А пошел ты, генерал... – сказал Чонкин.

Георгий Иванович действительно, как обещал, заткнул уши, продолжения фразы не услышал и потому не мог быть свидетелем оскорбления советских парламентаров при исполнении ими служебных обязанностей. А когда отвел пальцы от ушей, услышал уже другой разговор.

– Ну смотри, Чонкин, смотри, – сказал старший голосом, полным гнева и обиды. – Я с тобой говорил по-хорошему. Как старший товарищ, как отец говорил. Я тебя предупредил, в какую ты падаешь пропасть. Я думал, что ты ненароком попал в трудное положение, и протянул тебе руку...

– У нас длинные руки, – не унимался младший.

– Но ты мою руку отверг. Значит, ты сознательно решил продать родину, партию, лично товарища Сталина. И зачем? За что? Чем они тебя соблазнили? Жвачками? Кока-колой? Джинном и тоником? Но это они сейчас с тобой цацкаются, а скоро, как только ты им не будешь нужен, потеряют к тебе интерес, выбросят на помойку. Ну хорошо, живи...

– До поры до времени, – уточнил младший.

– Но знай, что родина тебе твоего предательства не простит.

Генерал выглядел разочарованным и даже несчастным. Возможно, явившись сюда, он надеялся, что уговорит глупого солдата и тем самым заслужит какое-нибудь поощрение в виде очередного ордена или разрешения вывезти на родину что-нибудь из трофейных вещей. Чонкин лишил его этих надежд, и речь его далась ему нелегко. Произнося ее, он вспотел и стал носовым платком вытирать пухлые щеки и толстую шею.

– Вы все сказали? – вежливо осведомился Георгий Иванович. И, не дождавсь ответа, заключил: – Ну что ж, господа, аудиенция окончена.

– Но мы, – предупредил старший, – доложим нашему руководству, как наши так называемые союзники провоцируют наших военнослужащих на измену.

С этими словами он повернулся, и товарищ его повернулся, и они направились к дверям, почему-то громко топая. А младший у самых дверей обернулся и в очередной раз, впрочем, не очень уверенно, напомнил Чонкину про длинные руки.

Когда миссия Георгия Ивановича, то есть Джорджа Перла, сама собой исчерпалась, он передал Чонкина своим друзьям из белоэмигрантской организации Народно-трудовой союз (НТС). Те сначала хотели взять его в пропагандистский отдел, чтобы он через громкоговоритель призывал советских солдат повернуть оружие против ненавистного большевистского режима. Разумеется, этих людей из НТС, как, впрочем, и всяких других, можно было бы изобразить сатирически, и они такого изображения вполне заслужили, но надо помнить, что советские литераторы уже столько упражнялись в сатире над этими именно людьми, что нам, пожалуй, лучше и помолчать. Заметим все-таки, что среди этих людей были, может быть, последние русские идеалисты, которые мечтали о хорошей, доброй, православной России. Но какой она должна быть, хорошая, добрая и православная, они себе представляли так же неопределенно, как известная героиня известной книги, видевшая хорошую, добрую Россию во сне.

Эти люди, в надежде сокрушить ненавистный им советский строй, печатали листовки, в которых предлагали советским солдатам переходить в американскую зону, где их ждут объятия товарищей по оружию и девушек легкого поведения, а также антисоветская литература, порнографические журналы, спиртные напитки и закуски в неограниченных количествах. Но все эти усилия за счет американских налогоплательщиков были напрасны. Советские солдаты этих листовок не видели, а случайно нашедшие боялись их даже читать. Они проявляли бдительность, то есть относили листовки замполиту или в особый отдел, где этим приношениям всегда были рады. Листовки наглядно доказывали насыщенность послевоенной Германии антисоветскими элементами, через борьбу с которыми был шанс успешно и безопасно продвигаться по службе, получая за это звания, советские ордена и немецкие марки.

К сожалению, сведений о пребывании нашего героя в рядах НТС, среди людей, которые сами себя называли глупым словом «солидаристы», сохранилось слишком мало. Правда, один из руководителей Народно-трудового союза – Владимир Дмитриевич

Поремский, с которым автору этих строк в свое время посчастливилось познакомиться, – смутно помнил, что был такой человек, неловкий и неуклюжий, которого коллеги Поремского пытались приспособить к делу.

«Он старался, – рассказывал Поремский, – но без личного, как вам сказать, огонька. Для него все, что ему поручалось, было чуждым заданием. А у нас был принцип принимать в нашу организацию только тех, для кого наше дело воспринималось как свое кровное, тех, кто ради освобождения России от большевиков готов был пожертвовать всем, даже жизнью».

Вот, пожалуй, единственное воспоминание, недостаточно, согласитесь, внятное, о том периоде жизни Чонкина. Других достоверных сведений об этом периоде практически не сохранилось никаких, поэтому мы его пропустим.

Уж, казалось бы, всем этот Чонкин до чертиков должен был надоесть, но, оказывается, были еще люди, которые думали о нем больше, чем он о них. В частности, тот же Лаврентий Павлович думал о Чонкине много, к чему вынуждали его обстоятельства. Раньше, хотя фамилия Чонкин попадала Лаврентию на глаза, он ее просто не замечал. На фамилию Голицын, да, обратил внимание, потому что она не какая-нибудь, а княжеская. Происходя из мест, где князьями были чуть ли не половина его соплеменников, Лаврентий Павлович тяжело переживал свое простолюдинство и завидовал всем, кто мог числить свой род с кого-нибудь старше дедушки, с какого-нибудь знатного предка-джигита, чей усатый портрет в черкеске с газырями и кинжалом украшал бы гостиную. Поэтому фамилия Голицын никак не могла пройти мимо внимания Лаврентия Павловича. А Чонкин... Эту фамилию Лаврентий Павлович не стал бы держать в своей голове. Но Сталин (вот привязался!) ни одного разговора, личного или по телефону, не заканчивал теперь без вопроса: «Ну что там Чонкин? Что делают твои люди? Когда ты мне его достанешь? – И иногда напоминал: – Смотри, Лаврентий, время твое истекает вместе с моим терпением».

Понимая, что значит это напоминание, Лаврентий старался. Но ему фатально не везло. Официально заполучить Чонкина путем уговоров о добровольном возвращении не удалось. Две попытки выкрасть его провалились. Один очень опытный разведчик, посланный на поимку Чонкина, попался при попытке пройти через КПП части, где содержался наш герой. Этот разведчик был снабжен замечательными документами, выданными на имя сержанта морской пехоты афроамериканского происхождения Билла Эндрюса. Он сам замечательно подготовился, натерев лицо фирменным гуталином. Но если бы он был действительно такой опытный и ловкий, каким считался, то заметил бы, когда шел к месту выполнения задания, что встречные люди кидают на него очень удивленные взгляды. Он и заметил эти взгляды, но решил, что бросающие их восхищаются его новой американской формой и выправкой, приобретенной в высшей школе НКГБ, и думают: какой замечательный красавец этот военный!

На КПП он предъявил свое удостоверение тоже сержанту, примерно такого же цвета, как он сам. Тот долго разглядывал документы, сверял лицо с фотокарточкой и карточку с лицом.

– Вас что-то не устраивает в моем айди? – спросил наш разведчик на совершенном английском языке с некоторым пренебрежением и едва уловимым алабамским акцентом.

– Все в порядке, сэр, – отвечал сержант, нажав кнопку вызова караула. – Почти в порядке. Только вы забыли натереть ваши уши ваксой.

Бедный наш шпион был задержан, осужден американским военным судом и много лет спустя, когда уже не было на свете ни Сталина, ни Берии, обменен на кого-то из видных советских инакомыслящих. Второй агент, посланный Лаврентием Павловичем в логово врага, не стал искушать судьбу и сдался, не дожидаясь разоблачения и сэкономив на гуталине. И тогда Лаврентий Павлович решил попробовать последний шанс.

– Слушай, Капуля, – сказал он как-то за завтраком прислуживавшей ему Капитолине, – ты, как я слышал, хорошо знаешь немецкий язык и английский.

– Я?! – удивилась Капитолина.

– Ладно, не притворяйся, – сказал Берия. – Я все про тебя знаю и знаю, на кого ты работаешь. Но мне нужно, чтобы сейчас ты поработала на меня.

– Что я должна для вас сделать, шеф?

– Ты должна соблазнить Чонкина и доставить его ко мне. Если ты это сделаешь, я допущу тебя к таким секретам, за которые твой босс и мой друг Ален Даллас произведет тебя в генералы.

Чтобы лично проверить, как Капа будет выполнять задание, Лаврентий Павлович провел с ней репетицию, сам не зная, что уже болен триппером, только что им подхваченным от очередной уличной красавицы.

Результатом выношенного Берией нового плана было то, что однажды, вернувшись после завтрака во флигель, Чонкин застал у себя в комнате белую женщину, которая перестилала ему постель. Она была милостива и располагала к общению. Чонкин ни в коем случае не был расистом, но белая русская женщина заинтересовала его больше, чем исполнявший до нее те же обязанности черный Джон. Они

познакомились: Катя – Ваня. После чего вступили в отношения, от которых он сошел с ума и два дня подряд готов был следовать за ней хоть на край света, даже на родину, которая его, по ее словам, ждала с большим нетерпением. Катя и Ваня разработали тонкий план, согласно которому он ночью должен был, обманув охрану, пролезть под забором за стоявшим в углу территории мусорным контейнером. Там, за забором, Катя обещала его ожидать в машине с погашенными огнями и с советским дипломатическим номером. Но вечером накануне у него в определенном месте возникли невыносимо сильные рези, в результате которых он оказался не в советской машине с дипломатическим номером, а в американской с красным крестом. В госпитале ему диагностировали гнойную гонорею с полной закупоркой мочевого канала, что сильно охладило его чувства к Кате и к родине.

Катя, провалив задание, в Москву вернуться не решилась и стала очередной невозвращенкой, хотя в ее случае это определение нельзя назвать точным. Таким образом, Лаврентий Павлович остался без Кати и без Чонкина, но зато с триппером. И с ожиданием последствий, гораздо более плачевных, чем даже триппер.

Потеряв надежду выполнить приказ своего вождя, Лаврентий Павлович понял, что теперь ему не сносить головы. Неисполнения своего приказа Сталин, злопамятный и кровожадный, никогда не простит. И он, Лаврентий Павлович Берия, погибнет во цвете лет, если не придумает какого-нибудь неожиданного, парадоксального, может быть, даже гениального выхода из положения.

Он думал всю ночь. К утру придумал. И пришел в такое эйфорическое состояние, что ему показалось – даже триппер его прошел.

7 декабря 1945 года Берия вызвал к себе домой народного артиста СССР Георгия Михайловича Меловани, угостил его французским коньяком и, протирая пенсне, спросил:

– Скажи, Гога, что бы ты сказал, если бы узнал, что нашей страной управляет лошадь?

Гога, услышав такое, растерялся и даже немного вспотел. Вопрос был неожиданный, но если бы его задавал какой-нибудь другой человек, а не тот, который его задавал, то можно было бы как-нибудь отшутиться или вспомнить какие-нибудь исторические примеры о коне, предположим, который заседал когда-то в римском Сенате. Или литературные знания применить, на Свифта сослаться, а то и Ленина приплести, который обещал научить, ну не лошадь, конечно, но кухарку управлять государством. Но если кухарка может, то почему бы и лошади не суметь? Все это промелькнуло в голове Меловани, и он рот открыл, чтобы ответить, но тут же закрыл его, понимая, что так будет лучше. Ведь вопрос задал такой человек, с кем, прежде чем шутить, цитировать или проводить аналогии, стоит крепко подумать. Ты скажешь ему, что лошадь, да, может управлять государством, тогда он, естественно, поймет, что его, великого, по его мнению, государственного мужа, можно заменить простой лошадкой из колхозной конюшни. Меловани не был слишком большим мудрецом, но знал, что когда такие люди, как Лаврентий Павлович Берия, задают столь странные вопросы, то с ответами лучше не спешить, потому что за неправильный ответ можно ответить головой. Поэтому он долго думал, потом стал смеяться, полагая, что надежнее всего принять этот вопрос как шутку, но, засмеявшись, встретился с холодным и не улыбочивым взглядом, проникающим сквозь пенсне и пронзающим душу.

– Я думаю, – сказал он, – я думаю... я думаю... Лаврентий Павлович! – закричал он в отчаянии. – Я не знаю, что думать! Скажите мне, что я должен думать, и я буду думать так, как вы скажете.

– Хорошо, – сказал Берия, – хорошо. Сталин велел тебя арестовать. – Он выдержал паузу и составил второе предложение: – И отправить в Туруханскую ссылку. Ты понимаешь, что это значит,

арестовать и отправить в Туруханскую ссылку? Ты знаешь, где находится Туруханск, а?

Гога не знал точно, где находится Туруханск, но легко представил себе бескрайнюю заснеженную степь, длинную колонну голодных и замерзших заключенных и себя в конце колонны, бредущего в деревянных колодках, несчастного человека, городского, изнеженного, не привыкшего к таким лишениям, спотыкающегося и падающего от изнеможения. Представив все это, он сильно побледнел и затрясся. Он отодвинул бокал и еле нашел в себе силы спросить:

– За что?

Берия надел пенсне на нос и подошел к зеркалу посмотреть, как оно на нем сидит.

– Если бы было за что, – сказал он, прижимая пенсне к переносице указательным пальцем, – он бы тебя расстрелял. – И захохотал, как закудахтал: – Кха-кха-кха-кха! Впрочем, – сказал, перестав смеяться, – Сталин может тебя расстрелять и так.

– Но я ничего такого не сделал! – закричал народный артист. – Я ничего не сделал плохого. Я люблю товарища Сталина. Передайте ему, что я его очень люблю.

– Ну, я верю, верю, что ты его любишь, – сказал Берия. – Но важно, чтобы он тебе поверил. Завтра мы поедem к нему, и ты ему там покажешь, как его любишь. Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили в прошлый раз? В прошлый раз мы с тобой говорили, что ты мог бы подменять товарища Сталина, но ты так должен подменять его, так должен играть его роль в жизни, а не в кино, чтобы никто, даже из людей, близко знающих товарища Сталина, не заподозрил, что ты – это не он. Ты можешь такое сыграть?

– Я могу, – уверенно кивнул Меловани. – Я, Лаврентий Павлович, артист. Я очень хороший артист. Но я все-таки не решаюсь взять на себя такую ответственность.

– Зато я решаюсь взять эту ответственность за тебя на себя. И ты можешь себе представить, что с тобой будет, если ты не оправдаешь моего доверия. Но прежде у меня к тебе вопрос: эти усы у тебя настоящие?

– Никак нет, Лаврентий Павлович, это накладные усы. Я их наклеил, чтобы вам показать, как я приблизительно буду играть товарища Сталина. Но на улицу я никогда не выхожу в образе

товарища Сталина. Чтобы никто не подумал, что я выдаю себя за товарища Сталина.

– Хорошо, – кивнул Берия лысой своей головой, – завтра поедем к товарищу Сталину. Усы дай мне. Я их возьму с собой, ты их наклеишь, когда я скажу.

На следующий день «ЗИС» наркома ГБ опять оказался у знакомого зеленого забора. Теперь пассажиров было двое: сам нарком и народный артист Меловани. Нарком был в длинном пальто с суконным верхом, каракулевым воротником и в каракулевой шапке-пирожке, под барсучьей шубой артиста был темно-синий бостоновый костюм с галстуком в горошек. Оба гостя прошли обычную процедуру обыска и проверки, которая на этот раз оказалась довольно поверхностной: даже на накладные усы в портфеле Лаврентия Павловича охрана не обратила внимания. Может быть, потому, что они не относились ни к огнестрельному оружию, ни к колюще-режущим предметам.

Сталин был, к счастью, в добром настроении и встретил гостей радушно, в прихожей. Был он в маршальском мундире с двумя золотыми звездами на груди – Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. Мундир, впрочем, был непарадный, то есть выглядел более или менее скромно.

Сталин и Берия, приветствуя друг друга, обнялись, после чего Берия представил Меловани:

– Вот, дорогой Коба, привел народного артиста, который, как ты знаешь, исполняет роли Сталина, то есть тебя играет во многих фильмах. Тебе, я помню, «Крушение Берлина» очень понравилось.

– Не очень, – возразил Коба, подавая руку Меловани. – Не очень, – повторил он, глядя артисту в глаза, от чего тот съежился. – Фильм не очень понравился... – он сделал паузу, – но понравился. И уточнил еще раз: – Понравился, но не очень. Значит, – обратился он уже прямо к Меловани, – вы хотите вжиться в образ товарища Сталина и пожить примерно в тех же условиях, что товарищ Сталин?

– Я только хотел...

– Я понимаю, – перебил Сталин. – Вы хотел. Все хотел. Каждый хотел. Я предлагал вам начать с Туруханской ссылки, но вам, как я слышал, мое предложение, как говорится, не улыбнулось.

Народный артист опять перепугался. Он подумал, что если он скажет, что предложение Сталина ему, да, понравилось, то Сталин действительно пошлет его в Туруханскую ссылку. А если он скажет,

что не понравилось, то Сталин рассердится и тоже пошлет его в Туруханскую ссылку или еще дальше. Еще он подумал, что вождей, при всей любви к ним, лучше видеть на портретах, а не живьем.

– Нет, почему, – начал он оправдываться. – Я хотел. Я хочу все, что вы хотите хотеть...

– Ничего, не оправдывайтесь, – перебил его Сталин. – Как говорят русские люди, оправдываться будете в милиции. Шучу, шучу. А пока зайдем сюда.

Сталин нажал на кнопку в стене, и невидимая прежде дверь повернулась на три четверти, открыв за собой небольшую комнату размером примерно три метра на четыре. Железная кровать, не никелированная, а простая, крашенная зеленой масляной краской и похожая на тюремную. Стоит головой к стене. Соломенный матрац застелен серым суконным солдатским одеялом. Из подушки даже торчит солома. Над головой скромное бра. У кровати простая сосновая тумбочка. На ней две книжки: «История ВКП(б)» и «Преступление и наказание». На стене, покрытой бесцветными обоями, несколько картинок, вырезанных из журнала «Огонек» и прибитых гвоздями.

Сталин сказал:

– Вот так живет товарищ Сталин. Вы хотите пожить в подобных условиях?

– Товарищ Сталин, ради вас, – Меловани приложил руку к груди, – ради вас я готов спать на чем угодно! Даже на гвоздях.

– Ну, – заулыбался Сталин, – на гвоздях – это пока не нужно. На гвозди – это только Лаврентий Павлович, он живодер известный, может уложить человека. Я такого артиста на гвозди... нет, нет. Разве что, если будете репетировать роль Рахметова.

У Меловани отлегло от сердца. Настолько отлегло, что он даже осмелел и спросил, зачем товарищу Сталину картинки из журнала «Огонек», когда у него есть возможность, хотя бы временно, взять из музеев хоть Репина, хоть Рембрандта.

Он спросил так и съезжился, опять испугавшись, а вдруг товарищ Сталин рассердится. Но товарищ Сталин не рассердился. Товарищ Сталин сказал:

– Вы знаете, генацвале, если я начну таскать картины из государственных музеев, то все мои министры, маршалы и секретари

обкомов тоже потащат изо всех музеев все к себе. Поэтому я не буду подавать им дурной пример.

– Ты, Гога, прежде всего, должен понять, – добавил Берия, – что товарищ Сталин – очень скромный человек. И в скромности своей он велик. И еще ты должен знать, что товарищ Сталин очень много работает. К сожалению, слишком много работает. Он работает на износ, но мы не должны смотреть на это равнодушно. Коба, дорогой, – обратился он к Сталину, – мы тут с товарищами советовались и решили, что ты слишком много работаешь. Мы должны тебя разгрузить. Вот я к тебе привел товарища Меловани. Ты видишь, как похож на тебя товарищ Меловани? Когда он надевает усы, он становится так похож, что родная мама вас бы не отличила.

При словах «родная мама» Сталин нахмурился. Он догадывался, что его родная мама не Кеке Джугашвили, но кто на самом деле его родил, он сам точно не знал. Тем не менее, когда упоминалась так или иначе его мать, он испытывал, сам не зная почему, неприятное чувство.

Он нахмурился, но Берия, который обычно замечал все изменения в настроении вождя, сейчас ничего не заметил и воодушевленно продолжил изложение своего плана:

– Так вот, дорогой Коба, мы подумали, почему бы нашему большому артисту не подменять тебя иногда в твоей работе? Ну, может быть, на каких-нибудь не очень важных заседаниях.

– Это как же он будет меня подменять? – Сталин свел брови к переносице.

– Ну так. Наденет твой костюм, френч, галифе и сапоги, наклеит усы или даже отрастит и будет сидеть, делать заметки, иногда хлопать в ладоши, иногда подавать какие-нибудь реплики.

– Хорошо, – одобрил Сталин. – А я что буду делать в это время?

– А ты будешь заниматься в своем саду. Подстригать розы. Отдыхать. Лежать. Читать «Капитал». – Он покосился на тумбочку. – Историю ВКП(б), «Преступление и наказание».

– Гм-гм, – отреагировал Сталин и призадумался. Встал. Прошелся по комнате. Раскурил погасшую трубку. Опять прошелся из угла в угол. Казалось, он был совершенно спокоен. Между тем в душе его бушевала буря. Но он так умел скрывать свои чувства, что даже такой тонкий психолог, каким был Берия, ничего не заметил.

– Значит, – сказал Сталин раздумчиво, – значит, вы решили, что товарищ Сталин устал. Так?

– Ну да, – подтвердил Берия, – да. Ты же правда немножко устал. Ты меня извини, дорогой мой старший друг и соратник, я знаю, что ты двухильный, ты работаешь днем и ночью, как вол или как лошадь. Но и твои силы имеют же какой-то предел, дорогой мой Коба! Высокий предел, очень высокий, но какой-то предел они имеют. Конечно, во время войны, когда решалась судьба всего мира, когда невероятный груз лежал на твоих плечах, ты его нес, как исполин, как Геркулес, как этот самый... ну, я даже не знаю, кто, ну а теперь, когда под твоим гениальным руководством мы разгромили наголову фашистские полчища, когда красное знамя гордо реет над ихней столицей, почему бы тебе хотя бы часть не самых важных обязанностей не переложить на плечи какого-нибудь простого человека, как на простого осла...

Товарищ Сталин совершил еще один рейд из угла в угол. Он попыхтел трубкой, почмокал губами.

– Товарищ Сталин устал, – согласился он печально, – товарищ Сталин постарел, одряхлел, он ни на что уже не годится, и его можно заменить кем угодно, даже ослом, так я тебя понял?

– Но, Коба... – хотел возразить Берия.

– Нет-нет, я ничего, – остановил его Коба. – Это идея хорошая, но она требует размышления. Я подумаю. Когда я подумаю и пойму, что ты хочешь постепенно отодвинуть меня от важных дел, я тебе выражу свое отношение к этому очень заметным способом. А пока пойдем и мирно, пока мирно, и скромно что-нибудь перекусим.

Выйдя из комнаты, Сталин опять нажал кнопку. Дверь бесшумно закрылась и слилась со стеной, не оставив сколько-нибудь видимого шва. В коридоре друг напротив друга стояли два охранника с автоматами «ППШ», молчаливые, неподвижные и немигающие. Молча пройдя между ними, Сталин нажал еще одну кнопку в стене. Открылась более просторная комната овальной формы. В ней – стол, покрытый белой скатертью, уставленный выпивкой и закуской. Два официанта, такие же безмолвные, как охрана, в белых костюмах и черных бабочках, с крахмальными полотенцами через руку вытянулись у стены.

– Вы свободны, – сказал им Сталин, входя в помещение. И добавил, обращаясь не столько к ним, сколько к Меловани: – Своих

гостей буду угощать я сам.

Охранники удалились. Сталин нажал кнопку, и комната превратилась в безвыходное замкнутое пространство. Сталин отодвинул стул, пригласил Меловани: – Садись, артист. Что пить будешь? Водку? Вино? Коньяк?

– А вы что? – спросил артист.

– А я «Хванчкару».

– И я «Хванчкару».

– И я, – сказал Берия.

Известно, что Сталин, когда надо, умел крепко выпить и редко пьянел. И Берия умел выпить. И Меловани был выпить не дурак. Они пили, пили много, провозглашали тосты за великого вождя, за государственную безопасность, за искусство вообще и за искусство перевоплощения в частности. И немного поговорили по-грузински, и попели грузинские песни, и пел особенно хорошо Меловани (артист он и есть артист).

Зашел разговор о кое-каких делах того времени, которые уже и пересказывать неинтересно. Вдруг Сталин вспомнил о летчике Опаликове, который не только сам сбежал, но и увез с собой лучшего русского солдата и героя Ивана Чонкина.

Вспомнил, рассердился.

– Ты, – сказал он Лаврентию Павловичу, – ты что мне говорил? Ты уверял меня, что этих людей достанешь. Ты их достал?

– А вот и достал! – дожевывая салат оливье, радостно сообщил Лаврентий Павлович. – Одного достал, а другого достану тоже, и очень скоро. Скоро, уверяю тебя, дорогой, достану и второго.

– А как же ты достал первого, и что это значит, что ты его достал?

– А вот что это значит. – Лаврентий порылся в портфеле, вынул оттуда папочку с газетными вырезками. Их было немного, штук пятнадцать, но все они были посвящены смерти полковника Опаликова. – Вот, Коба, это английские газеты, это французские, это немецкие. Все пишут примерно одно и то же. Они пишут, что у Кремля длинные руки. И у нас в самом деле длинные руки, дорогой Коба. Такие длинные, что мы кого хочешь и где хочешь достанем.

– И как же погиб этот несчастный полковник? – спросил Сталин потеплевшим голосом.

– Воды выпил, – сказал Лаврентий Павлович, отрезая кусок бифштекса.

– Воды? – переспросил Сталин. – Простой воды?

– Ну зачем простой? Минеральной, – сказал Берия и глупо хихикнул: – Простой минеральной воды без газа.

– А что Чонкин? Его не угостили той же водичкой?

– Как же, дорогой Коба. Ты же хотел его видеть живым, так мы тебе живым его и доставим.

– Когда?

– Скоро.

– Ты мне давно обещаешь, что скоро. Ну ладно. Еще немного подожду. Совсем немного, Лаврентий. Надеюсь, ты меня хорошо понял.

– Я тебя хорошо понял, Коба, – склонил голову Берия. – Я сделаю то, что нужно, – добавил он, вкладывая в свое обещание не тот смысл, на который рассчитывал Сталин. – А что это, между прочим, у тебя за картина, Коба?

– Где? – спросил Коба.

– Да вот, прямо перед тобой!

– Вот эта? – удивился Сталин. – Какой же ты темный, Лаврентий! Народ считает тебя вождем и носит на демонстрациях твои портреты и даже не представляет, какой ты темный, необразованный и невежественный человек. Это же русская классика! Это «Охотники на привале» замечательного русского художника Василия Перова!

– Вот оно что! – сказал Лаврентий, будто и правда только что узнал, что это «Охотники на привале». А про себя подумал: «Я-то, может быть, темный, невежественный, но ты проявил себя как настоящий лопух».

И у него были основания для такого мнения о своем соратнике, потому что тот, всегда предельно бдительный и настороженный, позволил провести против себя самый примитивный воровской трюк: отвлечь внимание. Когда он поднял глаза на картину Перова, потратил на это не больше десяти секунд. Но этих секунд вполне хватило Лаврентию Павловичу, чтобы опустить в бокал собеседника таблетку, которая немедленно растворяется хоть в воде, хоть в вине, не давая ни цвета, ни вкуса, ни запаха.

– Ну что ж, – сказал Сталин и поднял бокал. – Тогда давайте выпьем за солдата Чонкина и за всех солдат, без которых никакие генералы и даже генералиссимусы не смогли бы одержать победу над сильным врагом!

Второй раз Сталин пил за Чонкина стоя. И с ним стоя пили за Чонкина народный комиссар госбезопасности Лаврентий Павлович Берия и народный артист Советского Союза Георгий Михайлович Меловани.

Странный привкус был у вина, которое выпил Сталин.

И странное возникло ощущение. У Сталина закружилась голова. Он посмотрел на своих собутыльников, и ему показалось, что он стоит в центре какого-то круга, какой-то странной карусели, его собутыльники сидят на картонных лошадках и скачут вокруг него.

– Ты, Лаврентий, – начал Сталин, пытаюсь поймать Лаврентия взглядом. – Ты, Лаврентий, – хотел он ему что-то сказать, но Лаврентий крутился перед ним все быстрее, и с каждым кругом все уменьшался в размере, и в конце концов дошел до размера мухи, и вот совсем растворился в разжиженном воздухе. С тем и свет погас в глазах товарища Сталина, и товарищ Сталин уронил голову на стол, но не в салат, как некоторые могли бы ожидать, а просто на стол, рядом с тарелкой.

В комнате воцарилось молчание. Меловани сидел бледный, с открытым ртом и с недонесенным до него куском сулугуни. Берия же, напротив, закусывал как ни в чем не бывало.

– А ты почему не пьешь, Гога? – спросил он через какое-то время.

– Я? – переспросил Меловани. – Я... Я не хочу.

И отодвинул от себя бокал, отодвинул осторожно, как будто опасался, что жидкость, находящаяся в нем, сама плеснется в лицо.

– Ну, не хочешь, не надо, – сказал Лаврентий. – А я, пожалуй, выпью.

Он схватил бокал Меловани и опустошил его большими глотками. Посмотрел на Сталина, покачал головой. Посмотрел на артиста. Тот сидел бледный-бледный и мелко трясся. Так трясется собака, которую везут на живодерню.

– Слушай, дорогой, – обратился к нему нарком, – что с тобой? Тебе плохо?

– Нет, нет, – сказал Меловани поспешно. – Мне хорошо. А я ничего не видел. Я, – повторил он, – совсем ничего не видел.

– Не видел, ничего не видел, – поспешно, но не без юмора повторил Берия. – Ты ничего не видел, и я ничего не видел, а он и сейчас ничего не видит. А что ты дрожишь? Ты думаешь, я его отравил? Моего старого товарища и соратника, верного ленинца и вождя всех народов, ты думаешь, что я отравил? Я ему дал только немножко снотворного. Потому что он, я тебе говорил, он, товарищ Сталин, устал, он нуждается в отдыхе, и я, просто как старый друг, как коммунист коммунисту, ему немного помог. Сиди здесь, не рыпайся, я сейчас.

Берия ринулся в примыкавшую к столовой ванную комнату и вышел из нее с большой сверкающей бритвой, которую раньше называли опасной.

Увидев этот предмет, Меловани вскочил на ноги, кинулся к дверям, но они оказались закрыты. Тогда он прижался к стене и задрожал еще больше. Берия с бритвой приблизился к Сталину. Меловани немного пришел в себя и нашел в себе силы спросить прерывающимся от страха голосом:

– Я извиняюсь, вы собираетесь за... за... зарезать товарища Сталина?

– Ой, – поморщился Берия, поправляя заправленную Сталину за ворот салфетку, – что ж ты за собачий дурак, что ж ты за дурень ослиный! Почему у тебя все время такие глупые мысли, что я его отравил и хочу зарезать? За кого ты меня принимаешь? Чтобы я зарезал вождя международного пролетариата, отца народов? Ты что? Я хочу его побрить, чтоб он был такой красивый, как ты. А тебе приклеить усы, чтобы ты стал таким же безобразным, как он. Пойди в ванную, принеси помазок и мыло и приходи в себя. Ты сейчас будешь демонстрировать свое искусство. Мы сейчас посмотрим, какой ты артист. Сейчас ты сыграешь свою главную в жизни роль, и если ты плохо ее сыграешь, мы с тобой оба останемся без головы.

Через некоторое время дверь столовой товарища Сталина открылась, и в коридор вышли сам товарищ Сталин и два его гостя: Лаврентий Павлович Берия и Георгий Михайлович Меловани. Впрочем, сказать, что Меловани вышел, было бы неправильно. Он

буквально висел на Лаврентии Павловиче, обхватив его шею руками, ноги волочил по полу и бормотал что-то бессвязное.

– Вот, – посетовал Сталин, указывая погасшей трубкой на Меловани. – Народный, понимаешь, артист, а напился, как, понимаешь, свинья. Власик! – обратился он к встретившему их начальнику охраны. – Скажи твоим людям, пусть помогут Лаврентию Павловичу артиста донести до машины. А я ушел к себе, и сегодня меня больше не беспокоить.

История – это такая штука, это такой ящик, это такая камера obscura, полная таких жгучих тайн, что когда их узнаешь, хотя бы некоторые отдельные, так прямо дух захватывает, голова кружится и пересыхает язык. И ты качаешь головой и думаешь: нет, уж этого никак не может быть. А оно может, оно может, очень даже может. Быть.

В конце концов в НТС поняли, что ценного сотрудника из Чонкина сделать вряд ли удастся. Он был доставлен в небольшой городок, названия точно не помню, но кажется, это было где-то под Мюнхеном. Или под Манхеймом. Или даже под Мюнстером, где-то, в общем-то, на букву «М». Поскольку городок был небольшой, никаких стратегически важных промышленных и военных объектов в нем не было, бомбежек он избежал и был тихим, чистым, зеленым, как до войны. В нем были две церкви – католическая и протестантская, три школы, шесть магазинов, две бензоколонки, один кинотеатр, одна мастерская по ремонту автомобилей и тракторов, одна бойня, при ней – мясная лавка, небольшой рынок. Частью рынка в тяжелое послевоенное время была толкучка, где люди торговали кто чем: куском хлеба, старыми галошами, американскими сигаретами, эсэсовскими фуражками, орденами Третьего рейха, вилками, ложками и вообще чем попало.

Единственный военный объект, который был здесь и который союзники не разбомбили, оставили для себя, – это казармы бывшего артиллерийского училища. Теперь два двухэтажных казарменных здания из красного кирпича занимали американские солдаты, а остальные четыре барачного типа были превращены в лагерь для так называемых перемещенных лиц. Туда-то и попал Чонкин. Сразу по окончании войны здесь был полный интернационал: американцы, англичане, французы, итальянцы и прочие, но эти, перечисленные, немедленно разъехались по домам, где их встречали с большими почестями, а здесь остались поляки, болгары, румыны, но большинство составляли русские, точнее, советские разных национальностей, которые занимали целый барак № 4 с двухъярусными железными койками.

Эти люди домой не спешили, потому что дома их ждали в лучшем случае – лагеря для репатриированных, в среднем случае лагеря исправительно-трудовые, а в худшем – расстрел. Это были бывшие оstarбайтеры, военнопленные, полицейские, власовцы и прочие, в чем-то виновные или виновные только в том, что родились в России. Чаще всего это были вроде Чонкина простые русские и нерусские люди,

пассивные и покорные судьбе. Их гнали под пули, они шли под пули, их брали в плен, они сдавались. Когда сдавались, не думали о том, предатели они или нет. Они просто хотели жить, но Советское государство и Сталин считали это желание предосудительным. Было среди них и несколько женщин из числа угнанных в Германию, они работали на военном заводе, теперь завод закрыли, и всех, кто на нем работал, перевели в этот лагерь.

Чонкин спал на верхней койке, а его нижним соседом был инженер родом из Киева, но узбекского происхождения, как он сам называл себя, Усман Усманович Усманов. В июле 1941 года он попал в плен и всю войну провел в лагере. Немцы заметили, что он обрезан, и заподозрили его в том, что он еврей. Начальник лагеря, эсэсовец, не верил ему, что он не еврей, регулярно вызывал его к себе, допрашивал, пытался уличить во вранье, издевался, мочился ему в рот, но поскольку ничего не смог доказать, оставил его в живых. Рядом с Чонкиным в бараке располагался власовский офицер, чудом избежавший выдачи советским, с другой стороны спал и дико храпел по ночам герой-панфиловец, посмертно награжденный геройской Золотой Звездой и орденом Ленина. Так получилось благодаря буйной фантазии журналиста Криницкого.

Криницкий когда-то выдумал двадцать восемь героев-панфиловцев, которые якобы дали немцам неравный бой у разъезда Дубосеково и все до единого погибли. На самом деле, как уже было сказано, никакого такого боя у разъезда Дубосеково не было. Из двадцати восьми перечисленных якобы героев большинство осталось в живых, а сосед Чонкина в то время, когда Калинин подписывал указ о посмертном присвоении ему звания Героя Советского Союза, служил в Смоленске старшим полицаем. Вообще тут были разные люди. Большинство из них тосковали по своим близким, родным, родителям, женам и детям. Тосковали по родине и боялись ее. Ходили слухи, что американцы и англичане выдают бывших советских граждан советским властям, а выданных в лучшем случае ожидает тюрьма, а в худшем – смерть. Устрашающим примером всем была судьба воевавших в составе германских войск казаков генерала Краснова. В австрийском городе Линце англичане разоружили и выдали советским двадцать пять тысяч казаков с женами и детьми. Потрясенные коварством англичан, казаки стрелялись и бросались под поезд.

Ходили слухи, может быть, искаженные, будто те казаки, кому удалось доехать до первой советской железнодорожной станции, были тут же, у пакгаузов, расстреляны, а жены и дети отправлены в Сибирь. Страшно было, и большинство жителей лагеря, тоскуя по родине, встречи с нею боялись, как смерти.

Левое крыло барака занимали несколько человек, выделявшихся среди остальной массы своей образованностью и интеллектом. Кто-то из обитателей правого крыла назвал их «академиками». Среди этих академиков оказались и те самые мыслители, которых мы описывали в самом начале нашего повествования. Это удивительно и неудивительно, потому что эти мыслители оказываются везде, где скопление народа достигает условной критической массы и есть время и настроение о чем-то поспорить. Вы спросите, кто они, откуда, какого возраста? А я вам отвечу, что никакого. Эти люди всегда были, всегда будут и всегда есть. Если они и сменяются в поколениях, то это происходит совершенно незаметно, потому что пришедшие ничем не отличаются от ушедших. Они все время ожесточенно спорят между собой и никогда не приходят к согласию. Если один говорит «да», то другой обязательно скажет «нет». Но если тот, что говорил «да», вдруг в порыве великодушия согласится: да, вы правы, это, конечно, нет, тогда тот, который считал, что «нет», немедленно изменит свою точку зрения, искренне возмутится и скажет, что это, конечно, «да». Они вели между собой все время ученые разговоры и сами решали судьбы стран, народов и отдельных людей. Один из них считал, что Германию надо разоружить и оставить в покое. Другой находил, что следует всю ее расчленить не на зоны оккупации, а на отдельные земли, и разделить не только между Советским Союзом, Америкой, Англией и Францией, но принять в долю Голландию, Польшу, Чехословакию и Италию. Они спорили между собою, кто хуже – Сталин или Гитлер, и один из них нашел, что Гитлер хуже, а другой возражал, что хуже все-таки Сталин. Особенно большой спор вспыхнул по поводу разрушения города Дрездена. Один называл бомбардировки союзников варварскими.

– Воевать, – говорил он, – нужно только с армией, а не с мирными жителями.

– Не плетите чушь! – запальчиво отвечал другой. – В теперешней войне мирных жителей не было. Воевали системами, странами и

народами. В этой войне важен был дух воюющего народа. Когда немцы нападали на нас, они знали, что за ними есть немецкий народ, есть их отцы, матери, братья и сестры, которые их благословляют на подвиг. Кроме того, их вдохновляла надежда на безнаказанность. Когда немецкий летчик бросал бомбы на жителей Киева, Лондона или Ковентри, он сам готов был погибнуть, но был уверен, что на его маму с папой, на жену и на детей никакая бомба не упадет. Он, мерзавец, рассчитывал на благородство своих противников...

– И правильно рассчитывал, правильно, – встрял со своими возражениями Первый Мыслитель. – Мы, люди христианской цивилизации, не должны соревноваться с варварами в варварстве.

– Вот именно, что должны. Для того чтобы победить немецкий фашизм, мало было одержать победу на фронте, надо было сломить волю немецкого народа. Надо было всем немцам показать, что если благословленные вами ваши солдаты будут разрушать города и убивать мирных жителей, то и для вас нигде тыла не будет. Дрезден был уроком устрашения немецкого народа.

Чонкин издали слушал обоих мыслителей, и когда говорил один, мысленно соглашался с ним, а когда возражал второй, то и его доводы казались Ивану убедительными. А еще мыслители спорили, что для них родина – просто ли случайное место рождения или что-то побольше. Один из них с горечью сказал, что мы оказались в изгнании, а другой, сославшись на какую-то поэтессу, самоуверенно возразил:

– Нет, мы в послании.

Первый сказал, что его родина русский язык, а второй уверял, что он Россию унес на подошвах ботинок.

На другой день Чонкин посмотрел на ноги второго мыслителя и подумал: все врет. Ботинки у него были новые. Американские. Унести Россию на их подошвах вряд ли возможно.

Когда Чонкин переселялся в этот лагерь, он на всякий случай принес с собой кое-что из еды. Консервы, колбасу. Даже буханку хлеба, завернутую в немецкую газету «Нойер Беобахтер». Когда он разворачивал эту газету, на нее обратил внимание Первый Мыслитель и попросил почитать.

– Возьмите, – сказал Чонкин. – Только здесь же все не по-нашему.

– А мне все равно по-какому, – сказал Первый Мыслитель, увидевший заголовок статьи: «Сталин – сын лошади?»

Стал читать. Газета была старая. Еще та, которая сообщала о докладе полковника Опаликова, его странном сообщении и о его загадочной смерти.

Прочтя статью, Первый Мыслитель сильно возбудился и объявил всему бараку, что Сталин, оказывается, произошел от лошади Пржевальского.

– Что за чушь вы мелете? – поинтересовался Второй Мыслитель.

– А вот и не чушь! – возразил Первый Мыслитель. – Вот смотрите, здесь черным по белому...

– Вы посмотрите на этого человека, – покачал головой Второй Мыслитель, – он все еще верит печатному слову.

– Я бы не поверил, но здесь же факты, факты. Послушайте. Генерал Пржевальский, путешествуя по Северному Китаю...

– Не хочу даже слушать, – сказал Второй Мыслитель, демонстративно закрывая уши ладонями. – Вот скажите, – повернулся он к Усману Усмановичу, – вы трезвый и реалистически мыслящий человек, инженер, вы можете поверить, что Сталин произошел от лошади?

– Безусловно, могу, – сказал Усман Усманович. – Что касается таких людей, как Сталин или Гитлер, я готов поверить, что они произошли от шакалов, гиен, хорьков или скорпионов.

– Ха! – сказал Второй Мыслитель и развел руками. – Представьте себе, что я этих двух негодяев ненавижу не меньше, чем вы, но добросовестность ученого не позволяет мне жертвовать истиной в угоду личным пристрастиям.

– А вы ученый? – удивился Усман Усманович. – Из какой, извините, области?

– Я ученый широкого профиля, – туманно объяснил Второй Мыслитель.

– Я тоже, – сказал Первый Мыслитель.

– Мы оба – ученые широкого профиля, – подтвердил Второй, – но очень по-разному смотрим на вещи. Но среди нас есть человек, который может с большей компетентностью решить наш спор. Савелий Фелицианович, – повернулся он к сидевшему у печки ученому со странной фамилией Девочка, – ведь вы же биолог? Скажите этим людям, что гибрид человека и лошади в природе невозможен.

– Вы знаете, – задумчиво сказал Савелий Фелицианович, – я хотел уклониться от вашего спора, но если вы настаиваете на моем участии, то я вам скажу, что в природе возможно все. Все, что появляется по ее законам и что бывает следствием ее же ошибок. Конечно, природа снабдила все растения и животных механизмами защиты своего вида. Но иногда эти механизмы почему-то не срабатывают, и тогда все может случиться. Мы знаем массу гибридов среди растений и животных, выведенных искусственно или существующих как шутка природы. В древности такие шутки случались чаще. Тогда живые организмы были еще в стадии сотворения. Я начинал свой путь в науку как убежденный дарвинист. Я и сейчас думаю, что человек, в общем-то, произошел от обезьяны. Но мог путаться с другими животными. Тогда не существовало еще ни законов, ни морали, ни устойчивых эстетических представлений. Самцы и самки разных животных, начиная с человека, вступали между собой в беспорядочные половые сношения. Иногда массовая атака на слабые системы защиты видов давала результат, и тогда среди людей появлялись существа как будто вполне человекообразные, но с признаками присутствия в них наследственных характеристик, присущих другим представителям животного мира.

Тут Второй Мыслитель закатил глаза и развел руками.

– Ну если уж ученый биолог городит такую чепуху... – сказал он.

– Чепуху? – оскорбился Девочка. – Скажите, вы были когда-нибудь на озере Титикака?

– Где? – удивился тот.

– В Перу.

– Ну, а как вы думаете? Как я, советский человек, побывавший в ссылке, мог попасть в Перу?

– А вот я, советский человек, там побывал с научной экспедицией. Мы посетили несколько плавучих островов, поработали в Лиме, изучили результаты некоторых археологических изысканий. Мы нашли массу глиняных фигурок, слепленных представителями древнеперуанских племен. Эти фигурки, явно претендовавшие на адекватное отражение реальной действительности, часто оказывались посвящены половой жизни тогдашних людей. Так вот, многие эти скульптурки изображают половой акт человека с животными, чаще всего – с лошадьми и с ослами, результатом чего было появление маленьких кентавриков, образы которых тоже запечатлены в глине. Причем эти гибриды бывают похожи больше на лошадей, но некоторые стоят ближе к людям. Моя теперешняя теория состоит в том, что многие люди, произойдя в основном от обезьян, носят в себе наследственные признаки и других животных, и это, безусловно, отражается на складе их характеров и, разумеется, на поведении.

– Ну хорошо, – сказал Второй Мыслитель, – не буду с вами спорить. Допущу, что такое могло быть когда-то очень давно, но в наше время системы защиты видов, наверное, усовершенствовались.

– Безусловно, – согласился Девочка. – Но все-таки я вам сказал: природа и сейчас способна на все. Даже на бульшие ошибки.

Чонкин слушал эти разговоры внимательно и думал не о далекой древности, а о своих собственных деревенских детстве и отрочестве. Там и тогда попадались люди, совокуплявшиеся с кем попало. Двоюродный брат Митька Чонкин спал с матерью, Филипп Трофимов – с женой и своими четырьмя дочерьми, а были такие, что и животными не гнушались. Конюх Григорий жил с кобылой и не скрывал этого, пастух Игнат употреблял для тех же надобностей козу, а безногая Манька Делюкина, как говорили, тешилась со своим псом Рексом. Правда, потомства от этих сношений, кажется, не было. Кузьма Гладышев говорил ему, будто с мерином Осоавиахимом произошло чудо превращения в человека, но Чонкин тогда воспринял это сообщение как пустую болтовню. Сейчас, наслушавшись ученых людей, подумал, что ведь и правда, в жизни все может быть.

Во второй половине сороковых годов двадцатого века по островам Архипелага ГУЛАГ прошел слух, или, говоря языком тамошнего народа, «разнеслась параша», будто в подвалах Лубянки поселилась Железная Маска. То есть имелся в виду очень таинственный заключенный, лицо которого скрыто под железной маской, как у его предшественника из XVII века, содержавшегося под железной маской в Бастилии. К слову сказать, лицо того, из XVII века, на самом деле скрывалось не под железной, а под бархатной маской, что делало его жизнь, как нам кажется, не столь ужасной, но публика наша (мировая, а не только российская) такова, что ей подавай ужасы в чистом виде, а полуужас щекочет недостаточно. Что же до нашего советского заключенного, то, в соответствии с молвой, его лицо было закрыто именно железной маской, при этом о личности его говорили разное, но в целом сходились на том, что это был Сталин. Сталин, которого враги украли и подменили секретным народным артистом. Артист этот просто марионетка в руках врагов. На заседаниях он кивает головой и хлопает в ладоши, а на самом деле всем заправляют враги, которые именем Сталина истребляют лучшую часть советского народа. Для таких слухов были реальные основания. Они состояли, прежде всего, в том, что глубокая народная вера в Сталина, в то, что он бесконечно мудр, гуманен и справедлив, никак не сочеталась с теми злодеяниями, которые творились от его имени.

Так что, если вы предположите, будто автор всю историю с подменой Сталина артистом Меловани высосал из пальца, вы будете не правы.

Хотя, возвращаясь к маске, посмею предположить, что ее, ни железной, ни бархатной, вовсе не было. Но была отдельная камера. И не в подвале, а на первом этаже. Там и содержался заключенный под номером 37/14 БЩ, временно не имевший фамилии. Настоящей фамилии его не знал никто, кроме, вероятно, наркома Берии. Некто Лапочкин Иван Спиридонович, 1921 года рождения, доживший до нашего времени, а тогда работавший надзирателем в Лубянской тюрьме, теперь, когда ему позволили, разоткровенничался и недавно по телевидению сообщил кое-что, связанное с этой легендой.

Рассказывал, что зимой то ли в конце сорок пятого, то ли в начале сорок шестого года в охраняемый им коридор под указанным выше номером был действительно доставлен пожилой человек кавказской внешности, который при водворении его в камеру брыкался и кричал: «Отпустите меня! Я – Сталин! Я вас всех расстреляю!»

– А что, – спросил Лапочкина ведущий, – этот человек в самом деле был похож на Сталина?

– Да нет, – сказал бывший надзиратель, – что вы! Какой там Сталин! Я Сталина и на портретах видал, и живого тоже. Когда нас на демонстрацию водили по Красной площади, он там, на Мавзолее, стоял среди всех этих, ну там Ворошилова, Молотова, Кагановича и прочих. Так он же там стоял, да что вы говорите, да что бы я Сталина не узнал? Сталин-то был во! А этот маленький такой, плюгавый, лицо как будто горохом побито. К тому же без усов.

– Ну а в камере, – спросил ведущий, – он вел себя спокойно?

– Да где там спокойно! – взволновался Лапочкин. – Стучал в дверь ногами, кричал, уговаривал, обзывался. «Ты, – говорил, – фашистская морда, если меня выпустишь, я сделаю тебя полковником, а не выпустишь, расстреляю». И так шумел-шумел, пока я не выдержал. Я ведь тоже, хоть чекист и выдержку имею, но все ж-таки не железный.

– И что же вы, его побили? – предположил ведущий.

– Ну что значит побил, побил? Ну, дал раз по шее. А чего ж делать, если он человеческого языка не понимает?

Разумеется, мы, пытаясь восстановить подробности этой загадочной истории, основывались не только на показаниях старика Лапочкина. Нами опрашивались и другие свидетели тех событий, но их мало уже осталось. Один бывший политический заключенный, чьей памяти трудно доверять, рассказывал, что Сталин сидел вовсе не в одиночке, а в общей камере, как раз в той, в которой пребывал и он сам. Эта камера была населена разношерстной публикой, включая эсеров, троцкистов, космополитов, валютчиков и бандита по прозвищу Хан Батый. Конечно, новенький был водворен безымянным, просто под указанным выше номером, но никто ему не запрещал представляться своим истинным именем. Что он и сделал. Вошел в камеру, на него, естественно, обратили внимание, спросили, кто такой. Он сказал:

– Я – Сталин.

Он, вероятно, надеялся произвести своим заявлением переполох и, может быть, даже восстание среди заключенных, однако ничего подобного не случилось. Тюрьма не психушка, но и в ней, особенно в те времена, всякого народу с разными маниями или *косившего* под психов было предостаточно.

– Ладно, – сказал Батый, – мне, когда я прошлый срок мотал, и Ленин встречался. Поскольку, Сталин, ты у нас новенький, будешь спать у параши. Потом, будешь стараться, продвинешься.

– Здесь у нас, – ехидно заметил бывший фарцовщик Дусик Дорман, – примерно как у вас, в совдепии: беспартийные живут на полу у параши, а партийные – на нарах.

Я того человека, который мне всю эту историю рассказал, спрашивал, мол, неужели никто из вас не догадался, что Сталин – это Сталин?

– Да нет, – сказал он, по прошествии многих лет сам тому удивляясь. – А как мы могли догадаться? Он же был без усов. А без усов Сталин – это не Сталин. К тому же ведь существовал и другой, усатый Сталин. Он сидел в Кремле, носил усы, стоял на Мавзолее, выступал на особо важных, торжественных собраниях, баллотировался в депутаты Верховного Совета...

Само собой разумеется, свидетельствами двух стариков я не ограничился, но попытки пробиться к лубянским архивам кончились полной неудачей. Пожалел я, что не постарался того же сделать в начале девяностых годов прошедшего века, тогда там многое было доступней, тогда за полсотни долларов можно было пол-архива унести, а теперь... Ну, да что делать? Пришлось нам восстанавливать картину прошлого, основываясь на не очень достоверных источниках, сопоставляя разноречивые факты и употребляя в дело собственную интуицию и палец как нескончаемый источник наших сюжетов.

День клонился к вечеру, и за окном Лубянки сыпал густой сырой снег, когда в кабинет наркома госбезопасности двумя надзирателями – Лапочкиным и Ивановым – был доставлен заключенный № 37/14 БЩ без маски и без усов. Белая шелковая рубаша на нем помялась, ботинки были без шнурков, а брюки – без ремня и без пуговиц. Чтобы они не упали, заключенному приходилось держать их двумя руками, что он и делал.

Вид у него был жалкий. Всю ночь провел практически без сна, мерз и думал, что его расстреляют. Иногда засыпал, но ему тут же снилось, что дверь камеры бесшумно открывается и в нее входят прокурор, доктор и исполнитель приговора. Он кричал и просыпался от собственного крика. Еще вчера он воображал себе, что он вождь народов, великий полководец, ученый, корифей всех наук и хозяин шестой части всей земной суши, то есть что-то вроде императора.

...Пуговицы на брюках для того и были срезаны, чтобы он чувствовал себя жалким. Да и в самом деле, разве может человек чувствовать себя не жалким, когда двумя руками приходится держать штаны? Не может. Еще вчера он мог одним словом, движением руки или пальца привести в движение огромные армии и целые народы, мог переселить их с места на место, за тысячи километров, заставить рыть каналы и строить плотины, мог расстрелять любое количество людей или уморить их голодом, мог начать мировую войну, теперь же он ничего не мог, кроме как держать двумя руками штаны, чтобы они не спали.

Конвоиры ввели его в кабинет, поставили посредине, не доведя до стола метра два с половиной, и по приказу Лаврентия Павловича немедленно удалились. Берия сидел за столом, арестант стоял посреди кабинета, Берия смотрел на арестанта, доброжелательно улыбаясь, арестант смотрел в пол, но иногда бросал на Берию взгляд, полный жгучей ненависти.

После долгого молчания Берия сказал:

– Здравствуй, Гога!

Арестант невольно вздрогнул и посмотрел на Берию удивленно и вопросительно.

– Гога, я, кажется, с тобой поздоровался, – сказал Берия.

Арестант помолчал, а потом спросил:

– Почему ты называешь меня каким-то дурацким именем?

Берия возразил:

– Разве это дурацкое имя? Это очень хорошее имя, Гога. Георгий, Гога, что ж тут плохого?

– Плохого ничего нет, но ты знаешь, что меня зовут иначе.

Голос наркома госбезопасности посуровел:

– Я тебя зову Гогой, если я тебя так зову, значит, ты и есть Гога.

Ты меня понял, Гога?

Арестант промолчал.

Берия живо выкатился из-за стола, приблизился к арестанту и протянул ему руку:

– Здравствуй, Гога!

– Убери руку! – сказал арестант.

– Здравствуй, Гога! – повторил нарком и залепил арестанту такую оплеуху, что тот свалился на пол и, ожидая, что его будут бить ногами, отпустил штаны и схватился за голову. Но бить ногами его не стали. Берия постоял над ним, а потом тихо сказал:

– Вставай, Гога, вставай.

Арестант с большими усилиями поднялся и опять ухватился за штаны, чтобы те не спали.

– Ну вот видишь, Гога, – сказал ему Лаврентий Павлович отечески нежно. – Мне кажется, ты уже привыкаешь к своей роли и к своему имени. Правда, Гога?

Арестант промолчал.

– Гога, я тебя спросил, правда ли, что ты привыкаешь к своей роли и к своему имени? Ты, Гога, должен на мои вопросы всегда отвечать. Потому что, если ты не будешь отвечать, мне придется пригласить на помощь людей, которые, ты же это знаешь, помогут любому человеку, если он еще сколько-нибудь жив. Ты же сам меня учил, Гога, что если мы хотим добиться от кого-то каких-то признаний и очень постараемся, то даже самого железного человека мы можем превратить в кусок мычащего мяса, и он нам все равно скажет то, что мы хотим от него услышать. Подумай и скажи мне, Гога, что ты меня понял.

Арестант подумал. Он знал, на что способны помощники Лаврентия Павловича, и как человек, мыслящий реалистически, понимал, что лучше согласиться с Берией прямо сейчас, чем после того, как его превратят в кусок мычащего мяса. Конечно, он надеялся, что бериевская авантюра провалится. Верил, что верные ему люди, может быть, маршал Жуков, или маршал Конев, или кто-то еще, поймут, что произошла чудовищная подмена, и тогда... Тогда он еще подумает, как сделать смерть этого предателя и негодяя долгой и мучительной. Но пока он в руках этого мерзавца, мерзавец может сделать с ним все, что хочет. В этих условиях просто глупо лезть на рожон. Главное сейчас – хладнокровие и рассудительность. Не дать повода себя искалечить.

– Да, – кивнул он и сказал еле слышно: – Я – Гога, и я тебя понял.

– Вот и хорошо! – обрадовался Лаврентий Павлович. – Вот и чудненько. Раз мы с тобой договорились о том, что ты – Гога, можно, Гога, обсудить еще кое-какие дела. Садись сюда, в кресло, располагайся поудобнее.

Кресло стояло у стола для совещаний, примыкавшего к письменному столу наркома. Берия сел напротив и хлопнул в ладоши. В нашем тексте разные высокопоставленные особы часто хлопают в ладоши. Что делать? В те времена хлопанье в ладоши было распространенным способом привлечь внимание к себе или к чему-нибудь возле себя. Берия хлопнул в ладоши, и в кабинете возникли два генерала. Берия их попросил, они распорядились, и стол перед Сталиным украсился бутылкой «Хванчкары», блюдом с пирожками, тарелкой с сыром-сулугуни, вазой с фруктами и коробкой папирос «Герцеговина Флор». Берия дал знак, генералы испарились. Берия налил вина себе и собеседнику, сказав с усмешкой:

– Не бойся, не отравленное. Если хочешь, поменяемся бокалами. Твое здоровье! – Он протянул свой бокал к Сталину, тот с неохотой протянул свой. Чокнулись. Берия отломил кусок сулугуни.

– Так вот, дорогой, что я тебе скажу, – начал он. – Ты, конечно, великий человек, с этим я спорить не буду. Но ты очень жестокий тиран, ради власти своей одного человека готовый на все. Ты уничтожил и продолжаешь уничтожать очень многих людей, причем часто – моими руками. И многие люди думают, что это я такой жестокий, это я все делаю, а ты – хороший, сидишь в Кремле и ничего

не знаешь. На самом деле я только выполняю твои приказы. Я по натуре человек очень добрый. Да, я, конечно, бабник, но не палач. Палачом меня сделал ты. Ты миллионы людей загнал в колхозы и превратил их в беспаспортных рабов. Народ живет в постоянном страхе, а страна пребывает в глубоком застое, и ничто не может измениться, пока ты у власти. Я решил это дело исправить. Рискуя своей головой, я тебя похитил и подменил актером Меловани. Это очень хороший актер, он даже лучший актер, чем я ожидал. Он так здорово тебя играет, что никому в голову не приходит, что он – это не ты. Ни члены Политбюро, ни даже начальник твоей охраны генерал Власик ничего не заметили. Теперь страной на самом деле руковожу я. Он играет роль, я руковожу, а ты получаешься лишний. Что я должен в этом случае сделать? Я знаю, что бы ты сделал со мной, будь ты на моем месте. Но я этого делать не буду. Я мог бы также отправить тебя на конюшню и приставить к тебе какого-нибудь Чонкина, чтоб он возил на тебе воду и бил тебя кнутом. Но я и этого не сделаю, если ты согласишься на мое предложение. Я думаю, у тебя нет выхода, ты должен согласиться, Гога. Ты же умный человек, ты один из самых больших умниц на земле, ты понимаешь, что если ты послушаешься меня, ты будешь жить и даже очень неплохо. Если не послушаешься, мне придется сделать с тобой то, что ты сделал бы со мной, или в порядке высшей милости отправить тебя на конюшню и кормить овсом. Ты меня понимаешь, Гога?

– Говори свое предложение, – хмуро предложил Сталин.

– Оно простое и тебе пойдет на пользу. Ты будешь не просто жить. Ты будешь жить хорошо. С тебя спадет этот груз ответственности, который ты нес много лет...

– Говори короче.

– Говорю короче. Артист Меловани играет роль Сталина в Кремле, а ты будешь играть роль Сталина в театре, но твое якобы настоящее имя будет Георгий Меловани. А? Что ты об этом думаешь? Что ты так на меня уставился?

Сталин смотрел на собеседника неподвижным взглядом. Потом его всего затрясло. Он ухватился за край стола и стал медленно подниматься, глядя на Берию с дикой ненавистью, и взглядом своим он, казалось, сейчас же его испепелит.

– Стой! Стой! – закричал Берия и, перегнувшись через стол, положил руки на оба плеча своего бывшего вождя и учителя, придавил его назад к стулу.

– Слушай, дорогой, – сказал он, не называя Сталина больше Гогой. – Ты, прежде чем сердиться и возражать, подумай. В Кремль ты уже не вернешься, ты же понимаешь, что я этого допустить не могу. Значит, тебе остается альтернатива. С одной стороны, ты сам знаешь что. С другой стороны, ты остаешься живой и здоровый и даже играешь ту же самую роль, но не в Кремле, а на сцене, большой разницы нет. Ты там тоже будешь выходить, как обычно, с трубкой, будешь говорить какие-нибудь слова, тебе драматург Погодин напишет.

– Ну что ты говоришь, – вздохнул Сталин. Он говорил тихо, потому что устал гневаться. – Как я буду играть? Я же не артист. У меня склероз, я не смогу запомнить слова, которые мне напишет твой Погодин.

– Вай-вай-вай! Подумаешь, беда большая. Не сможешь запомнить, не надо. Говори что-нибудь. Говори, как в жизни, извини за выражение, любую херню, твой любимый народ встретит тебя и проводит овациями. И засыплет цветами.

Сталин протянул руку к «Герцоговине Флор», взял папиросу. Когда брал, судорога свела его пальцы и папироса сломалась. Он взял вторую. Рука дрожала. Берия поднес ему спичку.

– А скажи мне, Лаврентий, – сказал Сталин и закашлялся. – А скажи мне, Лаврентий, – повторил он и, переждав, пока пройдет комок в горле, продолжил: – Что ты сделаешь, если я со сцены или не со сцены обращусь к народу и скажу, что я не актер Меловани, а Сталин? Ты представляешь себе, что народ с тобой сделает? Он тебя сметет, он тебя разорвет на куски. Или твои молодцы не дадут мне этого сказать и пристрелят меня?

– Ой-ёй-ёй! – заерничал Берия. – Как ты мог такое подумать? Да кто же разрешит моим молодцам пристрелить такого большого артиста? Нет, дорогой Гога, я никому стрелять в тебя не позволю. Больше того, я тебе разрешаю говорить все, что ты хочешь. Но прежде, чем ты решишь выступить перед народом и сказать, что ты – Сталин, ты подумай, что этот народ о тебе подумает. И что скажут об этом наши психиатры. Об этом подумай хорошенько, дорогой Гога.

Сталин докурил папиросу и прикурил другую от услужливо поднесенной спички.

– Эх, Лаврентий, Лаврентий! – тихо сказал он. – Ты даже большая сволочь, чем я.

Следующее утро было выбрано Лаврентием Павловичем для второго шага в исполнении задуманного, что не казалось ему слишком сложной задачей. После завтрака он посидел еще за столом, поковырял заостренным ногтем мизинца в зубах, подумал о тех приятностях, которые его ожидали, сам себе улыбнулся, хлопнул в ладоши и опять на блестящем своем лимузине отправился на ближнюю дачу. Здесь его, к его неудовольствию, обыскали точно так же, как раньше, как будто ничего не случилось. «Ну и правильно, – подумал он, – они и не должны знать, что что-то случилось». Лично генерал Власик проводил его до самой дачи, где в гостиной, в угловом кресле, с потухшей трубкой в зубах, в мундире генералиссимуса сидел так похожий на Сталина артист Меловани.

– Здравствуй, Коба! – радостно приветствовал его Берия и не удержался, подмигнул.

– Здравствуй, Лаврентий! – отозвался Меловани. Подмигивать обратно не стал, но своей фамильярностью несколько покоробил Лаврентия Павловича. «Но, – подумал Лаврентий, – он так и должен себя вести, чтобы никто ничего не мог заподозрить».

– Свободен, – сказал Меловани Власику и повернулся к гостю: – Садись!

И указал подбородком на кресло напротив, не сделав даже попытки подняться. Это опять неприятно удивило Берия: что это он так себя развязно ведет? Все-таки в отсутствие свидетелей надо помнить о реальной субординации.

– Слушай, – сказал Берия, – я тут подготовил кое-какие указышки, а ты скажешь этому козлу Калинину, чтобы он их немедленно обнародовал.

– Указышки? – переспросил Меловани. – Это что?

– Вот, – Берия протянул собеседнику лист бумаги. – Первый – проект указа о переименовании Совета народных комиссаров в Совет министров. Второй – о назначении меня председателем Совета министров.

– И это все? – спросил Меловани.

– Нет. Вот, – Берия протянул ему еще бумагу, – это проект постановления Пленума ЦК об избрании меня Генеральным секретарем. А это тоже проект постановления об избрании Сталина, то есть тебя, Почетным председателем партии. Это очень хорошая должность. Ты будешь жить в идеальных условиях, получать большую зарплату и ничего не делать.

– Интересно, – пробормотал Меловани. – Очень интересно. А ты знаешь, Лаврентий, какая разница между просто председателем и почетным председателем? Такая же, как между государем и милостивым государем. Так вот, милостивый государь, я ваши проекты не принимаю.

Меловани постучал бумагами по колену, чтобы сложить их аккуратно, листок к листку. И тут же порвал их.

– Что это значит? – закричал Берия. – Послушай, генацвале! – Два чувства им овладели: возмущение и растерянность. – Ты, кажется, слишком вжился в свою роль. Я тебя поставил на это место не для того, чтобы ты сам решал, что принять, что не принять. Я тебя поставил для того, чтобы ты только делал вид, что чем-то руководишь. А на самом деле руководить все-таки буду я. Твое дело – только слушать мои подсказки и делать то, что я тебе говорю.

– Вот как! – вроде бы огорчился артист Меловани. Он поднялся из кресла, раскурил трубку, прошелся по комнате. – Значит, ты говоришь, что я слишком сильно вжился в свою роль? – Он сделал паузу и выпустил три дымных кольца. – А что я тебе скажу, кацо, – употребил он обращение, более пренебрежительное, чем предыдущее, и озорно потрянул головой. – А я тебе то скажу, кацо, что ты прав. Я действительно вжился в роль. Я настолько вжился в роль, что теперь чувствую, что я – Сталин. А ты только Берия. Значит, руководить буду я, а ты, как и раньше, будешь делать то, что тебе скажет Сталин. То есть я.

– Ах вот ты какой шустрый! – вскипел Берия. – Да что же ты себе придумал такое! Да я тебя... да я тебе... Да я знаю, что сделаю! Я... – Он полез в карман, где у него обычно лежал маленький дамский «вальтер», забыв, что тот был отнят у него на проходной. Но пока он шарил в пустом кармане, Меловани хлопнул в ладоши (опять хлопнул в ладоши, видно, без хлопанья эти люди никак обойтись не могли) – и в дверях мгновенно возник все тот же генерал Власик. Он внимательно

посмотрел на того, кого он считал Сталиным, и на Берию. Берия поспешно вынул руку из кармана и стал стряхивать с френча случайные крошки.

– Вам что-нибудь нужно, товарищ Сталин? – спросил генерал тихим, вкрадчивым голосом.

– Нужно, – подтвердил Сталин. – Прикажи подать нам два кофе по-турецки. С коньяком. С грузинским. Или лучше с армянским. Или даже с французским.

И щедро махнул рукой.

С тех пор и вплоть до 5 марта 1953 года государством СССР управлял народный артист Г.М. Меловани, и делал это так умело, что никто-никто не заметил подмены. Ни товарищи по Политбюро, ни сотрудники охраны, ни даже родные дети Света и Вася. Впрочем, известно, что именно в то время, то есть с декабря 1945-го и до декабря 1949 года, дети под разными предлогами к родному папе не допускались. А остальные, близкие к Сталину, люди подмены, как сказано выше, вовсе не заметили, потому что государственная машина работала, как и раньше. Как и прежде, шахтеры добывали уголь, сталевары варили сталь, повара варили суп, колхозники получали трудодни, дети ходили в школу, военнослужащие изучали биографию товарища Сталина, а работники Тех Кому Надо искали, находили и уничтожали врагов советской власти и лично товарища Сталина. Некоторые люди, конечно, не поверят, скажут, этого не может быть, скажут, неужели простой артист, который специальных курсов никаких не кончал, мог управлять государством? А я вам на это скажу, что дурное дело – нехитрое. Как показала практика, государствами, даже очень большими, кто только не управлял. Встречались время от времени и неглупые правители, но чаще среди управлявших попадались дураки, сумасброды, недоумки, недоучки, шизофреники и параноики. В советское время самый образованный из них учился в университете, но курса не завершил, его преемник недоучился в семинарии, а дальше пошли те, кто необходимые для своих речей слова вроде «коммунистический» или «интенсификация производства» могли выговорить разве что под гипнозом. Эти люди доказали, что управлять государством может, как Владимир Ильич Ленин цинично предвидел, даже кухарка, а мы имеем основание полагать, что может и лошадь. Георгий Меловани все-таки был не лошадь и не кухарка, но

народный артист, обладал даром перевоплощения и вообще талантливый был человек. Спустя много лет в Америке тоже артист управлял страной и тоже вполне успешно. Конечно, можно было ожидать, что Георгий Меловани, как человек гуманитарной профессии, оказавшись случайно на высшем посту, пожелает способствовать смягчению законов и нравов. Он поначалу и хотел способствовать. Но как только он надел на себя, условно говоря, шапку Мономаха, так сразу им овладели мания величия и мания преследования. Страх того, что кто-то заметит подмену, обуял его. Борясь с этим страхом, он начал устранять людей, слишком близко стоявших к Сталину и слишком хорошо его знавших. Выяснив, что начальник сталинской охраны генерал Николай Сидорович Власик регулярно ведет тайный дневник, Меловани велел этот дневник раздобыть на короткое время, заглянул в него. Дневник был целиком посвящен житию товарища Сталина. Записи, почти каждодневные, были о том, когда товарищ Сталин проснулся, что ел, кого принимал, какие отдавал распоряжения, что рассказывал за столом и как шутил. Все тексты отличались большим пиететом, но в свежих записях попадались такие строчки: «Мне иногда кажется, что в последнее время товарищ Сталин изменился в лучшую сторону – помолодел и похорошел... Вчера товарищ Сталин назвал меня голубчиком. Он сказал: «Голубчик, вы не могли бы принести мне стакан кефиру?» Странно, он никогда не пил кефир и не называл меня голубчиком. На днях он интересовался, за что сидит жена Михаила Ивановича Калинина, и спросил меня, не считаю ли я, что ее уже можно освободить. Мне кажется, что в последнее время товарищ Сталин не только похорошел внешне, но и стал проявлять некоторую несвойственную ему мягкотелость к врагам». Прочтя эту запись, Сталин, то есть Меловани, тут же отстранил Власика от должности и решил никакой мягкотелости не проявлять, дабы не вызывать ничьих подозрений. И действительно, вел себя не хуже того, кого подменил, в том смысле, что был так же ужасен, хотя в его роду, насколько нам известно, никаких диких животных замечено не было. А впрочем, никто не знает (наука до этого еще не дошла), каким образом звериные черты появляются в характере человека и проявляются в нем. Что особенно характерно для личностей тщеславных и властолюбивых, желающих управлять государствами, народами, армиями, как стаей, стадом, табуном или отарой. Когда я смотрю на таких людей, так

думаю, а что нам известно про их происхождение? Я имею в виду не ближайших предков, не бабушек с дедушками, не прабабушек и прадедушек, а тех человеческих предков из глубины веков, не оставивших нам письменных свидетельств своего существования. Как они жили, с кем мешались, куда семя свое изливали и чье принимали в себя? Когда-то нам Дарвин все объяснил, что обезьяна могла превратиться в человека. А откуда он знал? И кто ему это сказал? Как показывают некоторые исследования, научные, псевдонаучные, эмпирические и прочие, и как не показывают, в далекой древности по закону больших чисел массовые совокупления кого попало с кем попало могли дать самые разные и неожиданные результаты. В том числе и феномен появления самых разных гибридизированных существ. Доказать это трудно, опровергнуть практически невозможно, но если посмотреть на отдельных представителей человеческой породы, то в характерах тех, кто желает нами управлять, можно заметить в одних что-то волчье, в других лошадиное, в третьих шакалье, а в желающих быть управляемыми есть что-то от других, более покорных животных. Это же про них написал наш великий поэт:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Однако оставим пока эту тему и оставим артиста Меловани на его новом поприще, в его новой роли, и вспомним о настоящем товарище Сталине, которому пришлось играть роль Георгия Меловани. Положение, в которое попал этот игрок, поначалу казалось ему весьма унижительным. Потому что, играя на сцене роль вождя народов, в театре он был всего лишь рядовым артистом. Он должен был ходить на репетиции, учить текст, выслушивать замечания режиссера, иногда даже очень обидные.

Режиссер Алексей Бочаров, в жизни вежливый человек, на репетициях на актеров кричал, обзывал их разными словами,

Меловани от него доставалось особенно.

– Вы должны понять, – внушал он Георгию Михайловичу, – что вы играете не себя, а великого человека. Попробуйте себе немножко представить себя на его месте. На месте человека, от которого зависит судьба всего человечества. А вы играете какого-то управдома с нарочитым грузинским акцентом и суетливыми жестами. Я понимаю, что вам трудно подняться выше, но постарайтесь.

Некоторые актеры обижались на Бочарова, а Сталин-Меловани его терпел. У него, как ни странно, развилась несвойственная ему ранее терпимость к человеческим недостаткам, слабостям и порокам. А к роли своей постепенно он привык и даже стал находить в ней особое удовольствие. Он играл Сталина во всех спектаклях, где была роль Сталина, получал хорошую зарплату, награждался бурными аплодисментами, ни за что не отвечал и однажды решил, что такая жизнь его вполне устраивает. Но, бывало, по пьяному делу вдруг срывался с тормозов и начинал кричать тем, кто ему под руку попадался: «Я – Сталин! Я – Сталин!» Некоторые над ним смеялись, говорили: вот до чего доводят человека постоянные выступления в такой роли. Или вот до чего допился. Впрочем, все считали его безобидным сумасшедшим. Но бывало и так, что, когда он выкрикивал такое на улице, его хватали, тащили в кутузку, а то и в психушку. Однако там, после установления личности, перед ним немедленно извинялись, потому что хоть и не Сталин, но все-таки народный артист, исполнитель роли Сталина, то есть тоже такая личность, с которой лучше не связываться.

В начале весны 1946 года по лагерю перемещенных лиц объявили, что из Америки приехали фермеры и набирают себе работников, иначе говоря, батраков. Перед казармой выстроилось человек около ста. Было предложено тем, кто знаком с сельским хозяйством, сделать шаг вперед. Все сто, включая «академиков» и обоих мыслителей, шагнули вперед. Хотя некоторые из них не могли отличить борону от лопаты, а корову знали только по изображению на фантиках от конфет «Коровка». Желание не приблизиться к сельскому хозяйству, а удалиться от границ своей родины как можно надежнее, заставило их сделать этот шаг.

Возглавлял группу фермеров костлявый, сутуловатый человек с вислыми усами, задубевшей морщинистой кожей, в широкополой ковбойской кожаной шляпе. Он говорил на смеси русского, украинского и английского языков. Видимо, у него уже был опыт общения с претендентами на американское фермерство. Он вглядывался в каждого, выдававшего себя за крестьянина, и задавал вопросы «на засыпку». Чем отличаются озимые посевы от яровых? Какая разница между веялкой и молотилкой? Сколько сосков у козы? И так далее в том же духе. Чонкин слушал и удивлялся.

Один из мыслителей провалился на первом же вопросе, не зная, почему на лошадь надевают хомут, а на вола ярмо.

– Потому что через роги хомут не наденешь, – объяснил спрашивавший и потерял к мыслителю всякий интерес.

Все волновались, готовясь к вопросам, а Чонкин волновался по другой причине и, когда спрашивавший приблизился к нему, сказал:

– Пан Калюжный, здорово!

Человек, к которому он так обратился, вздрогнул, посмотрел на Чонкина очень пытливо и спросил:

– А откуда вы меня знаете?

– Как же! – озадачился Чонкин. – Мы ж с тобой в тюрьге вместе сидели, на одних нарах.

– В тюрьге? – повторил фермер. – Это шо такое «тюряга»? В тюрьме я сидел? На нарах? Ты сидел с кем-то, кто выглядывал так вот, как я, и звался Калюжный?

– С тобой сидел, – стоял на своем Чонкин, не понимая, почему пан Калюжный отпирается.

– Нет, – сказал Калюжный. – Не со мной ты сидел, а с моим братом Степаном. А я Петро. Мы же с ним твинсы, то есть, по-русскому, близнюки. Я у тридцатом году сбежал у Польшу, а потом у Америку. А его за меня посадили. И еще пришили какой-то процкизм. И когда ты его видел? У сорок первом? А я вот с самых тридцатых годов ничего про него не слыхал. Ну так ты шо, у Америку поедешь?

– Ну, поеду, – сказал Чонкин, меньше чем приблизительно представляя себе, что такое Америка и где именно она находится. Так Чонкин попал в отборную группу практически без экзамена.

Часть третья

Чонкин international

Путешествие от Гамбурга до Нью-Йорка было долгим и нудным. Чонкин плыл на палубе «Санта-Моники», – как ему показалось, очень большого, а на самом деле средней величины парохода довоенной конструкции. Пароход весь дрожал от напряжения, но упрямо продвигался к далекой цели, оставляя за собой белые буруны и дымя тремя высокими трубами. Дым сперва поднимался черным столбом, потом загибался крутой петлей, опускался к самой воде и нескончаемым шлейфом тянулся за кораблем.

Чонкин, хотя и слышал о существовании морей и океанов, все-таки не мог себе раньше представить, что где-то есть такие пространства, где, куда ни глянешь, вода, вода и ничего, кроме воды. В пути несколько раз штормило. Судно клонило с носа на корму и обратно. Будто раскачивало на огромных качелях. Один из пливших на «Санта-Монике», бывший советский моряк, сказал Чонкину: «У нас говорят про это так: штывает. В трюм наливает, из трубы выливает». Пассажирам раздали бумажные мешочки для рвотных масс, но они были израсходованы в первые сутки шторма, а потом все три палубы и трапы между ними были заблеваны. Все пассажиры, подобно участникам экспедиции Магеллана или Колумба, с нетерпением ждали появления твердой суши. Но и суша встретила путешественников неприветливо. Сначала их высадили на острове Эллис, названном теми, кто на нем побывал, Островом Слэз. Здесь людей, которые были при деньгах, пропускали без лишних формальностей, а безденежных допрашивали строго, с пристрастием, не являются ли они бывшими нацистами или коммунистами, не намерены ли вести подрывную работу, не надеются ли работать по-черному и уклоняться от уплаты налогов. Многих без объяснения причин заворачивали обратно, потому это и был Остров Слэз. Но Чонкину повезло. С помощью пана Калюжного он испытание прошел и вскоре очутился на кукурузной ферме в штате Огайо.

Прошло пятнадцать лет... Жизнь Чонкина разительно переменялась. Людям, не испытавшим того, что выпало на долю нашего героя, трудно себе представить, как мог такой нутряной русский человек прижиться в столь чуждой ему стране, как Америка. А вот и прижился. И очень даже прижился. Как американская картошка приспособилась к российской почве, так русский человек Чонкин приспособился к почве американской. В прошлой жизни, сколько его ни учили, не сумел он освоить науки стоять по стойке «смирно», поворачиваться через левое плечо (а почему не через правое?), запомнить, что такое план ГОЭЛРО и какие должности занимает товарищ Сталин. А здесь попал в естественные для себя условия и быстро, что к чему, разобрался. Может быть, только здесь он и почувствовал себя полноценной человеческой единицей.

Раньше ему не доверяли ничего, кроме управления лошадью. У пана Калюжного ни одной лошади не было, зато имел он два трактора, два комбайна и два автомобиля – легковой и грузовой. Не уставая удивляться себе самому, Чонкин освоил всю эту технику и даже проникся к себе определенным уважением, не переходящим, впрочем, разумных границ. Что касается английского языка, то средний крестьянин, как подсчитали некоторые исследователи, обходится запасом в триста-четырееста слов. Примерно этим количеством, в конце концов, овладел и Чонкин. А поскольку он знал еще триста-четырееста русских слов, то на фоне соседей мог бы сойти за полиглота. Тем более что эти два языка соединились и присутствовали в его речи в смешанном виде.

Жили они втроем: пан Калюжный, его жена Барбара, привезенная им из Канады, и Чонкин, которому была отведена часть дома со своим входом, уборной и душем. Кухня у него тоже была своя, но питались они вместе, плотно и однообразно. Утром Барбара готовила омлет, или кукурузные хлопья с молоком, или запеченный в духовке красный грейпфрут и кофе без кофеина. Днем мужчины брали с собой пластмассовые коробки с сосисками или гамбургерами, щедро политыми кетчупом, вечером дома ели кукурузную кашу с молоком или творог, называемый здесь фермерским сыром. Спиртного не пили

совсем. К еде Барбара подавала простую воду со льдом. Летом работали с утра до ночи, зимой позволяли себе расслабиться и по вечерам играли в карты, а когда появился телевизор, садились с попкорном к экрану и, жуя его, смотрели старые фильмы.

По воскресеньям ездили они за двенадцать миль в церковь (пан Калюжный говорил: «в церкву»). Там отец Майкл (на основной работе – пожарный) читал проповеди и служил молебны, нисколько не заботясь о каких бы то ни было обрядах, правилах и канонах. Молебны были о делах и заботах своих прихожан, о здоровье их самих, их родных, друзей и знакомых, о здоровье и благополучии любимых животных, включая собак, кошек, коров, коз, баранов и лошадей.

Чонкин так врос в американскую жизнь, что она вскоре стала казаться ему единственно естественной и нормальной. А Россия не только отдалась от него географически, но и душевная его привязанность к своей родине чем дальше, тем уверенней слабела. С течением времени он думал о России все меньше и меньше, тем более что и повод случался не часто. В доме был репродуктор, передававший в основном только местные новости, начиная с пожаров, аварий, убийств и самоубийств. Убийства и самоубийства, правда, случались крайне редко, потому что народ здесь жил простой, здоровый душой и телом, не склонный к депрессиям и с нормальной моралью, усвоенной от рождения. Не все фермеры читали Священное Писание, не все могли сформулировать правила своего поведения, но всем совесть подсказывала, что нельзя убивать, красть, лгать, лжесвидетельствовать, и к прелюбодеянию относились не снисходительно. В американской провинции тех времен (да и в наше время случается) домов не запирали и не представляли даже, что кто-то может войти и взять чужое. Там Чонкин жил с местными людьми и местными интересами, ничего не зная о том, что происходит на родине. Но о смерти Сталина в свое время узнал от фермера Тимоти Паркера, которому сказал о ней Джесси Кларк, читавший регулярно газету «Голос деревни». Потом Чонкин сам услышал об этом по радио и удивился, что даже такие люди, как Сталин, иногда умирают.

Смерть Сталина породила большую скорбь всего советского народа, смертельную давку на Трубной площади и оживление в стане западных советологов, которые между собой держали пари, кто займет место Сталина: Берия, Маленков или Молотов? Некоторые из них

высказывали подозрения, что советский владыка умер не своей смертью. Подозрения эти тогда возникли, но высказываются до сих пор, и наиболее подозреваемым является, конечно же, Лаврентий Павлович Берия. И не зря. Он больше других боялся живого Сталина, одного и второго, и, возможно, больше других надеялся на захват освободившегося трона. Некоторые исследователи считают, что не только Берия был заинтересован в смерти советского вождя, но и другие его соратники, включая Молотова, Маленкова, Кагановича и Хрущева. Существует также версия, что возможные участники покушения действовали не только ради собственного спасения, но и для спасения мира. Как утверждают некоторые ученые, есть основания предполагать, что Сталин или тот, кто, сидя в Кремле, называл себя этим именем, к началу пятидесят третьего года совсем уже впал в глубокую паранойю и, понимая, что жизнь его завершается, задумал не уходить из нее в одиночку, а увести с собой как можно больше людей. Может быть, даже весь мир. С этой целью он задумал ввергнуть человечество в Третью мировую войну. Первым шагом к войне должна была стать депортация евреев, намеченная на 5 марта 1953 года. Она бы вызвала возмущение во всем мире, резкое обострение международной обстановки, препирательства с американцами, взаимные угрозы, а за угрозами могли бы последовать и действия. В то, насколько все эти версии серьезны, мы вдаваться не будем, но у нас есть еще одна, дополнительная, не опровергающая никакие из перечисленных.

Чтобы вникнуть в наши рассуждения, надо вспомнить о посещении Сталиным, или Лже-Сталиным, иначе говоря, тем Сталиным, который к тому времени реально управлял страной, 28 февраля Московского театра драмы (МТД). Накануне, 27 февраля, он смотрел в очередной раз «Лебединое озеро», а на другой день наметил посмотреть вместе со своими соратниками фильм «Возмездие». Но когда возвращался из Большого театра в Кунцево, решение свое изменил, чему поспособствовал ехавший с ним в одной машине Лаврентий Берия. С тех пор как эти два человека выяснили, кто из них главный, Берия осознал, что никакого другого выхода у него нет, и вернулся к своей привычной роли преданного друга, соратника и наперсника товарища Сталина. Однако интриги свои продолжал плести, но с большей осторожностью, чем раньше. Меловани доверял Лаврентию еще меньше, чем настоящий Сталин, и на всякий случай Министерство госбезопасности передал некоему Игнатьеву. А Берии поручил управлять атомной промышленностью, считая ее таким же провальным делом, как сельское хозяйство. Но все-таки он был только артистом и интригами высшей сложности в достаточной степени не овладел. Он не понял, что Игнатьев есть человек, подсунутый ему Берией, точно так же, как Иван Хрусталеv, заменивший несчастного генерала Власика, оклеветанного, отстраненного от должности и в конце концов посаженного по уголовному обвинению. Сталин настоящий, конечно, Берию раскусил бы, а ненастоящий остался в душе артистом и потому позволил остаться коварному злодею около себя.

Так вот, 28 февраля Лаврентий Берия вызвался проводить товарища Сталина после спектакля домой, чтобы по дороге обсудить предстоящую депортацию евреев и ожидаемую в связи с этим бурю народного гнева. Но, видя, что Сталин после просмотренного балета находится в слишком благодушном для такого обсуждения расположении духа, решил эту тему отложить и продолжить разговор об искусстве. Тем более что и повод тут же нашелся. Когда проезжали по Арбату, Берия увидел афишу и обратил на нее внимание Сталина. Афиша извещала публику о том, что завтра в МТД состоится

спектакль по пьесе лауреата Сталинской премии драматурга Михаила Погодина «Сталин в октябре». Роль товарища Сталина исполняет народный артист СССР Георгий Меловани.

– Это что же, – нахмурился Лже-Сталин, – культ личности дошел уже до такого маразма, что в известном произведении Ленина заменяют Сталиным?

– Нет-нет, – возразил Берия. – Ни в коем случае. «Ленин в Октябре» – это Ленин в октябре семнадцатого года. А здесь речь идет об октябре сорок первого. Ты, конечно, хорошо помнишь, Коба, что было в октябре одна тысяча девятьсот сорок первого года?

– Да, конечно, – оживился Коба, – я, конечно, хорошо помню. В октябре сорок первого года я был в городе Куйбышеве и там познакомился с одной такой певичкой...

– Извини, дорогой Коба. Позволь мне тебя перебить. Мне кажется, ты немножко путаешь. В Куйбышеве был актер Меловани, а ты, товарищ Сталин, со свойственным тебе необыкновенным мужеством, остался в Москве и своим личным присутствием вдохновлял на подвиг наших воинов, оборонявших Москву.

– Ах да-да, правильно, – поспешно согласился Коба, – в то время, как актер Меловани волочился в глубоком тылу за певицами, я, товарищ Сталин, со свойственным мне мужеством... Ты мне можешь напомнить, как это было?

– Зачем я? – пожал плечами Берия. – Завтра суббота. Можно отдохнуть немножко от повседневной работы, развлечься и посмотреть, как изображают это время драматург Погодин, артисты театра МТД и наш главный, так сказать, – он хихикнул, – народный артист.

Сталин сначала немного напрягся, попытавшись понять, не кроется ли за предложением Лаврентия какой-нибудь подвох. Посмотрел на того внимательно. Берия ответил ему немигающим встречным взглядом честного человека.

– А что? – сказал Сталин, и в глазах его загорелся озорной огонек. – Давай попробуем и посмотрим, что там делает наш народный артист. Шекспир, Лаврентий, говорил: «Весь мир театр, и люди в нем актеры». Но одно дело играть просто в жизни. А другое дело – на сцене. Даже самого себя не каждый может сыграть достоверно. Вот представь себе, что тебя выпустили на сцену, чтобы ты, Берия, сыграл

роль Берии. Ты думаешь, ты сыграешь? Нет. Ты так сыграешь, что любой зритель скажет: нет, это не Берия.

– Но почему ты так думаешь, Коба? – обиделся Лаврентий Павлович. – Откуда ты знаешь, Коба, что во мне не погибает гениальный актер?

– Нет, Лаврентий, – покачал головой Сталин. – Никто в тебе не погибает. Ты злодей. А гений и злодейство, как Пушкин говорил, не очень-то совместны. Но завтра мы посмотрим на другого злодея и решим, прав был наш великий поэт или не прав.

Результатом этого разговора было появление на другое утро в МТД людей в штатском, которые произвели большой там переполох. Осмотрели все входы и выходы, один из них сочли лишним и велели заколотить гвоздями. Проверили список всех участников спектакля, включая помощника режиссера, администраторов, билетерш, осветителей и рабочих сцены. Заведующего постановочной частью велели от работы временно отстранить по причине еврейской фамилии. Распорядились оставить в партере тридцать мест для сотрудников охраны. Режиссер-постановщик, перепуганный до смерти, провел специальное совещание с труппой, потом отдельно поговорил с исполнителем главной роли.

– Георгий Михайлович, – сказал он, нервничая. – Очень вас прошу, завтра ни капли в рот и подойдите к делу очень серьезно. Я знаю, что товарищ Сталин очень ценит вас как артиста. Так вот, я вас очень прошу, постарайтесь оправдать доверие товарища Сталина. Завтра вы должны сыграть так, чтобы товарищ Сталин поверил в ваш образ, поверил, что вы – это он.

– Уверю вас, – усмехнулся Лже-Меловани, тоже вполне взволнованный, – товарищ Сталин очень даже поверит, что я – это он.

Хотя кассы продали только четверть билетов, зал был заполнен на сто процентов за счет секретных агентов и пригнанных с завода «Серп и молот» так называемых «передовиков производства». То есть людей, которые на производстве работали редко, потому что, облеченные особым доверием начальства, были регулярно посылаемы на казенные митинги, демонстрации, конференции, заседания, совещания, где выражали народные радости по поводу, скажем, перевыполнения производственных планов или гневались на международных империалистов за то, что те еще живы.

В тот день был сильный снегопад, и несколько специальных машин до самого вечера счищали снег перед театром. Ровно за пять минут до спектакля к служебному входу подкатили один за другим несколько длинных черных лимузинов. Из них вышли Сталин, Берия, Хрущев, Маленков и Булганин. Их провели в ложу, и спектакль немедленно начался.

Сначала показали большой самолет. Механик и моторист готовили его к полету. Моторист сказал, что он слушал, что на самолете повезут в глубокий тыл какого-то очень важного человека, может быть, даже самого Сталина. Механик возразил, что Сталин не тот человек, кто в трудную минуту оставит нашу столицу на произвол судьбы. Моторист вспомнил Кутузова, который когда-то Москву оставил французам и тем самым их погубил. Механик согласился, но напомнил мотористу, что, во-первых, в 1812 году Москва не была столицей, а во-вторых, Кутузов – это всего лишь один из царских военачальников, а Сталин – единственный и незаменимый вождь всего прогрессивного человечества.

Декорации сменились, и на сцене появились другие люди – участники заседания Государственного Комитета Обороны. Они говорили о критическом положении на фронте, о том, что немцы подступили вплотную к Москве, об эвакуации в Куйбышев заводов, фабрик и государственных учреждений, а ведущий совещание Лаврентий Берия (артист Квантурия) предложил в первую очередь вывезти из Москвы товарища Сталина, как наиболее важную ценность. Все члены ГКО согласились с Берией и постановили просить товарища Сталина немедленно покинуть Москву. В это время на сцене появился сам товарищ Сталин, который должен был выслушать предложение и затем с легким грузинским акцентом гордо ответить, что, когда бывает особенно трудно, товарищ Сталин поле боя не покидает. Но он еще не успел ничего выслушать и ничего сказать. Он только вышел на сцену, и публика тут же взбесилась. Весь зал в едином порыве вскочил на ноги, зрители стали бурно аплодировать вышедшему. Соседи по ложе другого Сталина посмотрели на него и тоже вскочили. Зараженный ими, встал и он. В зале началась такая

овация, что, казалось, рухнут стены театра. Раздались выкрики «Браво!» и «Великому Сталину ура!». Тут зрители увидели в ложе второго Сталина, повернулись к нему, потом опять к тому, что на сцене, и снова к тому, что в ложе, и так вертелись все время с истерическими выкриками, и это был стихийный сеанс массовой шизофрении.

Затем спектакль продолжился. Сталин ходил по сцене, курил трубку, произносил что-то занудное, самолет стоял, напрасно дожидаясь своего пассажира, ополченцы выстраивались в очередь к военкоматам, затем они же с песней «Вставай, страна огромная» шли через Красную площадь прямо на фронт, а товарищ Сталин провожал их, стоя на Мавзолее. Каждое его появление публика встречала бурно. Она взрывалась, визжала, отбивала ладоши, впадала в истерику, затем поворачивалась к ложе и переадресовывала свой экстаз в ее сторону.

Если бы показать ту, уже забытую, пьесу сегодняшнему зрителю, так он вряд ли досидел бы до середины первого акта. Да и тогда публика не очень-то на нее ломилась. Однако присутствие на спектакле сразу двух Сталиных, настоящего и игравшего роль настоящего (а кто из них какой, публика, уже напитанная разными слухами, точно не знала, но в душевном порыве не делала различия), – вот что стало причиной массового помешательства. Когда тот Сталин, что был на сцене, вышел на нее для произнесения своего последнего монолога, публика наградила его очередной порцией бурных аплодисментов и опять повернулась к ложе. Но там уже никого не было.

Другой Сталин, а затем все его соратники, так тихо покинули ложу, что почти никто и не слышал. Оделись в кабинете директора. Директор с виноватой улыбкой спросил:

– Товарищ Сталин, вам не понравился спектакль?

– Понравился, – ответил товарищ Сталин. – Понравился, но не очень.

– А не хотите ли, – осмелел директор, – сделать какие-нибудь замечания исполнителю, товарищу Меловани?

– Нет, – сказал Сталин, – лично не хочу. А вы ему передайте, что хорошо играет. Достоверно. Очень хорошо вжился в роль. Так играет, что я сам не пойму, кто из нас настоящий.

Его окружение залилось громким хохотом. Он посмотрел на них мрачно, и они замолчали. Они поняли, что, хотя он и шутит, настроение у него такое, что лучше держаться подальше.

Настроение у него было правда чернее черного. По дороге в Кунцево он все время толкал водителя в спину и кричал:

– Гони! Гони! Гони!

Это было странно. Обычно он дорожил своей жизнью и быстрой езды не любил. Прежние его проезды, или, точнее, их проезды, Сталиных, первого и второго, по Москве были неспешными, величественными и зловещими. Поэт Слуцкий отразил их стихотворением: «Бог ехал в четырех машинах». Теперь машин было гораздо больше, потому что за четыремя его машинами двигались соратники – каждый с отдельной своей охраной. Шуршали шины, вихрился сухой предвесенний снег, милиционеры не успевали перекрывать светофоры и истерически свистели во все свистки.

Он расположился на заднем сиденье, возбужденный необычайно. Театр произвел бурю в его душе. Сейчас он думал, что совершил в жизни непоправимую, роковую ошибку: взялся играть роль, которая ему не по силам и не по душе. Хотя не взяться за эту роль он не мог, ему навязал ее эта сволочь Лаврентий. Но он и сам на первых порах соблазнился. Хватит ли таланта сыграть так правдоподобно, чтобы никто не узнал и не заподозрил? Хватило, и это льстило его самолюбию. Пожелал насладиться властью. Насладился, упился, но как только взял ее на себя, она навалилась на него тяжелым, невыносимым грузом. И с каждым днем давила все сильнее. Тяжела ты, шапка Мономаха! Он думал, что это просто эффектная фраза. Теперь понял: нет, не фраза.

Власть его была безгранична. По прихоти он мог решить судьбу отдельных личностей и миллионов людей, и чем дальше, тем больше пользовался этой возможностью. Ему это нравилось, и это же повергало его в уныние. Одним словом, намеком, движением пальца, кивком головы он мог привести в движение миллионные массы. Любого из своих подданных он мог поднять на недостижимую высоту, свергнуть с нее, наградить ни за что или ни за что уничтожить. И он пользовался этой возможностью, как будто против своей натуры, но все чаще и все в больших масштабах. Отдалил от себя своих соратников. Перемешал их в ЦК с никому не известными личностями.

Сменил многолетнего начальника своей охраны, поощрил по всей стране травлю евреев и наметил на 5 марта их депортацию. Но чем дальше и шире пользовался он своей властью во зло людям, тем большее зло ощущал на себе. Страх, что за все, им сделанное, ему воздастся, проник в его душу и полностью ею овладел. Он боялся выстрелов из-за угла, отравленной пищи, суда народов, да и божьего суда не исключал. Этот страх становился все более невыносимым. Он терзал его неустанно днем и ночью. Ночью, если не спал, мерещилось, что кто-то бесплотный входит в его комнату с целью убить, задушить, утопить. А если спал, то опять-таки его изводили кошмары, после которых он вставал измученный, помятый и желтый, с лихорадочным блеском в глазах и желанием кому-нибудь вырвать печенку.

В это же время настоящий Иосиф Виссарионович Сталин, очередной раз сыгравши самого себя, ушел в гримерку. Достал из тумбочки початую бутылку и соленый огурец. Налил полный граненый стакан. Выпил, закусил, смыл грим, снял и положил в ящичек под зеркалом накладные усы. Переоделся. Добавил еще глоток и, попрощавшись с другими персонажами спектакля, пошел вверх по улице Горького в философско-приподнятом настроении. Вспоминал приезд своего двойника и всей камарильи, члены которой считаются вождями, людьми, облеченными большой властью. А на самом деле они, как это было очень заметно со стороны, самые жалкие и бесправнейшие люди. Холуи. Человек, который считается их вождем, может любого из них унижить, оскорбить, щелкнуть по носу. Любого может посадить, расстрелять или отправить в лагерь его жену. Никакой человек, из самых простых, не живет такой ужасной жизнью, как эти. Они стоят на трибуне Мавзолея, их портреты развешаны по всей стране, люди думают, что это вожди, небожители, а они просто никто. Тля. Жалкие рабы и подхалимы! Они вьются вокруг своего пахана, внимая с благоговением каждой произнесенной им банальности. Громко и почти натурально (могли бы играть на сцене) хохочут после каждой произнесенной им плоской шутки. А сами (это видно даже со сцены) ненавидят его и ждут, когда он откинет копыта. И он, по существу, раб обстоятельств. Всегда должен быть начеку, не доверять никому из тех, кто входит в число самых доверенных, не верить их словам, намерениям, движениям и улыбкам. Его удел – всегда бдительно следить, чтоб не сошлись, не сговорились застрелить его,

отравить, пришибить пепельницей, задушить подушкой. Но как понять, что у них у каждого по отдельности и у всех вместе на уме? Пока он был в Кремле, его все время мучили неразрешимые подозрения, следствием которых была мания преследования. Он освободился от нее, когда превратился из вождя в лицедея. Теперь он свободен от власти и от страхов.

Он идет по улице, он никого не боится, он никому не нужен, и это счастье – быть никому не нужным!

В одиннадцатом часу ночи вереница черных машин подкатила к воротам уже описанной нами дачи. Из машин высыпали одинаково упитанные люди в темных пальто с серыми каракулевыми воротниками и шапками из того же меха. Вышел хозяин дачи в маршальской шинели и фуражке.

Начальник охраны доложил, что на даче все в порядке, караул в полном составе несет службу.

– Хорошо, – сказал хозяин и повернулся к людям, приехавшим вместе с ним: – А вы зачем приехали? Куда собрались?

Среди приехавших возникло замешательство. Они жались друг к другу, не зная, как себя вести и что отвечать. Смелее других оказался, конечно же, Лаврентий Павлович. Он выдвинулся вперед:

– Дорогой Коба, ты же сам приглашал нас на ужин.

– Я передумал, – отвечал мнимый Коба. – Мне надоели ваши мерзкие рожи. А твоя, Лаврентий, рожа – особенно. Убирайтесь.

Его соратники знали свое место. И знали, как вести себя в таких случаях. Они немедленно рассеялись по машинам и исчезли в них, бесшумно прикрывши дверцы. И машины тихо, как на цыпочках, одна за другой ушли в темноту.

Войдя в дом, Сталин сбросил шинель на сундук, стоявший в прихожей, подошел к двери в одну из четырех спален. К нему подскочил новый начальник охраны Иван Хрусталев:

– Товарищ Сталин, какие будут распоряжения?

– Убирайтесь все вон! – сказал Сталин.

И закрылся в комнате. Что было дальше, подробностей не знает никто. Охранники, оставшиеся за дверью, слышали, как он ходил по комнате необычным для него быстрым шагом. Дверь была закрыта наглухо, но где-то вверху сквозь узкую щель проникала еле заметная полоска света и запах дыма папирос «Герцеговина Флор». Было тихо. Однако в два часа ночи тайно установленная Берией служба прослушивания телефонов зафиксировала разговор, который нам показался бы странным, если бы мы не знали, в чем дело.

Звонок был от товарища Сталина из Кунцева актеру товарищу Меловани. Вот полная расшифровка состоявшегося разговора:

С.: Добрый вечер.

М. (недовольно): Какой вечер? Уже третий час ночи.

С.: Извините, но я знаю, что вы поздно ложитесь. Я тоже. Вы знаете, кто с вами говорит?

М.: Догадаться не трудно.

С. Да, наверное. Я надеюсь, вы еще помните мой голос по старым фильмам.

М.: Ну и что?

С.: Хочу вам сказать, что вы сегодня замечательно играли.

М. (не без иронии): Приятно слышать от профессионала.

С. У вас только один недостаток. Вы своей игрой затмеваете всех остальных, и это неправильно. В слаженном спектакле очень талантливый актер должен сдерживать себя и не слишком превосходить других. Но у вас такой талант, что вы всегда будете выделяться.

М.: Это не талант, а характер. Я всегда был лидером.

С.: И стремление к лидерству у вас сохранилось?

М.: Не знаю. Может быть, да.

С.: А скажите, пожалуйста, как бы вы отнеслись, если бы мы опять поменялись ролями? (Длинная пауза.) Почему вы молчите?

М.: Это серьезно?

С.: Можно так считать.

М.: Можно считать или серьезно?

С. (после долгой паузы): Очень серьезно.

М.: Тогда я должен подумать. Вы не меняли номер прямого телефона? Я подумаю и позвоню.

Через полчаса в спальне якобы Сталина раздался звонок. Его слышала охрана. Сталин взял трубку и в ответ на свое «алло» услышал одно слово: «Нэт!»

Дальше все известно. Или ничего неизвестно. Потому что свидетельств много, но достоверных – ни одного. Если сложить все показатели, то дело было так. Обычно Сталин, настоящий или подмененный (разницы нет), ложился поздно и поздно вставал. Поэтому, когда дверь его комнаты не открылась в одиннадцать утра, в двенадцать, в час и в два пополудни, никто беспокойства не проявил. В шестнадцать часов начальник охраны Хрусталев и его помощник Лозгачев многозначительно переглянулись, но никакими словами не обменялись. В семнадцать Лозгачев сказал:

– Кажется, товарищ Сталин все еще отдыхает.

Он никогда не сказал бы: товарищ Сталин спит, поскольку предполагалось, что товарищ Сталин не спит никогда.

Начальник ответил, что у товарища Сталина вчера был особенно трудный день: работа, театр, разговоры по телефону.

Оба вздохнули, посочувствовав товарищу Сталину, и замолчали еще на час. В восемнадцать часов десять минут Хрусталев сказал Лозгачеву:

– Спроси у товарища Сталина, не надо ли ему чего.

На что Лозгачев ответил:

– Ты начальник, ты и спроси.

На что начальник сказал:

– Я начальник, а ты, подчиненный, должен беспрекословно выполнять то, что я тебе говорю.

На что подчиненный потребовал:

– Тогда пиши письменный приказ разбудить товарища Сталина.

На что начальник возразил:

– Не разбудить, а спросить, не надо ли ему чего.

На что подчиненный согласился:

– Напиши: спросить, не надо ли чего. И распишись.

На что начальник махнул рукой и сам пошел спрашивать товарища Сталина, не надо ли ему чего. Вместо ответа услышал мычание. Автоматическая дверь была заблокирована изнутри, а снаружи вскрыта при помощи топора. Вскрывшим ее начальнику и помощнику открылась ужасная картина. Товарищ Сталин лежал на

голом полу, обмочившись и что-то мыча. На тумбочке стояла початая бутылка «боржоми», а в руке мычавший держал стакан. Так актер Меловани приступил к исполнению своей последней роли в трагедии «Смерть товарища Сталина».

Всем известно, кто был в это время в стране и кто не был, что похороны якобы Сталина ознаменовались ужасным столпотворением, в результате которого десятки людей были раздавлены друг другом или погибли под копытами лошадей конной милиции. Те же, кому удалось добраться до гроба, отмечали, что Сталин лежал как живой, выглядел гораздо моложе своих лет и вообще был похож на артиста Георгия Меловани в фильме «День Победы». Таким многие его и запомнили. Портреты такого Сталина потом его поклонники возили на лобовых стеклах своих автомобилей, носили на демонстрациях в девяностых годах XX столетия, а некоторые носят до сих пор и долго будут еще носить.

Разумеется, товарищи Сталины, что истинный, что мнимый, оба являются второстепенными персонажами нашего повествования и поэтому, как нам кажется, занимают здесь слишком много места. Но раз уж мы проследили судьбу мнимого до самого конца, то стоит, хотя бы бегло, досказать историю и истинного. Со сложными чувствами воспринял он смерть своего двойника, давку на Трубной площади и поведение своих бывших соратников. После ночного телефонного разговора с Меловани он не питал к нему зла, а теперь даже и пожалел, что этот замечательный артист умер так рано, в шестьдесят лет, и вряд ли собственной смертью. А если бы работал в театре, мог бы еще пожить. Истинный Сталин понимал, что Берия оказался обманутым и что этот обман он, Меловани, конечно, простить не мог. Простив, он был бы не Берия. Позже до Сталина дойдут слухи о том, как реагировали на его смерть его неверные и подлые соратники. Берия, как только Лже-Сталин испустил дух, закричал торжествующе: «Тиран мертв!» Знаменитая фраза: «Хрусталеv, машину!» – была второй. Подозрения Сталина насчет Берии и остальных оправдались немедленно.

Мертвый Лже-Сталин еще лежал в Колонном зале, когда в театр МТД явился инструктор ЦК КПСС Феликс Расторопный. Фамилия его оказалась очень уж говорящей, потому что именно расторопность была целью его визита. Посмотрев старый заезженный спектакль «Не в свои сани не садись», Расторопный в директорском кабинете собрал несколько человек, включая директора, главного режиссера, некоторых ведущих артистов, и сказал, что в репертуарный план театра следует внести некоторые изменения.

– Вот, например, – сказал он, ткнув пальцем в афишу, – «Сталин в октябре» у вас идет шесть раз. При том, что спектакль малопопулярный, не кассовый.

– Но, – попытался возразить директор, – это же все-таки спектакль о товарище Сталине. Он, между прочим, выдвинут на Сталинскую премию.

И вдруг с опаской спросил:

– Разве у нас изменилось отношение к товарищу Сталину?

– Изменилось, – твердо сказал инструктор. – Сталин для нас остается выдающимся государственным деятелем, но вы сами хорошо понимаете, что заслуги его сильно преувеличены.

В этом же разговоре впервые официальным лицом было произнесено словосочетание «культ личности». Все участники этого маленького совещания переглянулись и сильно задумались, потрясенные. Подал голос только артист Меловани.

– А скажите, пожалуйста, – спросил он с более сильным, чем обычно, грузинским акцентом, – это мнение, что заслуги товарища Сталина слишком преувеличены, это ваше личное мнение или это мнение высшего партийного руководства?

– А как вы думаете, товарищ Меловани? – ответил ему Расторопный не без насмешки. – Можете ли вы себе представить, что я, рядовой инструктор ЦК, посмел бы менять политику партии?

– Значит, ваше мнение, – продолжал артист, – это не ваше мнение, а мнение наших уважаемых вождей, мнение товарищей Берии, Хрущева, Маленкова, Булганина и так далее.

– Совершенно верно, – согласился Расторопный, – это мнение всего Политбюро, то есть мнение партии, которое нам с вами надо выполнять неукоснительно.

Можно себе представить, в каком настроении народный артист Меловани возвращался домой. Думая о своих недавних соратниках, он убедился, что его подозрения подтвердились в наихудшем виде. Не успел их вождь (то есть тот, кого за вождя они принимали) испустить дух, как они не только ринулись делить власть, наверное (как же без этого!), вгрызаясь друг другу в глотки, но и разоблачать самым гнусным образом его, еще не остывшего. Еще несколько дней назад они смотрели ему в рот, они каждое его высказывание, самое банальное, объявляли гениальным прозрением и вершиной человеческой мысли. Они называли его величайшим мыслителем, гуманистом, корифеем всех наук и другом детей. Он мог делать с ними все, что угодно. У Калинина и Молотова отобрал жен и загнал в лагерь, Хрущева заставлял плясать гопака. О лысину Поскребышева выколачивал трубку. Берию хватал за нос. Никто из них, лишенных чувства простого человеческого достоинства, ни разу не выразил даже малейшей обиды. Они вели себя как преданные собаки. Они клялись ему, что готовы отдать за него жизнь без малейших колебаний. «Сволочи, – думал он, – подонки, предатели, беспринципные подхалимы». Он давно уже не тосковал по своему прошлому положению и всемогуществу, но сейчас ему страстно захотелось вернуться в прежнее положение, хотя бы на один день. Ему одного дня хватило бы. Он их всех расстрелял бы, повесил, распял. Он подверг бы их самым страшным казням, какие только можно представить. Но, увы, он ничего не мог сделать. Не мог вернуться в Кремль, не мог никого ни расстрелять, ни повесить. Мог только напиться.

В тот вечер некоторые прохожие на улице Горького обратили внимание на старого человека, который шел и плакал громко, навзрыд. Люди с удивлением на него оборачивались, не узнавая в нем ни Иосифа Сталина, ни Георгия Меловани. По дороге он купил в еврейском ресторане «Якорь» бутылку водки. Дома выпил ее почти до дна и заснул одетый.

Проснулся в своей спальне на кунцевской даче в непонятное время суток. Несмотря на зашторенные окна, в комнате было светло, но свет шел не от люстры и не от боковых светильников, а неизвестно

откуда. К его удивлению, впрочем, довольно слабому, в комнате он был не один. Кроме него здесь были Берия, Хрущев, Маленков и Булганин. Берия стоял перед открытым сейфом, доставал из него одну за другой какие-то бумаги, просматривал и швырял на пол, бормоча что-то себе под нос. Хрущев, сдвинув на затылок соломенную шляпу, сидел в плетеном кресле и грыз початок кукурузы. Он водил початком из стороны в сторону, словно играл на губной гармошке, оставляя неаккуратные следы на обеих щеках и роняя отдельные зерна на пол. Сама по себе эта наглость – сидеть в спальне Сталина и грызть кукурузу – была возмутительна, но больше всего возмутило Иосифа Виссарионовича то, что этот самозванец сидел в его кителе с двумя золотыми звездами, небрежно накинутом на плечи. Маленков диктовал Булганину текст, что-то насчет легкой промышленности, которую надо предпочесть тяжелой промышленности. Все они были заняты своими делами и не сразу заметили, что вождь проснулся. Первым увидел это Маленков. Он толкнул Булганина, Булганин ударил по руке Хрущева, початок вылетел из его рук и ударил в плечо Берию. Берия увидел, что Сталин проснулся, сначала оторопел, потом кинулся к проснувшемуся, стал целовать ему руку и быстро-быстро заговорил:

– Коба, дорогой, ты очнулся! Я знал, что ты жив, а они говорят: он умер. А я понимаю, что ты не умер и не мог умереть, потому что ты бессмертен. Но они стали делить посты. Этот стал председателем Совмина, этот – министром обороны, а вот этот «кукурузник» захватил руководство над партией. Ты представляешь, этот полуграмотный шахтер будет руководить партией, которую ты вместе с Лениным... Ты видишь, дорогой Коба, какие это бесчестные и коварные люди! Они все говорили тебе, что они тебя очень любят, а на самом деле, ты же видишь, какие это злобные, жадные до власти и коварные подлецы. Только я один – твой бескорыстный и верный друг. И я сделал тебе дружеское дело, я их арестовал.

Сталин в самом деле тут же увидел всю компанию – в нижнем белье, в рваных рубашках, спадающих кальсонах, в железных кандалах на руках и ногах. Они стояли перед ним и тряслись от страха. И первая его мысль была подвергнуть их какой-нибудь ужасной, медленной и мучительной каре. Но вдруг его пронзило острое чувство, которого прежде он никогда не испытывал. Это было чувство жалости к этим людям. Он очень удивился, потому что никогда в жизни не жалел

никого, кроме себя самого. А сейчас пожалел этих ничтожных и трясущихся от страха людей.

– Отпусти их, Лаврентий, – сказал он и пошевелил вялой рукой.

– Как? – удивился Лаврентий, не спеша выполнять приказ. – Как я могу их отпустить, если они предали самого дорогого мне человека?

– Что делать, Лаврентий? Люди вообще таковы. Даже апостолы предали своего Учителя.

– Только Иуда, – уточнил Лаврентий, – этот сукин сын продался за тридцать копеек. Он был такой плохой человек. Он был, как Троцкий. А остальные ученики...

– Остальные были такие же, – возразил Сталин. – Ты плохо читал Евангелие, Лаврентий.

– Я его вообще не читал, – быстро ответил Лаврентий. – Я читаю только то, что ты написал. Историю ВКП(б) и «Основы ленинизма».

– Это хорошо, – одобрил он, – но и Евангелие тебе тоже не помешало бы. Если бы ты читал Евангелие, ты, Лаврентий, обратил бы внимание на то, что, когда Христа арестовали в Гефсиманском саду, все его ученики разбежались. Все разбежались, – повторил он. – Так чего же нам требовать от этих жалких, ничтожных людей? Отпусти их, Лаврентий.

– Твоя воля, – пожал плечами Лаврентий.

Одним движением Лаврентий снял кандалы со всех арестованных, а они, вместо выражения благодарности, вдруг кинулись на него, лежащего, с ужасным рычанием. Лаврентий первый вцепился ему в глотку, и на этом Сталин... проснулся. Открыл глаза, но еще долго не мог прийти в себя и убедиться, что это был всего-навсего сон.

За окном рычал мусоровоз.

Постепенно пан Калюжный настолько проникся к Чонкину родственными чувствами, что стал считать его кем-то вроде сына. Тем более что своих детей у него не было. Барбара, будучи моложе пана на тридцать лет, была всем хороша, но бесплодна. Калюжный даже стал думать о том, чтобы усыновить Чонкина. Но этому желанию сбыться была не судьба. В начале шестидесятых старик стал испытывать непривычные недомогания, рези в желудке и тошноту. Долго не шел к врачу. Наконец съездил в ближайший городок Спрингфилд.

Вернулся оттуда бледный, серьезный, с новостью, которую сообщил Чонкину без лишних эмоций. Доктор Гринфилд сказал ему, что у него рак желудка с метастазами в легких и костном мозгу. Положение безнадежное. Калюжный спросил доктора, сколько ему осталось жить, доктор ответил: «Месяца четыре, если повезет (if you are lucky)».

Калюжный поделился этим с Чонкиным, после чего оба долго молчали. Чонкин хотел что-то сказать по этому поводу, знал, что надо что-то сказать, но что именно надо сказать, придумать не мог и поэтому испытал большую неловкость.

– Вот шо, – сказал Калюжный, намолчавшись. – Я хотел тебя adoptировать, но теперь другую думку имею. Хочу, щоб ты, когда я уйду тудои, – он покрутил при этом рукой, как будто указывая на некое закручиваемое восходящим штопором направление ухода, – женился на Барбаре. Жинка она хорошая, по возрасту тебе подойдет более, чем мне, хозяйство вместе будете держать, а шо касаемо постели, то сам побачишь.

Доктор дал Калюжному какие-то таблетки. Может быть, благодаря им первый месяц больной чувствовал себя относительно неплохо. Он вводил Чонкина в курс дела, рассказывал ему о тонкостях фермерской профессии, о том, как определять погоду, виды на урожай, как чинить комбайн, продавать зерно и вести расходные книги.

Иногда казалось, что доктор ошибся, но вскоре Калюжный стал чахнуть, желтеть, слег и умер ровно через четыре месяца, как и было предсказано.

Судьба Чонкина и Барбары была решена. Похоронив пана Калюжного, они не стали ради приличия выжидать каких-то сроков. Если бы они оставались формально одинокими, то им пришлось бы платить гораздо больше денег на медицинскую страховку и на налоги. Чтобы избежать этого, они уже через три месяца зарегистрировали свой брак и обвенчались в церкви, где отец Майкл взял с каждого слово, что они будут вместе в счастье и в горе, будут любить друг друга и поддерживать до тех пор, пока не разлучит их смерть.

Барбара новым мужем была довольна. Он был спокойного нрава, работающ, в еде непривередлив, с ней по всем делам советовался, а в постели оказался неутомимым. Она была «слаба на передок», а пан Калюжный, не понимая ее страданий, своими обязанностями пренебрегал по возрасту и недомыслию. Но Чонкин в них весьма преуспел.

Если бы его спросили и он захотел бы честно ответить, любит ли он Барбару, он мог бы ответить утвердительно. Ему с ней хорошо и покойно. Она ему готовит еду, стирает белье и рубашки, содержит дом в чистоте, а в постели никогда не отказывает. Чего же нужно еще? Но если б спросить его, а испытал ли он хоть раз ту радость, которая охватывала его, когда Нюра после нескольких часов отсутствия возвращалась домой, было ли похоже удовольствие, получаемое от соития с Барбарой, на ощущение счастья, которое переполняло его, когда он был с Нюрой, он вряд ли сказал бы «да». Но такое счастье у некоторых людей бывает только раз в жизни, а с большинством не случается никогда, и они ничего, живут, получая удовольствие от того, что доступно.

Барбара в сексе была активна, высоко задирала ноги, не сопела и не стонала, а громко и счастливо смеялась и, приближаясь к высшей точке, вскрикивала: «О, Бой!» То есть буквально «О, Мальчик!». Мальчик с большой буквы, потому что Мальчиком она называла Господа Бога.

Время от времени они ездили на кладбище навещать могилу пана Калюжного. Американские кладбища не похожи на русские. Они бывают чисто убраны, но выглядят аскетично. Выложенные ровными рядами небольшого размера плиты с именами, фамилиями, датами рождения и смерти, и, как правило, ничего больше. Однажды Барбара припала к камню, и Чонкин услышал, но не был уверен, что правильно понял, она сказала: «Спасибо тебе, Питер, что ты умер».

Чонкина эти слова так удивили, что ночью он не удержался и спросил ее, что это значило. Она поцеловала его и сказала: «Если бы он не умер, я не смогла бы жить с тобой».

Однажды по предложению Барбары они ездили в Нью-Йорк. Посетили музей Метрополитен, посмотрели мюзикл «Вестсайдская история» на Бродвее, погуляли по Таймс-сквер, переночевали в гостинице «Холидэй Инн» и только на другое утро отправились домой. На вокзале в одном из киосков Чонкин увидел газету с русскими буквами, которых он не видел с тех пор, как покинул Германию. Газета называлась «Новое русское слово». Чонкин купил ее и в поезде стал читать. Он и раньше к чтению был не очень-то приохочен, а теперь оно и вовсе давалось ему с трудом. Но в газете ему попала статья «Два Сталина», которая его очень заинтересовала. Он всегда думал, что Сталин был один, но имел двух жен. Оказывается, их самих было два. А если их было два, то сколько жен имели оба? Оба по две?

Водя заскорузлым крестьянским пальцем по строчкам, он стал вникать в текст, и чтение быстро его захватило. Статья начиналась с истории о происхождении генералиссимуса, с утверждения, уже знакомого Чонкину, что Сталин произошел от Пржевальского и лошади Пржевальского. Описывалось событие, которого Чонкин был очевидцем, а именно доклад полковника Опаликова, ссылка на изыскания ученого Грома-Гримэйло и неожиданная смерть докладчика. Но дальше перешел к другому сюжету, а именно – заговорил о подмене настоящего Сталина актером Меловани и о Сталине, заменившем актера Меловани на сцене. Впрочем, оба они играли одну и ту же роль, только в разных обстоятельствах. Рассказывалось, как Берия долго подбирался к Меловани, который так подло его обманул. Но, в конце концов, подобрался. И когда Лже-Сталин умирал, лежал в коме, а потом на секунду пришел в сознание, Берия якобы кинулся целовать ему руку, но на самом деле он не только целовал ему руку, но что-то при этом шептал. Стоявшие рядом расслышали только слово «гений». На самом деле это слово было произнесено, но в каком контексте? Берия записал у себя в дневнике: «Я припал к его руке, делая для окружающих вид, что ее целую. А на самом деле я хотел ему сказать и сказал: «Теперь ты понял, жалкий актеришка, кто из нас кто? Ты, войдя в Кремль, вообразил себя гением.

А теперь ты же понимаешь, что настоящий гений, гений, гений – это я!»

Что касается настоящего Сталина, жившего под именем артиста Меловани, то он смерть артиста, жившего под его именем, пережил с трудом. Хотя он всегда был реалистом, никогда никакими людьми особенно не обольщался и соратникам своим, конечно, не доверял, после своей якобы смерти он был потрясен тем, какими они оказались хамелеонами. Насколько их слова о его величии, гениальности и незаменимости оказались лживыми и лицемерными. Насколько великой оказалась их ненависть к нему, которую они все так умело скрывали. Его душевные страдания усиливались тем, что со смертью Сталина мнимого жизнь его, настоящего, сразу же изменилась к худшему. Пьеса «Сталин в октябре» после 5 марта была исполнена дважды. Один раз в том же марте и второй раз 22 апреля, в день рождения Ленина. И всё! При распределении ролей в других спектаклях режиссеры вежливо его обходили. Считалось, что этот актер может играть только роль Сталина и никого больше. Впрочем, через некоторое время играли пьесу из жизни Первой конной армии, и товарищу Сталину, то есть актеру Меловани, то есть на самом деле товарищу Сталину, которого принимали за актера Меловани, доверили играть роль коня маршала Буденного. В этой роли и проявился его огромный талант. Все критики отметили замечательную и естественную игру артиста, про которого написали, что он играет так, как будто действительно родился конем. Некоторые, однако, ехидные критики отмечали, что скорее это не конь, а старый мерин, которого пора сдавать на бойню.

К XX съезду КПСС он уже и вовсе лишился всяких ролей. Доклад Хрущева и развенчание культа собственной личности пережил тяжело. В чем-то был согласен с докладчиком, но не мог не вспомнить, как рьяно тот выполнял все его указания, часто даже с большим усердием, чем от него требовалось. В тот год Сталина обуял ужасный страх, что теперь Берия, чтобы спрятать все концы в воду, захочет положить в Мавзолей настоящего Сталина. Берию, правда, вскоре арестовали и расстреляли, потому что он оказался английским шпионом. Но страх, что им, настоящим Сталиным, заменят лежащего в Мавзолее покойника, не оставил Сталина и сильно подорвал его некогда могучее здоровье.

Есть сведения, что, будучи и раньше равнодушен к спиртному, он в последний год выпивал все больше и больше. Лишенный ролей, он практически перестал ходить на работу. Приходил в театр только два раза в месяц: в день аванса и в день полочки, которые ему, однако, выдавали исправно. Кажется, у него были и другие сбережения, но он их все просядил на скачках, к которым пристрастился в последнее время. Завсегдатаи тогдашнего ипподрома запомнили артиста Меловани, который сильно постарел, был всегда «под мухой» и неизменно ставил на свою фаворитку – кобылу по имени Орлица. Он ее так любил, что с разрешения конюхов регулярно посещал ее, чистил скребком, расчесывал гриву и хвост. Свидетели, словам которых следует доверять с большой осторожностью, утверждают, что именно Орлице, к тому времени уже сильно жеребой, подвыпивший народный артист поверял свои душевные тайны, жаловался на всех членов Политбюро, называя их подлецами и мародерами. Особенно поносил нового вождя СССР Никиту Хрущева. Как написано было в газете, по случайному совпадению событий и времен, 21 декабря 1956 года, в день рождения Иосифа Сталина, Орлица родила жеребенка мужского пола, которого, учитывая дату, конюхи называли Генералиссимус.

Сохранились свидетельства теперь, однако, сильно засекреченные, что при рождении жеребенка присутствовал народный артист Георгий Меловани. После чего он якобы крепко напился и ушел как будто домой, но утром его нашли мертвым на копне сена у стойла Орлицы. Накануне ему исполнилось семьдесят семь лет. Автор статьи сам выражал сомнение в достоверности использованных источников, но не исключал и того, что они отражают полную правду.

Прочитав эту статью, Чонкин пересказал ее Барбаре, которая, слушая, громко смеялась, восклицала: «Риали?» Или «Итс импосибил!» – и рассказала, что у них в Канаде многие крестьяне тоже живут с домашними животными, но о произведении ими потомства она никогда не слышала.

С Барбарой Чонкин прожил ровно двенадцать лет и был счастлив. Но через двенадцать лет она умерла во сне от сердечной недостаточности. А поскольку у нее не было ни единого родственника и никто на наследство не претендовал, то все, что принадлежало ей и пану Калюжному, отошло, в конце концов, Чонкину, включая и четыреста акров земли в штате Канзас. Расстояние между двумя поместьями было порядочное, и для перемещения между ними ему, Чонкину, пришлось купить небольшой самолет «Сесна», управление которым он освоил, как управление всеми другими машинами. К тому времени у него возникли трудности со сбытом продукции, но правительство рекомендовало особенно не усердствовать и даже доплачивало, чтобы он не выращивал лишнего. Но в семидесятых годах открылись новые возможности. Советский Союз стал закупать в Америке много зерна, и Чонкин стал одним из поставщиков, известных в деловых кругах и даже в Капитолии, где его интересы отстаивал конгрессмен Волтер Шиповски.

В те годы на дорогах Америки появились большие трейлеры, на которых было написано:

CHONKIN INTERNATIONAL GRAIN PRODUCTION Ltd. Inc.

Летом 1989 года в самый разгар страды Чонкину позвонил конгрессмен Волтер Шиповски, которого Чонкин поддерживал на последних выборах.

– Хай, Джон! – сказал Шиповски. – Не хочешь ли навестить свою родину?

– Что? – переспросил Чонкин.

– Я имею в виду Россию, Советский Союз, – прогудел в трубку Шиповски. – Мы формируем делегацию экспортеров зерна, и я не представляю, как такая команда может обойтись без тебя. Что ты думаешь?

– Гм! – задумался Чонкин, после чего, правда, кое-что вспомнил. В шестидесятых годах по кукурузным штатам мотался и даже к пану Калюжному наведалься советский лидер... этот лысый... фамилия его из памяти Чонкина выпала, но самого лысого он видел как будто вчера. Тот в вышитой украинской рубахе и с большой толпой министров, журналистов, кинооператоров и охранников ходил по полю, ломал еще недозревшие початки, вгрызался в них, пробуя на вкус, тряс перед носом своих сопровождающих, а те радостно улыбались и прилежно записывали в блокноты его замечания. Гости, вытоптав целое поле, уехали, а потом Чонкину пан Калюжный сказал, что советский вождь приказал засеять кукурузой всю территорию Советского Союза.

Удалось ли это указание выполнить и что из этого вышло, Чонкин не знал, да и не пытался узнать. За годы, проведенные в Америке, он отвык даже думать о стране своего происхождения, сам ее почти забыл и поневоле перенимал представление окружавших его людей о России, как о диком пространстве, где всегда холодно, где полудикари-полуфанатики думают только о коммунизме, много работают и имеют общих жен.

Впрочем, временами родина снилась ему, но сны эти были странными и неприятными. Много раз во сне ему виделось, что он оказался в России в результате недоразумения и собирается уехать обратно, но неизменно возникают неодолимые препятствия. Он ходит по каким-то учреждениям и просит разрешения выехать, потому что он американский гражданин. А над ним смеются и говорят ему, что

если вы американский гражданин, то у вас должен быть американский паспорт. А он говорит, у меня есть американский паспорт, и лезет в карман. И обнаруживает, что у него нет не только паспорта, но даже кармана, потому что он совершенно голый. Он бежит куда-то, где, он знает, лежит его паспорт, но попадает в болото, в трясины, и чем больше прилагает усилий к тому, чтоб выпутаться, тем глубже вязнет. И тогда он открывает рот, чтобы позвать кого-то на помощь, но изо рта никакого звука не исходит. Он просыпается в ужасе и долго озирается, пока не поймет и не возрадуется, что наяву он так далеко от того места, которое ему снилось.

Сказав «гм», Чонкин так долго молчал, что конгрессмен не выдержал и спросил:

– Ар ю хир (ты здесь)?

– Йес, – отозвался Чонкин.

– Есть сомнения?

– Йес, – подтвердил Чонкин. – Имею сомнение, что меня там посадят.

И объяснил, что, насколько ему известно (ему кто-то об этом рассказывал), он как изменник родины приговорен советским судом к расстрелу, и приговор должен быть приведен в исполнение немедленно, как только его обнаружат на территории Советского Союза и установят личность.

– Хорошо, – пообещал Шиповски, – я уточню.

Через несколько дней он позвонил и сказал, что все в порядке. Президент Буш лично звонил Майклу Горбачеву, и тот гарантировал безопасность всем членам американской делегации, кем бы они ни были.

...Визит был государственный. Чонкин летел первым классом и имел право пить французское шампанское, но пил только воду со льдом. В Шереметьеве их встречала целая делегация, в которую входили замминистра сельского хозяйства, заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС, помощник Генерального секретаря ЦК КПСС, две переводчицы и еще какие-то люди крупного сложения, упитанные, в серых костюмах. Все они приветливо и даже льстиво улыбались, а глаза у них при этом были настороженные и сверлили приезжих пытливо, словно подозревали их в том, что не те они, за кого себя выдают, и имеют цель, не только заявленную в протоколе, а другую, потаенную, может быть, даже шпионаж и вредительство. И никто из встречавших не удивился бы, узнав, что приезжие прячут за пазухой микрофоны и микрофотокамеры, а в багаже везут колорадских жуков. Мы с высоты наших знаний можем от души над этими бедными людьми посмеяться, над бдительностью, которой они были на всю жизнь больны. Разумеется, фермеры никакой диверсии не замыслили, микрофонов за пазухой не держали, колорадских жуков в багаже не везли, а фотокамеры держали открыто. Но в делегации их все-таки (теперь уж чего скрывать?) имелись два агента ЦРУ, входившие в группу экспертов, которым надлежало определить, в каком состоянии находится сельское хозяйство СССР и насколько вообще стабилен советский строй.

Погода стояла в первых числах сентября теплая, и кроны деревьев были лишь слегка тронуты желтизной. Фермеров поселили в гостинице «Москва», лучшей, как им сказали, гостинице города. Окна доставшегося Чонкину двухкомнатного полулюкса выходили прямо на Манежную площадь, а с балкона была бы видна и Красная площадь, но выходить на балкон запрещалось: надпись на двух языках, приколотая кнопкой к дверям, предупреждала, что балкон находится в аварийном состоянии и может в любой момент обвалиться. Это было время, когда рушились не только балконы, но и все Советское государство – до полного его крушения оставалось всего два года.

Гостей кормили в буфете на десятом этаже. Утром на завтрак Чонкин хотел взять красный грейпфрут и кукурузные хлопья с

молоком, но в буфете не было ни грейпфрутов, ни молока, ни хлопьев. Зато были большие жирные котлеты с картофельным пюре и густая сметана в граненых стаканах. Ложки и вилки были алюминиевые, а ножи и салфетки вовсе отсутствовали.

В первый вечер их водили в Большой театр на балет «Спартак». Чонкину балет очень понравился, тем более что он никакого балета живьем никогда не видел, а когда видел по телевизору, то переключался на другой канал. Особенно впечатлил его танец с саблями.

Проходя к себе в номер, он был остановлен дежурной, спросившей, не надо ли чего постирать. Видя, что гость вполне расположен к общению, дежурная втянула его в разговор, спросила, как его зовут, представилась сама – Калерия Маратовна. Расспрашивала его об американской жизни, интересовалась, действительно ли там много негров, есть ли у него машина, какой марки, для чего американцы хотят с нами воевать и какая у них вера. Потом спросила, где он работает.

– На ферме, – сказал Чонкин.

– Аптекарь, что ли? – спросила она.

Чонкин не понял.

– Фармацевт? – переспросила она иначе.

– Да не, – сказал досадливо Чонкин. – Фермер.

Она и тут не все поняла. Решила, что он работает на молочно-товарной ферме, доит коров или убирает навоз. Была очень удивлена и вообще не совсем поверила, что у него собственной земли чуть ли не полтыщи гектаров, причем он обрабатывает все сам.

Калерия Маратовна дежурила двое суток подряд, заменяя другую дежурную. На следующий день она принесла Чонкину в номер выстиранное и выглаженное белье. Он спросил, сколько стоит, она махнула рукой, ничего, мол, не стоит, и спросила, не может ли он подарить ей цветной телевизор «Сони».

Вопрос о телевизоре Чонкин оставил открытым, но дал ей десять долларов и подарил из заранее припасенных для таких случаев мелочей пару колготок, пачку сигарет «Мальборо» и жвачку с ментолом, чему она была тоже рада.

В воскресенье фермерам предложили посетить Третьяковскую галерею. Чонкин отказался и пошел гулять сам по себе. Больше всего

его удивило обилие русского языка. Ему даже показалось поначалу противоестественным, что все говорят на этом языке, задают вопросы, отвечают на нем и понимают друг друга. И хотя он уже проверил свои знания, но было странно ему, что можно у прохожего спросить по-русски, как пройти куда-то, и что прохожий его поймет и на том же самом языке ему объяснит, и он, в свою очередь, поймет объяснения. Ему так понравилось спрашивать и получать ответы по-русски, что на пути он обращался чуть ли не к каждому встречному и постепенно поднялся к круглой площади, где посредине, на высоком постаменте стоял неизвестный ему чугунный человек в шинели с тонким лицом, злобным взглядом и бородой длинным клином.

У входа в метро он подошел к человеку в кожаной куртке, сказал ему «Хай!» и спросил, как дойти до Красного сквера. На что тот ответил «Хай!» и на чистом английском языке объяснил, что Красной площади он достигнет, если пойдет прямо по этой улице 25 Октября.

Очередь в Мавзолей Ленина, против ожидания, оказалась короткой, а зрелище неинтересным. Ленин лежал не как все, скрестив на груди руки, а почему-то держа их по бокам и со сжатыми кулаками, словно собирался боксировать, и голова у него была исключительно крупной величины с рыжими бровями и бородой.

Покинув гробницу, Чонкин решил посмотреть, что за народ в Москве проживает и как. Прошел опять мимо своей гостиницы и двинулся вверх по улице Горького. Когда-то до войны он много раз слышал о великолепии, которое представляет собой столица Советского государства и особенно ее центральная улица. Но с тех пор, как он это слышал, прошло много времени. Сорок с лишним лет тому назад судьба повернулась так, что пришлось ему побывать в Берлине, Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Париже. После этих городов Москва не показалась ему слишком большой и слишком великолепной. Он увидел ее обшарпанной и неухоженной. Тогдашнему жителю или приезжему трудно было представить себе, как преобразится этот город лет примерно через пятнадцать, какие современные вырастут здесь административные и жилые здания, торговые центры и гостиницы, как зальется этот мегаполис весь электрическим светом, как расцветет разноцветными яркими рекламами, как заполнятся улицы «Роллс-Ройсами», «Мерседесами», «Кадиллаками». Но пока ничего этого не было, и Чонкин шел, удивляясь одноцветности уличного оформления, однообразию автомобилей и одежды и нездоровым человеческим лицам. По проезжей части один за другим тащились троллейбусы и автобусы, старые, грязные, ржавые и скрипучие. Он попробовал втолкнуться в один из них, но толпа его как-то закружила и выплюнула, и автобус отошел без него. Он попробовал второй раз, и опять случилось то же самое.

Он двинулся дальше пешком, и тут попался ему навстречу военный патруль: старший лейтенант и два солдата с красными повязками на рукавах. Он обратил внимание, что они как-то особо его заметили и, обменявшись какими-то репликами, сначала бросили на него несколько быстрых взглядов, а потом один из солдат, маленький,

кривоногий, точь-в-точь такой, каким был когда-то сам Чонкин, отделившись от своих товарищей, направился к нему наперерез. В Чонкине, по ожившему вдруг в нем атавизму, мелькнула мысль немедленно дать деру, и он даже сделал шаг в сторону, тут же опомнился, но не совсем, и полез в карман за паспортом.

Солдат был не только маленький, но и щуплый, с нездорового цвета прыщавой кожей.

– Отец, – сказал он, – дай три рубля, жрать охота.

Чонкин опешил. Он мог ожидать чего угодно, только не этого. С ним, в бытность его солдатом, случалось всякое, но милостыню он никогда не просил и не видел, чтобы другие солдаты просили, тем более что прямо при офицере. Он опять полез в карман, но уже не за паспортом, а за деньгами. На ощупь вытащил одну из бумажек – оказалось, двадцать долларов, – сунул солдату.

Тот взял бумажку, стал вертеть ее в руках, спросил удивленно:

– Ты что, отец? Ты что мне даешь? – протянул руку, чтобы отдать купюру обратно.

– Твенти бакс – это мало? – удивился Чонкин, помня, что американские попрошайки бывают рады и четверти доллара, но тут подскочил офицер, выхватил купюру у солдата, сказал Чонкину:

– Данке шён.

И все трое быстро затопали прочь.

И Чонкин двинулся дальше.

В конце концов добрался он пешком до станции метро «Белорусская». Когда спускался по эскалатору, обратил внимание, что люди встречного потока почти все с мрачным выражением на лицах, похожи на шахтеров, поднимающихся наверх после тяжелой смены. На громыхающем поезде доехал до следующей станции – «Новослободской». Увидел туалет. Почувствовал, что стоит воспользоваться. Прочел вывеску. На ней было написано: «Туалет плантный. Писсуар – 20 коп., кабинка – 80 коп. Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и кавалеры орденов Славы 3 степеней обслуживаются бесплатно». У входа женщина в синем халате принимала деньги и заплатившим за кабинку выдавала один квадратик туалетной бумаги. Выйдя из туалета, Чонкин завернул за угол и попал в какой-то двор, поразивший его своим видом. Среди голых деревьев стояли два мусорных контейнера, которые давно не убирали. Они сами

были переполнены, и вокруг них валялись окурки, сигаретные пачки, обрывки газет, куски картона, старые консервные банки, ржавое колесо от детского велосипеда идохлая кошка. Почва хлюпала под ногами и воняла, но люди пробирались через эту грязь торопливо и деловито, нисколько ею не удрученные, однако с такими же мрачными лицами, как и в метро. За помойкой, на составленных столбиками кирпичах вместо колес, стоял старый автомобиль, проржавленный насквозь, с дырами, вмятинами и без лобового стекла. Деловой человек, видимо, владелец машины, расстелив в грязи полотно ржавой жести, колотил по ней деревянной киянкой.

Заметив проявляемое к нему любопытство, человек поднял голову и спросил:

– Отец, закурить не найдется?

– Шур, – сказал Чонкин и, достав пачку «Кемела», одну сигарету ловко вытряхнул в грязные пальцы.

– Ого! – удивился человек. – Где это ты, батя, такие сигареты достал, в «Березке», что ли?

– Да так, – Чонкин не стал вдаваться в подробности. И поднес к носу собеседника зажигалку: – Репейр делаешь?

– Чего?

– Хочешь починить и ездить? – поправился Чонкин.

– Не ездить, а летать, – сказал собеседник и закашлялся. – Крепкие сигареты. На воздушной подушке летать буду. Жесть разровняю, сопло выгну. А компрессор ребята обещались в Жуковском утянуть.

– А на чем летать-то? На этом, что ль? – спросил Чонкин, указывая на останки автомобиля.

– А на чем же еще? Это ж «Победа», ты знаешь, что такое «Победа»?

– Ну, – ответил Чонкин уклончиво. Он не знал, что такое «Победа», потому что после победы без кавычек попал в края, где машины этой марки не выпускались, а похожие назывались «Опель-капитан». Чего тогда он, впрочем, тоже не знал, ему было не до того.

А собеседник его на самом деле и представить себе не мог, что кто-то действительно не знает, что такое «Победа». Он не сомневался, что этот пожилой человек знает, что такое «Победа», но предположил,

что он может не представлять всех достоинств этой машины. И стал объяснять:

– Настоящая «Победа» – это же зверь! Ей уже тридцать лет, а еще практически на ходу. Вот кузов подрихтую да подварю, и еще сорок прослужит.

На вопрос Чонкина, куда именно он будет летать, хозяин «Победы» ответил, что в Калининской области на озере Селигер купил он избу, а добираться не на чем. То, что катится по земле, использовать невозможно, даже трактор и тот топнет по уши. И без воздушной подушки ну просто никак.

Подивился Чонкин таланту и находчивости изобретателя, вытряхнул ему в боковой карман еще две сигареты, пошел дальше.

На широкой улице увидел Чонкин занимавший чуть ли не целый квартал магазин с аршинными буквами «ОВОЩИ-ФРУКТЫ». Огромные окна были до половины закрашены белой краской, поверх которой художник изобразил огурцы, помидоры, дыни, арбузы, вишни, яблоки, апельсины, ананасы и прочее изобилие. Чонкин решил зайти внутрь и купить здесь пару красных грейпфрутов для завтрака.

Магазин был большой, и дверей в него было много, но они все были закрыты, а одна даже забита досками. Только крайняя дверь была отворена, да и то не вся, а наполовину, на одну створку, и в эту одну створку покупатели текли каким-то удивительным образом в два потока. Входящие сталкивались в дверях с выходящими, упирались друг в друга животами, и, казалось бы, никак им не разойтись, но они делали уже отработанные годами вращательные движения и, как две шестеренки, вворачивались внутрь или выворачивались наружу. Чонкин тоже стал в эту очередь и, столкнувшись с очень упитанной женщиной из встречного потока, легко преодолел препятствие, потому что сам-то он был поджарый и живот его представлял собою не выпуклость, а впадину, в которой как раз живот встречной женщины поместился.

Попав внутрь, он никаких грейпфрутов, даже желтых, не обнаружил, и вообще магазин был практически пуст, лишь в дальнем углу происходила торговля чем-то, а чем, он сразу не понял, ему показалось, что просто – комьями земли.

Люди выстроились в очередь один за другим к прилавку, сбитому из деревянных ящиков. На прилавке стояли весы старинного образца, на которые с одной стороны кладут гири, а с другой стороны – товар. Товаром были эти самые комья земли. Продавщица в старом ватнике, в малиновых шароварах из байки, в вязаных перчатках, подрезанных так, чтобы пальцы оставались голыми, и с потухшей папиросой во рту брала деньги, отсчитывала сдачу, набирала комья в пластмассовый тазик, взвешивала и с грохотом высыпала в подставленные сумки или кошелки. Чонкин, обернувшись к стоявшей за ним худой старухе, спросил, для чего это торгуют землей. Та посмотрела на него удивленно, спросила, какой землей, и спросила: а вы не видите, что это

морковь? Чонкин, взглядевшись, правда увидел, что что-то похожее на морковь выглядывает из-под засохшей грязи. Он опять обернулся к старухе и поинтересовался, а почему же продавцы не помогают эту морковь, прежде чем продавать. И тут на старуху что-то нашло, и она стала кричать:

– Что? Помыть? А может, еще и почистить? А может, сварить и из ложечки покормить?

И вся очередь, как ни странно, приняла сторону старухи, и все стали что-то выкрикивать, но старуха оказалась голосистой других.

– Зажрались! – кричала она. – Войну забыли! В землянках жили! Лебеду ели! Блокаду Ленинграда перенесли!

Чонкин от этих криков смутился, почувствовал себя виноватым в блокаде Ленинграда и в том, что ели лебеду, и вообще сам себе показался слишком капризным, забывшим про все на свете. Видя, что народ накаляется и сейчас, того и гляди, ему накостылят по шее, он съежился и, никому не возражая, двинулся к двери, чем еще больше раззадорил свою обвинительницу, продолжавшую выкрикивать вслед:

– Надо ж какой нашелся! Старый человек, а глупости говорит! Морковку ему помыть надо! Сам поди сначала умойся!

Чонкин вышел на улицу и решил было никакие торговые точки больше не посещать, но мимо попавшегося на пути магазина «Колбасы» пройти не мог. Он вспомнил, что когда-то угощен был привезенной из Москвы «Одесской» колбасой, такой вкусной, что запомнилась на всю жизнь. И в «Колбасы» решил все же заглянуть. Тем более что тут никакой очереди не было. Но и этот магазин оказался вполне удивительным. В нем находились три продавщицы, одна кассирша и – никакого товара, кроме выставленных на всех трех прилавках и за стеклом кассы серых бумажных пачек с надписью «Напиток кофейный». Продавщицы, которые, судя по их комплекции, питались не только напитком кофейным, сейчас были заняты обсуждением виденных ими по телевизору сеансов гипноза какого-то экстрасенса Шапировского, но при виде Чонкина замолчали и уставились на него с удивлением. Никто в магазин давно уже не заглядывал, кроме отдельных покупателей, которые, может быть, в надежде на случайное чудо, приотворяли дверь, но, просунув голову, убеждались, что чуда нет, и усовывались обратно.

А этот, старик в джинсах, войдя, сказал «Хай!» (хохол, должно быть), подошел к продавщице напротив дверей и стал читать, шевеля губами, написанное на пачке.

Все четыре женщины смотрели на чудака, ожидая неизвестно чего. Наконец именно та, к которой он подошел, не выдержала и спросила, что ему нужно.

– Хотел бы купить «Одесскую» колбасу, – сказал Чонкин, подозревая, что говорит что-то не то.

Продавщица посмотрела на него внимательно, переглянулась со своими коллегами, опять посмотрела на Чонкина и вежливо, очень вежливо осведомилась:

– А вам, дедушка, нужна именно «Одесская»? А «Краковская» не подойдет?

– Или «Докторская»! – крикнула со своего места другая продавщица.

– Или «Отдельная», – подхватила третья.

– Или «Ветчинно-рубленая», – залилась смехом кассирша.

– А вы, дяденька, не из-за границы ли приехали? – спросила первая продавщица.

– Он из Америки, – отозвалась кассирша. – Разве не видите – американец, в джинсах.

Теперь все они покатались со смеху, а Чонкин опять смутился и с растерянной улыбкой вышел на улицу.

Чонкин не замечал (да и не нужно ему это было), что во время прогулки по Москве его сопровождают не меньше четырех человек, идущих пешком, и еще восьмеро передвигались в двух автомобилях, сообщаясь друг с другом по радио. Результатом их коллективного наблюдения был оперативный рапорт о том, что член делегации фермеров, мистер Джон Чонкин, в прошлом Чонкин Иван, он же Иван Голицын, побывал в Мавзолее Ленина, но отказался посетить Третьяковскую галерею. Вместо этого совершил обход города. При этом мало интересовался архитектурой столицы или ее историческими памятниками, а сосредоточил свое внимание на самых неприглядных задворках, свалках и помойках. Заходя в магазины, обращал внимание на временное отсутствие некоторых товаров и критиковал их качество, а в магазине «Колбасы» задавал продавщицам провокационные вопросы.

Разумеется, это донесение было направлено руководству отдела, наблюдавшего за иностранцами, а потом и выше, туда, где сидели люди в генеральских погонах и делали вид или даже думали, что они заняты важным делом защиты отечества, а на самом деле по уму, интеллекту, образу мыслей и кругу исполняемых обязанностей вполне относились к той породе людей, которых в народе называют придурками.

Эти придурки немедленно постановили завести на гражданина США Чонкина Ивана дело оперативной проверки и дали указание не спускать с него глаз. Хотя им было заранее сказано, что Чонкин состоит в делегации, приглашенной самим Генеральным секретарем ЦК КПСС, и уже по одному этому является лицом почти что неприкосновенным, но они и самого Генерального считали неприкосновенным временно и частично.

В понедельник и вторник делегация американских фермеров побывала на Выставке достижений народного хозяйства и в одном из образцовых подмосковных совхозов, где овощи для членов ЦК партии трудящихся выращивались без химических удобрений, а коров для выставки кормили сливочным маслом. В небольшом совхозном магазине были и всякие колбасы, и сыры, и овощи, и фрукты, чистые, мытые и разложенные по отдельным лоткам. Красных грейпфрутов, однако, не было и здесь. Впрочем, не было и покупателей. В Министерстве сельского хозяйства делегация была принята самим министром, а в среду их попросили одеться получше (быть не в джинсах и кроссовках) и повезли в Кремль на встречу с президентом Майклом Горбачевым.

Их ввели в огромных размеров зал с лепными потолками, причудливыми хрустальными люстрами и большими картинами, изображавшими Ленина и посвященными разным историческим событиям, вроде штурма Зимнего дворца, плана ГОЭЛРО, строительства Днепрогэса и взятия Рейхстага.

Окружавшая роскошь подействовала на приезжих странным образом. Они, хоть и свободные вроде бы люди, вдруг оробели и сами по себе, без всякой команды, выстроились в одну шеренгу и даже как-то выровнялись. Наконец дверь распахнулась, и оттуда быстрым шагом вышел знакомый Чонкину по портретам лысый господин с большим родимым пятном, по очертаниям похожим на южную часть американского континента. Сбоку семенил молодой и упитанный человек, как потом выяснилось, переводчик, а за ним гуськом следовали министры, заместители министров, начальники отделов, помощники начальников и помощники помощников. Все шли немного неестественно и держали руки так, словно они были у них лишние.

Фермеры еще больше подтянулись. Горбачев подошел к первому – Джерри Маккормаку, – протянул руку и сказал:

– Здравствуйте.

Фермеры, как их и инструктировали, стали представляться, и каждый раз Горбачев поворачивал к говорившему левое ухо, а потом сам говорил одно слово: «Приятно» (а переводчик тут же переводил:

«Плежа») и передвигался к следующему. Дошел Горбачев до Чонкина, протянул руку. Чонкин сказал: «Чонкин».

– Приятно, – сказал Генсек и двинулся дальше, но какая-то мысль остановила его и вернула назад.

– Спроси у него, – сказал он переводчику, – а что это у него за фамилия? Звучит как русская.

– Я есть русский, – сказал Чонкин.

– А-а, – закивал головой Генсек, – то-то я слышу, звучит вроде по-нашему. И сами у России родились? Не ставропольский, случаем? Нет? Жалко. А то я тоже там знал одного Чалкина. Хороший был парень, тракторист, комсомолец, но, понимаете, злоупотреблял этим вот делом. – Генсек щелкнул себя по кадыку. – И однажды, понимаете, пьяный упал в колодец и утопился. А вы шо же, судя по возрасту, из второй эмиграции? В плен попали или же как?

– Да так, – сказал Чонкин уклончиво.

– Да, – покивал Горбачев, – вот как она сложилась история нашего, так сказать, века! Драматическая! Переломила судьбы, поразбросала наших людей кого куда. Но будем как-то ошибки прошлого исправлять. Вы сейчас чем, сельским хозяйством занимаетесь?

– Фермерую, – сказал Чонкин сдержанно.

Генсек спросил, а что за ферма, сколько земли, что на ней выращивается. Чонкин сказал: земли девятьсот акров.

– Сколько ж это по-нашему будет? – обернулся Генсек к министру сельского хозяйства, чем смутил его сильно, поскольку тот пришел в сельское хозяйство с общепартийной работы, а до того управлял культурой. Но выручил переводчик, который знал не только язык, а вообще черт-те чего он только не знал.

– Четыреста пятьдесят гектаров приблизительно, – сказал он.

– И сколько у вас народу работает? – спросил Михаил Сергеевич.

– Чего? – не понял Чонкин.

– Ну, я спрашиваю, какой у вас коллектив? Сколько трактористов, комбайнеров, полеводов?

Чонкин подумал и сказал:

– Я есть один.

– Ну это уж я совсем как-то в голову не возьму. Как же это один? Я понимаю, шо у вас парткомов там, конечно, нет, – пошутил Генсек, и

все шедшие за ним громко засмеялись. – Но, однако, даже без парткомов надо пахать, сеять, удобрять, прорежать, убирать, молотить, веять, возить зерно на элеватор. И кто всё это делает?

– Я делаю, – сказал Чонкин.

– Совсем один?

– Когда была вайфа, то с ней. А теперь один.

– Не может этого быть, – сказал министр сельского хозяйства.

– Вот и может, – резко возразил Михаил Сергеевич. – Там люди не так работают, как у нас. А к нам вертаться-то не хотите? А то дали бы вам колхозом председательствовать такого же, предположим, размера, что и ваша ферма, но еще человек двести было б у вас в подчинении. А может, к вам прислать делегацию на обучение? Не возражаете?

Не дожидаясь ответа, Горбачев двинулся дальше, но следовавший за ним секретарь по идеологии задержался возле Чонкина и тихо спросил:

– Скажите, а кто у вас принимает решения?

– Какие решения? – не понял Чонкин.

– Решения, когда приступать к посевной, когда начинать уборку.

Генсек уже пожимал руку последнему фермеру, но, оказавшись с очень хорошим слухом, обернулся и сказал секретарю по идеологии:

– Этот вопрос доказывает, что тебе пора на пенсию.

Следующим по плану мероприятием для фермеров была поездка по двум областям средней полосы с посещением передовых колхозов и совхозов. Ехали в вагоне СВ. Вагон был новый, занавески чистые, и проводник разносил чай с печеньем. В коридоре висело расписание движения поезда, Чонкин стал его читать от нечего делать. Почему-то он не подумал сразу, что поезд идет через места, с которыми у него было связано столько переживаний. А теперь наткнулся на знакомое название – Долгов, и перехватило дыхание.

Сколько лет уткло, вспоминал он иногда деревню Красное и женщину, с которой жил недолго, но хорошо, однако застилалась память туманом, и далекий образ возникал в ней едва различимый, не вызывавший в душе ничего, а тут вдруг накатило.

Всю ночь он ворочался, иногда коротко засыпал, и тогда снилась ему Нюра очень явственно и отчетливо, молодая, полная, пахнущая парным молоком. Она улыбалась ему, манила, раскинув руки и ноги. Впадая в ее объятия, он просыпался, досадовал, что явь не совпадает со сном, и сердился на себя за допущение глупого сна: Нюра сейчас, если жива, сколько же ей? Она ведь даже старше его.

К утру он выродил мысль, с которой явился к руководителю делегации Джерри Маккормаку.

Выслушав Чонкина, Джерри ему сказал, что он свободный человек, гражданин свободной страны и волен поступать, как ему вздумается.

– Но я тебе советую подумать, здесь твои действия могут неправильно истолковать.

Они договорились, что завтра этим же поездом Чонкин доберется до места пребывания делегации.

На станции Долгов он сошел на перрон, худощавый пожилой человек с обветренным, задубелым лицом, со вставными фарфоровыми зубами, в джинсах, в непромокаемой куртке, с дорожной сумкой через плечо.

На привокзальной скамейке под памятником Ленину два местных гурмана по очереди хлебали из трехлитровой банки коричневое

мутное пиво местного производства и загрызали его сушеными кильками.

– Хай! – сказал им Чонкин. – Где тут можно взять бас или чего до Красного?

На что один из гурманов сказал, что он в местном духовом оркестре играет на трубе, а бас у них Колька Жилкин, который в настоящий момент недоступен, пребывая в полном запое.

– А тебе, батя, только бас нужен или полный оркестр? – спросил трубач.

– Ноу, – сказал Чонкин, – никакой оркестр. Мне нужно поехать в деревню Красное.

Гурманы объяснили, что доехать до Красного в период распутицы практически ни на чем невозможно, кроме трактора, а трактора нет, но пешком здесь не так уж и далеко.

– Пройдешь по этой улице, дойдешь до площади Победы, там такой прыщ стоит. Станешь спиной к прыщу, прямо перед тобой будет райком и райисполком, серое здание. Обогни его с правой стороны, и опять же направо пойдет улица Героев-Панфиловцев, по ней дуй прямо-прямо-прямо и на конец концов додоешь до самого Красного. Только шибко не разгоняйся, – пошутил трубач, – а то мимо проскочишь.

Дойдя до указанной площади, Чонкин увидел посередине пустой пьедестал, огороженный низким зеленым ажурным заборчиком из железного прута. Видимо, пьедестал и был тем предметом, который трубач назвал прыщом. Около прыща на деревянной скамеечке сидела неопрятная старуха в вязаной кофте с непокрытой головой. У ног ее лежала кошелка, очевидно, с продуктами, а в руках она держала чекушку водки, к которой время от времени и прикладывалась, бормоча нечто, что было мало похоже на членораздельную речь. Если вслушаться, можно было разобрать отдельные слова вроде «дерьмократы», «пидарасы» и «расстрелять». Чонкину показалось, что он эту старуху где-то видел, он взгляделся в нее, напрягся и с трудом узнал в ней бывшего своего партизанского командира, неукротимую Аглаю Степановну Ревкину, которая когда-то принуждала его к сожительству. Перед райкомом КПСС висела большая Доска почета с портретами так называемых передовиков производства, а вправо от этой доски, вдоль тропинки, называемой Аллеей Славы, стояли в ряд

несколько каменных плит с выбитыми на них именами захороненных здесь и уже забытых героев былых сражений. Среди прочих здесь был и камень, посвященный довоенному начальнику НКВД, улыбчивому капитану Миляге, который, согласно надписи на камне, якобы был здесь упокоен. На самом деле, как читателю хорошо известно, никакого Миляги здесь никогда не было, под камнем лежали кости мерина Осоавиахима, который якобы собирался стать человеком. Камень, торчавший косо над этой могилой, давно покрылся зеленой плесенью и замшел. Ни профиля капитана Миляги, ни надписи на камне не было видно, но какое-то непонятное чувство остановило здесь Чонкина и заставило постоять полторы минуты, не больше. После чего он двинулся дальше.

Дорога на Красное и в самом деле была непролазная, но сбоку, по кромке озимого поля, тянулась тропинка, подсохшая и утрамбованная пешим народом. Чонкин шел по ничего не напоминавшей ему местности, куда не достиг пригорка, за которым открылась панорама, и ее-то он сразу узнал. Деревня, скособоченные избы и крутой спуск к речке Тёпа.

Другие деревни, стоявшие вдоль асфальтированного шоссе и неподалеку от него, давно уж были освоены моторизованными горожанами, перестроены и приобрели вид скромно процветающих дачных поселков. В Красное же, ввиду постоянной распутицы, добирались наиболее бедные дачники без автомобилей. Они дома не скупали, за постой платили мало, оттого деревня не развивалась и осталась почти в том же виде, в каком ее покинул Чонкин, будущий мистер, осенью военного сорок первого года.

Спускаясь к деревне, встретил он верхового человека в высоких сапогах, кожаных галифе, кожаной куртке и в шляпе с узкими, опущенными к ушам полями.

– Хай! – сказал ему Чонкин. На что верховой отвечал приподнятием шляпы и словами:

– Желаю здравствовать!

– Гладышев? – удивился Чонкин. – Кузьма Матвеевич?

– Гладышев, – согласился встреченный. – Только с поправкой. Не Кузьма Матвеевич, а Геракл Кузьмич. А Кузьма Матвеевич вон там покоится, на кладбище.

– Сорри! – сказал Чонкин. – Очень похожи.

– Так все говорят, – подтвердил Геракл Кузьмич, дипломированный агроном и отец небольшого семейства. – А вы моего папашу, стало быть, лично знали?

– Встречались, – Чонкин полагал, что нет смысла объясняться подробно. – А Нюра Беляшова, почтальонша, жила здесь...

– Да она и сейчас живет, вот в этой избе, – сказал Геракл Кузьмич. – Только ее сейчас там нету. За хлебом ушла в Долгов.

Это сообщение опять удивило Чонкина: как это за хлебом – из деревни в город, а не наоборот? Впрочем, подумав, он вспомнил, что и сам на своей ферме булки не печет.

Не дождавшись от Чонкина больше никаких ни вопросов, ни комментариев, Геракл Гладышев сказал ему:

– Ну, бывайте здоровы!

И, приложив руку к шляпе, чмокнул губами. Лошадь поняла этот звук правильно и понесла всадника неспешной рысью вперед.

Изба Нюрина, как ни странно, осталась точно такой же, какой была в то давнишнее лето, только, пожалуй, почернела, покосилась побольше прежнего, и наличники на окнах пооблупились. И огород, и крыльцо, и даже кабан перед крыльцом лежал точь-в-точь на Борьку похожий. А впрочем, это был именно Борька, не тот, но с этим же именем (а другого у него и быть не могло). Нюра не знала, что есть такие чувствительные патриоты, которые могли бы ее осудить и даже занести в список русофобов за то, что животным дает русские, человеческие имена. Но никаких других – английских, немецких или еврейских – животных имен Нюра по недостаточной грамотности не знала, и потому для кабана у нее не было никакого имени, кроме Борьки, а свиной женского рода она называла Машками. И коз называла Машками, и коров, кроме только одной, что была у нее до войны и которую немцы угнали. Та, единственная, называлась Красавкой. Дом был закрыт на висячий замок, вроде даже тот самый замок, что висел до войны, тяжелый, черный, тронутый ржавчиной по бокам, с финтифлюшкой, закрывающей скважину для ключа. У Чонкина мелькнула в голове шальная, глупая да и страшноватая мысль: если ничто здесь не изменилось, так, может, и Нюра осталась такой, как была, молодой, красивой, крепкой, с крупными и закругленными формами? Он сел на ступеньку крыльца, закурил. Куры гуляли по двору, и кабан, сладко хрюкая, рыл под забором яму явно без практической цели, а только для своего удовольствия.

– Борька! – не усомнившись в имени, позвал его Иван и поманил пальцами: – Кам хир!

Борька поднял голову, посмотрел на Ивана с некоторым сомнением, не обращено ли приглашение к какому-нибудь одноименному существу.

– Кам хир! – повторил Иван.

И хотя английским языком Борька вряд ли владел, но интонацию понял правильно и сделал несколько шагов в направлении приглашающей стороны. Прошел немного, остановился.

– Давай, давай, – поощрил Чонкин. И похлопал себя по голени. В конце концов Борька подошел и доверчиво уткнулся грязным пяточком

в чонкинские кроссовки. Чонкин почесал Борьку за ухом, тот довольно захрюкал, повалился на бок, позволяя себя баловать и ласкать. А Чонкин вспомнил того Борьку, и что-то еще из той жизни вспомнил, и вспомнил, куда Нюра прятала ключ. Не веря собственному предчувствию, сунул он руку под половицу, и, конечно, там он и был, этот ключ. Там же, где лежал без малого пятьдесят лет тому назад.

– Фанни, – сказал сам себе Чонкин, открывая замок. – Чудну! – перевел сам себя на родной язык.

В сенях он снял кроссовки и, войдя внутрь, увидел, что здесь все по-прежнему. Не было в избе ничего нового, кроме, может быть, двух стульев с гнутыми спинками и телевизора «Горизонт», стоявшего в углу и покрытого кружевной салфеткой.

Правда, была еще одна вещь, она бросалась в глаза с порога. Прямо над телевизором висел большой двойной портрет женщины и мужчины. Женщина в цветастом хорошем платье, немножко даже подкрашенная, с румянцем на щеках. Это, Чонкин догадался, была, конечно, Нюра. А мужчиной, прижавшимся плотно к ней и глядевшим прямо на Чонкина, был красавец-полковник в фуражке летчика, со звездой Героя Советского Союза и тройным рядом орденов под нею. Чонкину показалось, что полковник (наверное, тот, о котором болтал когда-то Леша Жаров) смотрит на него не просто так, а с насмешкой соперника-победителя.

И – вот она, человеческая натура! – вспыхнуло в нем и опалило душу чувство ревности. Сам понимал он, что это глупо и странно: жизнь прошла, и столько всего в ней случилось, годами не вспоминал он о своей предвоенной возлюбленной – какая уж тут ревность! Но, понимая, что права на ревность у него нет, справиться с собою не мог и, расхаживая по комнате, бросал на полковника недобрые взгляды и сердито бормотал обращенные к Нюре упреки, что не дождалась, соблазнилась звездами на погонах и звездой на гимнастерке, а рядового солдата без звезд выкинула из сердца. Так он ходил, размахивал руками, бормотал, не ведая, что несет, не отдавая себе отчета в том, что сам он давно уже не солдат, а по реальному положению в обществе и по достатку, может быть, даже выше советского генерала. Но, разволновавшись, был не в силах себя удержать и так ходил, пока не заметил на серванте пачку перетянутых резинкой бумаги. Он взял бумаги и увидел, что это не просто бумаги, а

старые, очень старые письма, сложенные треугольником, как это делалось во время войны. Все они были проштемпелеваны и адресованы Беляшовой Анне Алексеевне, а в качестве обратного адреса стояло «Энская часть», и ничего более.

Чужие письма читать, конечно, не полагается, но мистер Чонкин был, правду сказать, не столь хорошо воспитан, чтобы вдаваться в подобные тонкости. Он раскрыл первое письмо и начал ползти по строчкам, и было это непросто, потому что печатные русские буквы ему временами еще кое-где попадались, а написанных от руки не видел он давно. Почерк у автора писем, на счастье, оказался разборчивый. «Привет из Энской части! – шевелил губами Чонкин. – Здравствуй, Нюра! Добрый день или вечер. С фронтовым армейским приветом к вам ваш Иван...»

«Тоже Иван», – отметил Чонкин, и это его частично примирило с писавшим. Он стал читать дальше, что-то его стало смущать, не дочитавши текста, он посмотрел в конец письма, поднял глаза к портрету, кое о чем догадался, но нет, не похож он был на этого писаного героя.

Перебрал еще несколько писем, разволновался, забегал по комнате, бросая на портрет взгляды то с одной стороны, то с другой. И на себя посмотрел в зеркало, и признал с неохотой, что, хотя и моложаво выглядит, и зубы у него искусственные и искусно сработанные, а сравнения с полковником он сейчас не выдерживает и, пожалуй, раньше тоже не выдержал бы.

Вернулся к письмам, стал читать одно за другим, аккуратно раскрывая, а потом так же и складывая. Два раза не выдержал и пустил слезу. Захотелось увидеть Нюру немедленно, обнять, прижать к себе, остаться с ней до окончания дней. Но, подумав еще, понял, что, пожалуй, зря он сюда приехал. Не его она ждала во время войны и не его образ хранила в памяти после. Тот, кого она ждала, был гораздо лучше его и лучше вовсе не тем, что летчик или полковник.

Чонкин глянул в окно. Солнце над речкою Тёпой стояло пока высоко, был шанс еще добежать до станции засветло. Он сложил письма, перетянул их резинкой, положил на прежнее место и посмотрел, не оставил ли каких-нибудь следов своего пребывания.

Нет, не оставил.

Надел кроссовки, положил ключ на прежнее место и двинулся прочь.

Но едва отошел от дома, как из-за бугра появилась она.

Она шла с двумя кошелками, бедно одетая старая женщина. И худая. Ничего не осталось от пухлых щек, от полных грудей и прочих округлостей. Поравнявшись с Чонкиным, Нюра взглянула на него, как на незнакомого человека, мельком и равнодушно, но по еще не прошедшей кое-где привычке деревенских жителей поздоровалась и двинулась дальше. И он продолжил свой путь, но через несколько шагов обернулся. И увидел, что она стоит и смотрит на него.

Он ей улыбнулся во весь рот фарфоровыми зубами. Она улыбнулась в ответ и, спохватившись, прикрыла свою беззубость ладошкой. А потом, оставив кошелки на тропе, медленно пошла к нему. Подойдя, протянула руку и сказала: «Здравствуйте, Ваня!» Так сказала, как будто ничего необычного не было в этой встрече. А он ей ответил: «Хай! Очень приятно вас видеть опять».

Потом они сидели у нее, пили чай с карамельками.

Вернее, он пил, а Нюра смотрела на него.

– А вы сейчас, стало быть, откуда приехали?

– Из Охайо, – сказал Чонкин.

– Далеко это?

– Далеко, – сказал Чонкин.

– В Сибири?

– Подалее.

Не представляя, что может быть дальше Сибири, Нюра помолчала.

Он понял, что она не представляет, и сказал ей:

– Из Америки я приехал, Нюра.

– Из Америки, – машинально повторила Нюра, а потом как бы спохватилась: – Как это из Америки? Из самой Америки?

Она была высокого мнения о Чонкине, предполагала, что на многое он способен, но Америка для нее все еще оставалась где-то за облаками или в потустороннем мире, и даже вообразить, что вот сидящий перед ней человек способен существовать в Америке, она не могла.

– Из самой Америки, – подтвердил Чонкин.

Еще больше она удивилась, когда поняла, что Чонкин, оказывается, не на минуту туда залетел, а живет там с сорок шестого года, а уж когда он стал ей рассказывать подробности своей реальной жизни, то это вообще не уложилось в ее голове.

И она ему кое-что рассказала о жизни односельчан, что знала и о чем слышала от других...

Председатель Голубев из лагеря так и не вернулся. Лешка Жаров после демобилизации работал трактористом и утонул, когда на тракторе переправлялся по тонкому льду через Тёпу. Кузьма Гладышев в сорок восьмом году, еще будучи ссыльным, рискнул приехать нелегально в Москву, пробился к академику Лысенко, представился ему верным лысенковцем, пожаловался на районных сельскохозяйственных руководителей, которые, будучи безродными космополитами, то есть евреями, стоят на пути всего передового. В частности, не дают провести научные опыты по выращиванию гибрида картофеля с помидором. Лысенко выслушал его внимательно. За то, что сотрудничал с немцами, пожурил, но заключил, что стремление обеспечить страну высокоурожайными сортами гибрида похвально и достойно поощрения. Благодаря его хлопотам Гладышев был освобожден от дальнейшего наказания и вернулся в родную деревню. Но уже с паспортом ездил опять в Москву, присутствовал на знаменитой сессии ВАСХНИЛ, где во время выступлений генетиков в качестве одного из приглашенных представителей простого народа топал ногами и кричал: «Мухоловы!» Лысенко обещал ему предоставить для опытов большое поле, но не успел, сам попал в немилость. Умер Гладышев в начале семидесятых годов и похоронен на местном кладбище.

На ночь Нюра постелила Чонкину на кровати, а сама спала на печке. Утром они вместе позавтракали, после чего он подарил ей свою фотокарточку, цветную, на фоне двухэтажного белого дома с балкончиком. Пообещал ей, что пришлет приглашение приехать в Америку, после чего они пожали друг другу руки, и он ушел.

Следующим летом пришло Нюре диковинное послание. Конверт плотный, с печатями, вдавленными в бумагу, с адресом и фамилией Нюры, напечатанными типографским способом и нерусскими буквами, которые она в школе учила давно и забыла. Не открывая конверта, Нюра долго его рассматривала на просвет, потом, за неимением других советчиков, побежала к Нинке Курзовой, такой же одинокой старухе, как и она. В шестидесятом году сын Нинки Никодим ушел в армию, а домой уже не вернулся. Уехал на заработки на Воркуту, а там его зарезали в пьяной драке. Нюра когда-то завидовала Нинке, что та вовремя вышла замуж и познала счастье материнства, но судьба со временем уравнила их в положении. И, как думалось Нюре, лучше уж не рожать ребенка, чем родить, вырастить и потерять.

Нинка тоже долго вертела конверт, разглядывала и щупала, и посоветовала Нюре не открывать, а отнести сразу Куда Надо, пушай, мол, там поглядят, что к чему. Потому что в таком конверте мало ли чего может быть, Нинка слыхала по радио, что личинки тех же колорадских жуков могут в достаточном количестве находиться в конверте, а теперь даже бомбы есть такие, что рассылаются людям по почте. Впрочем, и самой Нинке было любопытно, а Нюре и подавно, тем более что у нее были более реалистические предположения, в которых она не совсем обманулась.

Вскрывши конверт, она нашла в нем заверенное нотариусом приглашение (по-английски, но с переводом на русский язык), где было сказано, что гражданин Соединенных Штатов Америки мистер Джон Чонкин приглашает гражданку Союза Советских Социалистических Республик Анну Беяшову к себе в штат Огайо, в гости, сроком на один месяц и обязуется оплатить дорогу туда и обратно, содержание приглашенной и медицинскую страховку. Тут же был и билет на самолет компании «Континентал».

Увидев такое, Нинка, и в преклонных годах оставшаяся завистницей, сперва потеряла дар речи, а потом спросила:

– Ну так чего ж, поедешь?

– Ну, а чего еще? – отозвалась Нюра. – Если Ванька приглашает, так как же?

– И полетишь на самолете?

– Полечу, – сказала Нюра. – Ванька говорил, туды на поезде не доедешь. Далекó больно, и – океан.

– Ну да, – согласилась Нинка. – Ну ладно. Только гляди, чтоб тебя там негры не слопали.

– Не слопают! – заверила Нюра. – Я старая, мое мясо не прожуеть.

Трудно представить себе, как прошла Нюра через все хлопоты, связанные с заграничной поездкой, но как-то она их все-таки одолела. В Москву съездила, там жила у внука Люшки Мякишевой Сереги, тот брал с нее три рубля в сутки за раскладушку на кухне. Москва показалась ей городом бескрайним, неприветливым и пугающим. Народу тьма, и все злые, все куда-то бегут-бегут, не могут остановиться.

Полторы недели проканителлась, но получила в ОВИРе паспорт и отстояла очередь в американское посольство. Там с помощью какого-то доброхота, взявшего с нее пятнадцать рублей, заполнила анкету, где согласилась на то, что в случае смерти семь тысяч долларов из ее страховой суммы будут потрачены на перевозку ее трупа обратно в Россию. Потом женщина в очках, с худым и бесстрастным лицом, задавала вопросы, которые все почти пугали Нюру и ставили в тупик:

– Кем вам является приглашающее лицо?

Она сказала: никем не является.

– Если никем не является, зачем он вас приглашает? Вы собираетесь нелегально работать? Выйти фиктивно замуж? Вы состоите в коммунистической партии?

Нюра врать не умела. На все три вопроса ответила отрицательно, понимая, что шансов получить визу с каждым ответом все меньше. Работать не собирается, замуж не хочет, в партии не состоит.

Следующий вопрос был:

– Вы имеете планы заниматься проституцией?

– А надо? – спросила Нюра и совсем приуныла: – Я же старая, куды мне?

И стала думать, что хоть бы отдали паспорт. А они не отдали. Очкастая сказала: «Приходите в следующую среду». В следующую среду в том же окошке сидела китайка с ярко накрашенными губами. Молча протянула паспорт в окошко. Нюра не хотела даже заглянуть, понимая, что ей в визе отказано.

Дома Серега спросил:

– Ну чо, тетя Нюр, дали визу-то?

– Дали, – вздохнула Нюра. – Догнали и еще добавили.

– Не дали? – понял Серега. – А чо сказали?

– Да чо сказали, еще прошлый раз сказали. В партию надо вступить и проституцией заниматься.

– Чо-чо-чо? – не поверил Серега.

– А вот тебе и чо-чо. Еще и наркотики спрашивали, а где же я их возьму?

– Теть Нюр, чой-то ты не то городишь. А ну, дай паспорт. Ну вот. Вот же ж она, виза-то!

Все у нее было впервые. До того никогда не бывала в Москве, ни разу не летала в самолете, само собой, не бывала за границей, а теперь летела и куда? Прямо в Америку!

Вскоре после взлета в проходе между креслами появились две стюардессы с тележкой, и одна из них спросила у Нюры, что она хочет выпить: виски, джин, ирландский ликер, водку, вино, пиво, апельсиновый сок, воду?

– А сколько это будет стоить? – спросила Нюра.

– Это комплиментарно, – ответила стюардесса.

Нюра подумала, что комплиментарно, значит, дорого, и спросила, а вода сколько.

– Всё комплиментарно, – повторила стюардесса. А потом, посмотрев на Нюру, уточнила:

– Все бесплатно.

Нюра все-таки побоялась взять лишнего и попросила томатный сок.

Комплиментарный обед получила, но от волнения не съела и половины.

Место ее было у окна. Сквозь толстое стекло смотрела она на белые сугробы, что громоздились один на другой, закрывая всю землю. Нюра знала, что самолеты летают достаточно высоко, но живую не представляла себе, что на облака можно смотреть сверху вниз. Самолет летел ровно, иногда ей казалось, что он просто висит на месте, так будет висеть всегда и никогда не сядет. Где-то над океаном появился другой самолет, такой же большой, и висел рядом, не приближаясь и не удаляясь. Нюра смотрела в окно и видела, что летит, потом засыпала, и ей снилось, что она летит. Она и раньше летала во сне и часто, но раньше не в самолете, а так, сама по себе, просто отрывалась от земли и парила, как птица, распростерши руки или вытянув их вперед. Иногда эти сны были столь отчетливы, что, проснувшись, ей хотелось повторить полет наяву, и трудно было согласиться со знанием, что это невозможно.

К концу полета стали раздавать какие-то бумажки, которые надо было заполнить. С этим ей помог сосед, американский доктор,

летевший домой после московской международной конференции онкологов. Доктор, хорошо говоривший по-русски, переводил ей вопросы и ответы и с ее согласия ставил галочки в квадратиках, обозначавших ответ «да» или «нет».

Вопросы опять были странные:

а) не страдаете ли вы тяжелой, опасной для окружающих инфекционной болезнью и не являетесь ли законченным наркоманом?

б) не были ли вы вовлечены в преступную деятельность, не подвергались ли за нее тюремному заключению на срок более пяти лет, и не является ли преступная и аморальная деятельность целью вашего приезда в Соединенные Штаты?

в) не занимались ли вы когда-нибудь шпионажем, саботажем, террором, не принимали ли в 1933–1945 годах участие в актах геноцида, не заняты ли этим сейчас и не собираетесь ли заниматься шпионажем, саботажем или террором на территории Соединенных Штатов?

г) не ищете ли вы на территории США нелегальную работу и не является ли ваша виза поддельной?

д) не приходилось ли вам когда-нибудь похищать и удерживать детей, находящихся под опекой американских граждан, и не намерены ли вы и дальше похищать и удерживать американских детей?

е) не было ли вам когда-нибудь отказано в американской визе и не были ли вы депортированы из США?

Разумеется, на все вопросы ее ответ был отрицательным, но она не поняла, зачем такие вопросы вообще задаются. Она спросила доктора, неужели среди больных неизлечимой болезнью нацистов, террористов или похитителей детей есть такие дураки, которые честно ответят на задаваемые вопросы.

– Нет, – сказал доктор, – конечно, они все ответят отрицательно. Но когда кто-нибудь из них попадет на том, что он болен СПИДом, или выяснится, что он служил в СС или хочет взорвать Бруклинский мост и украсть ребенка, его дополнительно накажут за то, что он указал неверные данные, за то, что солгал.

Нюра была так нервно напряжена, что за десять часов полета ни разу не сходила в уборную.

Ей захотелось по-маленькому, только когда самолет уже приземлился в аэропорту О'Хэйра. Он, как назло, долго рулил по

каким-то дорожкам и дважды переезжал по мосту над автомобильной трассой, что Нюре тоже казалось весьма удивительным.

Первый человек, с которым ей пришлось вступить в контакт, был черный офицер на паспортном контроле. Он проходивших через его стойку людей не ел, а проверял документы и стучал по ним большой печатью. Она подала ему паспорт и заполненные в самолете бумаги, но он почему-то сердился и кричал: тикет-тикет! Стоявший сзади онколог подсказал ей, что надо показать обратный билет, который является доказательством того, что она не собирается остаться здесь навсегда. Потом был еще контроль, где другой черный человек попросил ее открыть чемодан. Увидев в чемодане ее подарок Ивану – круг одесской колбасы и банку соленых огурцов, – таможенник пришел в такой ужас, как будто нашел бомбу. Он долго ругал Нюру, она не могла понять, за что, потом сказал «о'кей», но колбасу и огурцы забрал, наверное, себе, но при этом сунул ей шариковую ручку, знаками попросил расписаться и все-таки отпустил. На выходе из зала ее встретил наконец Чонкин, седой, худой, загорелый, в джинсах, в белой рубашке с короткими рукавами и в белых кроссовках.

– Хай, Нюра! – сказал он и взял в две руки ее чемоданы.

– Сейчас, – ответила она и ринулась в дверь, на которой была изображена женщина в юбке и с одной ногой.

К тому времени, когда она вышла, Иван достал где-то тележку, и с этой тележкой они шли по каким-то коридорам, потом ехали в странном поезде без водителя, потом вышли на другое поле, где стояли маленькие самолеты. Иван подвел Нюру к одному из них, похожему на легковушку с крыльями, и открыл его просто, как открывают сундук. Он забросил чемоданы на заднее сиденье и привязал их ремнем, а на переднее правое сиденье посадил Нюру.

Она не удивлялась, так и должно было быть, он же летчик. Чонкин надел белые кожаные перчатки с дырками для вентиляции, включил несколько тумблеров.

– Не страшно? – спросил он.

– Не страшно, – сказала Нюра. Ей хотелось сказать: с тобой не страшно, – но она постеснялась.

– Ну, если не страшно, летс гоу, – сказал он и повернул ключ зажигания.

Этот полет был не похож на предыдущий.

День стоял не по-осеннему жаркий. От нагретой земли поднимался пар. Восходящие потоки воздуха подхватывали легкий самолетик, подбрасывали и опускали, Нюра пугалась и сжимала собственные колени, но, взглянув на Чонкина, на то, как он уверенно держит в руках штурвал, успокаивалась. Они опустили на бетонную полосу, а потом недолго рулили по узким дорожкам поля с торчащими стеблями высоко скошенной кукурузы. Чонкин подрулил к белому двухэтажному деревянному домику, просто, обыденно, словно подъехал к нему на телеге и, выключив мотор, сказал:

– Это мой хауз.

Зеленый участок казался оазисом посреди погубленных уборкой кукурузных полей. Пожухлые клены окружали дом и какие-то постройки, тут же стояли две легковые машины, два трактора и комбайн.

Дом был гораздо просторней, чем казался снаружи: семь комнат, из них одна с полной обстановкой, с телевизором, телефоном, отдельной уборной и душем предназначалась для гостей, в ней обитал когда-то сам Чонкин, теперь она пригодилась для Нюры. Можно предположить, что Нюра не то, чтоб надеялась, а может быть, даже и несколько опасалась, что он пригласит ее к себе как жену и предложит спать в своей большой кровати на втором этаже, и она бы просто не знала, как себя в таком разе вести. И дело не только в том, что была она в преклонных годах, а и в том еще, что за последние полвека, с тех самых пор, ни с одним мужчиной не спала и разучилась даже представлять себя в подобной ситуации. Но Чонкин, к худу ли, к добру ли, ничего подобного ей не предложил.

Хотя страда и кончилась, он вставал по-крестьянски рано, не позже шести часов, и, выпив стакан апельсинового сока, уходил к своим машинам и там с ними возился. Она норовила приготовить ему обед, но он совал ей какие-то полуфабрикаты и учил, как разогревать их в микроволновой печи. Иногда на обед, который здесь назывался ланчем, они ездили в соседний городок, там были китайские, итальянские, японские и еще какие-то рестораны. Нюра не то что в ресторанах, а даже в долговской чайной никогда не бывала, и поначалу боялась, что не так держит ложку или вилку и что ее засмеют. Но никто не обращал на нее никакого внимания. Она была бы рада что-нибудь Чонкину постирать, но он предложил ей не портить руки и овладеть стиральной машиной. И посуду даже мыть не надо было, поскольку имелась машина и для посуды. На ужин он сам готовил омлет или что-то вегетарианское, они это ели и запивали водой с кубиками льда, которые в больших количествах приготавливались в холодильнике и сами сыпались, как только подставишь стакан. Во время ужина и иногда после они смотрели телевизор, по которому

показывали все какие-то гонки и убийства. Иногда Чонкин переводил ей отдельные фразы, но сюжеты были просты и понятны без слов.

По воскресеньям они ездили в соседний городок Спрингфилд, где находилось то, что некоторые фермеры считали своей церковью. На самом деле это был обыкновенный одноэтажный дом, такой же, как все стоявшие рядом, – стены обшиты тесом и покрыты белилами. От других, ему подобных, дом отличался лишь крестом, прибитым над входной дверью. Хотя крест здесь ничего не значил.

Еще по дороге Чонкин объяснил Нюре, что церковь у них не христианская, не мусульманская, не баптистская, не буддистская и не какая-нибудь еще, а вообще просто церковь. И бог у них тоже не имеет определенного образа или имени, а есть просто бог.

– А как же? – спросила Нюра, недоумевающая.

– А так, что мы не знаем, – сказал Чонкин, – кто он есть в самом деле, Яхве, или Иисус, или Аллах, а если мы будем называть его неправильно, он может обидеться и осерчать. Поэтому мы его называем просто бог, и все.

Внутри тоже ничто не напоминало божий храм. В большой комнате стены были украшены не иконами, а фотоснимками местных окрестностей и местных людей, из которых чаще других был изображен мужчина средних лет с разными известными, как сказал Нюре Чонкин, личностями. Из известных известным Нюре был только один человек, то есть не то чтобы очень известным, но где-то она его видела и спросила кто это.

– Президент Рейган, – сказал Чонкин.

Тут к Нюре подошел тот человек, который был изображен на фотографии, то есть не президент Рейган, а его собеседник. Оказалось, что он и есть здешний священник отец Джим. Он так же, как его предшественник отец Майкл, священником служил по совместительству, а основная его работа была в местной больнице, где он числился санитаром. Он расспросил Нюру, кто она такая и зачем приехала, Чонкин ему сам все рассказал, а Нюра только застенчиво улыбалась, прикрывая рот ладошкой. Чонкин, помимо других сведений, выложил еще и то, что Нюра позавчера посетила дантиста мистера Дэна Горовица, тот снял мерку и обещает в скором времени недорого, тысяч за шесть долларов, сделать ей вставные челюсти.

Священник тоже просветил Ньюру немного по части их особой религии, суть которой состояла в том, что они не знают бога, ни сути его, ни образа, а все описания его внешности и намерений выдуманы людьми и по существу кощунственны. Мы не можем знать бога, потому что тайны его непостижимы. Мы сомневаемся в том, что он похож на человека, а тем более на старого человека, потому что вечное существо не может быть ни старым, ни молодым. Мы сомневаемся, что он похож на человека ибо, если он похож на человека, имеет глаза и уши, то он не может видеть всего и тем более того, что происходит у него за спиной. И не может слышать всего, потому что возможности слуха ограничены. Мы сомневаемся, что он имеет легкие, потому что легкие служат для дыхания кислородом, а бог, по нашему понятию, может существовать в любой среде. Мы сомневаемся в том, что у него есть рот, зубы, желудок, если это так, то он должен питаться, переваривать пищу и так далее. Мы верим, что бог есть, что он вечен, что он управляет нашей жизнью, мыслями и поступками, что он все видит и слышит, но мы не знаем, как он выглядит и вообще, выглядит ли как-нибудь.

Заметив, что народ уже весь собрался, священник с явной неохотой прервал свою лекцию, поднялся на возвышение и произнес проповедь, которую Ньюра не понимала, но которую можно было бы перевести приблизительно так. Сегодня, сказал он, мы собрались здесь, чтобы в день, когда мы отдыхаем от трудов, еще раз вознести молитву нашему Господу за то, что он постоянно думает о нашем благополучии и делает все, чтобы дела наши шли хорошо. Господи, Ты нас прости, что мы никак не называем Тебя по имени и молимся не по предписаниям, которые людьми почитаются священными. Мы этими писаниями не пользуемся, потому что не ведаем, действительно ли они столь священны. Мы не знаем, какой религии верить, но мы знаем, что Ты есть, Ты милосерден, Ты простишь нам наше незнание. Благодарим Тебя, Господи, за все хорошее, что Ты для нас постоянно делаешь. Благодарим за урожайное лето и теплую осень. Наши прихожане в этом году хорошо поработали и хорошо заработали. Билл Джексон приобрел новый комбайн, а Фредди Ланкастер прикупил двести акров земли у Тони Ромэна. На прошлой неделе, Ты знаешь, что в соседних штатах была сильная буря, там выворотило много деревьев и срывало крыши с домов. Спасибо Тебе, Господи, что ты пронес эту бурю мимо

нас. В ночь с пятницы на субботу в автокатастрофе погибла Дебора Симпсон. У нее остались муж и двое маленьких детей. Ты забрал Дебору к себе, и на то Твоя воля, Тебе виднее, что делать с неразумными Твоими детьми, но у нас к Тебе большая просьба: побудь с Симпсонами эти дни, не оставляй их в беде, помоги им пережить тяжелую утрату, а уж они, я знаю, возблагодарят Тебя от всего сердца. У Алекса Карпентера, как ты знаешь, случилась неприятность: он прыгнул с комбайна и повредил ногу, пожалуйста, очень Тебя просим, помоги ему залечить ногу. Помогите также Памеле Бриксон разрешиться от бремени. (Он заглянул в список и продолжал.) И последнее. К нам по приглашению Джона Чонкина приехала Анна, хорошая русская женщина. Она приехала из страны, где происходят большие события, но люди живут бедно и не имеют денег на дантиста. Помогите, Господи, Анне провести хорошо время и помогите дантисту Дэну Горовицу сделать Анне хорошие зубы. Чтобы, приехав домой, она могла широко улыбаться и пережевывать пищу.

Пока дантист трудился над Нюриными зубами, срок действия ее визы подошел к концу, да она и рада была вернуться домой, соскучившись по родине, деревне, козе, кабану и курам.

Дома она потрясла соседей новыми зубами, двумя чемоданами всякого барахла и альбомом цветных фотографий из непонятной местным людям чужой и красивой жизни. С тех пор в деревне стали звать ее баба Нюра-Американка.

Деревня Красное, будучи основана лет тому назад двести-триста или поболее, за время своего существования в целом облика своего не меняла. Не считая дошедшего сюда еще в советское время электричества, радио, а потом и телевидения. Но с тех пор, как рухнул советский режим и вступили в действие законы свободной торговли, здесь многое изменилось. Особенно после того, как в здешних окрестностях обнаружилось источники минеральной воды. Как только источники обнаружались, так немедленно добрались до них предприимчивые люди, называемые «новыми русскими». И вот места эти преобразились, и выросли здесь виллы и терема из красного кирпича, окруженные каменными заборами, некоторые даже – с колючей проволокой поверху и сторожевыми телеобъективами, вращавшими головами, как змеи. Один из новых пришельцев хотел Нюрину избу купить на снос, предлагал ей большие деньги, а в случае несогласия грозился устроить пожар. Она не согласилась, а он угрозу свою не исполнил, поскольку его самого сожгли в его собственном джипе.

Чонкин хотел прислать Нюре денег на новую избу, но она и от этого отказалась, мол, и в такой, какая есть, доживу. Но жизнь ее в целом переменялась к лучшему. Каждый год по месяцу, а то и по два, гостит она у бывшего возлюбленного, а возвращается с подарками для всех односельчан, живет ожиданием следующей встречи. За это время нет-нет да приходят к ней письма из штата Огайо, которые читать почти невозможно, потому что почерк у отправителя ужасный, и к тому же он путает русские буквы с латинскими. Однажды Чонкин прислал ей портативный компьютер и предложил подключиться к Интернету, но она пока не разобралась, как это делается, и коробка с компьютером дожидается подходящего времени под кроватью. Может, оно так и лучше, потому что письма в Интернете бывают не бумажные, а какие-то другие, но ей-то дороже бумажные.

Письма от Чонкина Нюра кладет рядом с теми, сочиненными в годы войны, хотя и написаны они разными почерками. Но к ним, как и к авторам, воображенному и реальному, относится по-разному. Тот был частью ее, а этот для нее наподобие утенка, высиженного курицей.

Вроде родной, а повадки чужие. Эту чужесть Нюра выражает инстинктивно, называя мистера Чонкина на «вы». Тем не менее она всегда радуется, когда едет к нему, и так же радуется, когда едет обратно.

Что же касается нашего героя, то он, находясь в весьма преклонных годах, возраста своего в полной мере не ощущает. Ну, бывает, побаливает поясница или днем во время езды на комбайне одолевает сонливость, а в остальном он мужчина еще крепкий. Тем не менее нанял он себе двух помощников.

Один из них бывший советский шпион, а другой, вот представьте себе, Кузьма Гераклович Гладышев, сын агронома, внук селекционера и сам селекционер и генетик. Женившись на еврейке Нелли Матвейчик, он приехал вместе с ней в Америку, работы по своему образованию не нашел и принял приглашение Чонкина быть у него вроде как управляющим. Работает он хорошо, старается, к хозяину относится со вниманием и заботой, и Чонкин, не имея наследников, иногда даже думает, не назначить ли в качестве такового молодого Гладышева. Который не пьет, не курит, в крестьянском труде толк понимает, к тому же в свободное время продолжает дело своего дедушки, от коего унаследовал пытливый ум и склонность к преобразованию природы. Недавно ему удалось-таки вывести гибрид картофеля с помидором, но не путем селекции, а через совмещение признаков двух культур на генном или на клеточном уровне. Свой гибрид он назвал «Амедра», это сокращение полного названия «American dream» («Американская мечта»). Он выращивает Амедру в двух теплицах и отдельные кусты продает любителям природной экзотики по объявлениям в Интернете (желающие могут поискать эти объявления на сайте www.potato-tomato.amedra.com). Самогон из дерьма он не гонит, его вполне устраивает американское кукурузное виски «Бурбон».

Содержание

Владимир Войнович Перемещенное лицо

Предисловие

Часть первая Вдова полковника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Часть вторая Превращения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Часть третья Чонкин international

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25